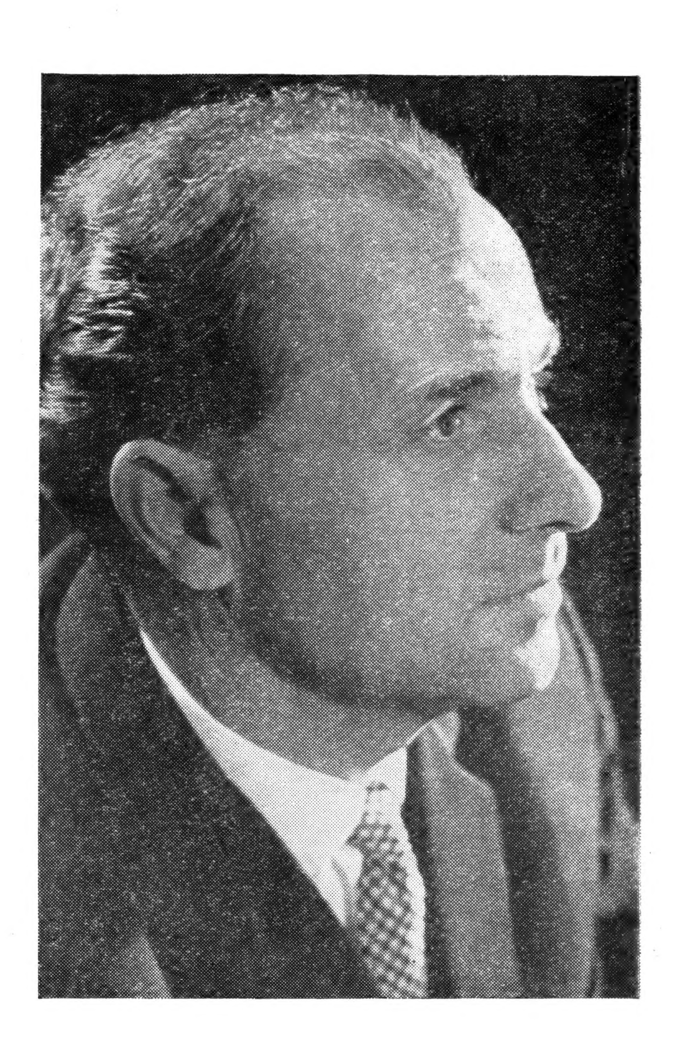
МИННОЕ ПОЛЕ

МИХАИЛ ГОДЕНКО



Подвиг



МИХАИЛ ГОДЕНКО

МИННОЕ ПОЛЕ

РОМАН



ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1971

ОГЛАВЛЕНИЕ

Михаил Матвеевич Годенко

МИННОЕ ПОЛЕ
Роман

Редактор И. Лепин
Художественный редактор В. Вагин
Технический редактор В. Филиппов
Корректор И. Пархомовская

Печатается по изданию:
М., Военное издательство, 1967.

Годенко М. М. Минное поле.
Роман. Пермь, Кн. из-во. 1971.
216 стр.

Роман посвящен героизму моряков-балтийцев в годы Великой Отечественной войны.

7-3-2

Сдано в набор 30/IV 1970 г. Подписано в печать 2/II 1971 г. Формат бумаги тип. № 1 84×108[1]/32. Печ. л. 6,75; бум. л. 3,375 (усл.-прив. л. 11,34); уч.-изд. л. 14,614. Тираж 75 000 экз. (1-й завод 30 000 экз.). Цена 61 коп.
Пермское книжное издательство. Пермь, ул. Карла Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления по печати. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
Зак. 1304.

ПОЭТ И ЕГО ПРОЗА

Проза поэта. Такое понятие прочно вошло в наш литературный быт. Казалось бы, проза есть проза, и пишется она по законам прозаического произведения. И если все же подчеркивается тот факт, что она написана поэтом, значит, есть в ней какие-то отличительные особенности. Слов нет, работа над стихом приучает к повышенной точности в отработке фразы, ее ритма, ее интонации, но ведь и «чистый прозаик» по-своему делает то же самое.

Что же это за особенность? Поэтичность? Если да, то совершенно в новом качестве, когда не замечаешь никакой претензии на поэзию, хотя существует полное единство между прозаическими и поэтическими произведениями, как, например, у Лермонтова между «Героем нашего времени» и «Демоном». Зато когда читаешь цветистую, пышно метафорическую прозу Гейне, в сравнении с которой его стихи внешне кажутся скромней, приходишь к выводу, что именно в стихах-то он выше и подлинней.

В наше время все больше и больше поэтов обращаются к прозе, и, на мой взгляд, существуют все те же две ее разновидности. Видимо, в одном случае в основу прозаических произведений ложатся целые куски жизни, события, не исчерпанные поэзией, в другом случае — то, что накапливалось в качестве ее прямых отходов.

Читая роман Михаила Годенко «Минное поле», совсем не думаешь, что он принадлежит стихотворцу. Никакой претензии на поэтичность, а между тем он поэтичен во всем: в обрисовке героев, в описании событий и природы. Забегу вперед и приведу пример. Тральщику выгодна непогода, а тут: «К вечеру распогодилось. На севере небо поголубело, засинела еле заметная кромка леса». Всего три мазка, а нарисована целая картина. Но прежде чем говорить о романе, хочется сказать о самом авторе, о его стихах, предопределивших успех романа.

Писать стихи Михаил Годенко начал еще до Балтийского флота, куда по особому набору пошел служить в 1939 году. На флоте его застала Отечественная война, во время которой он служил на многих кораблях, участвовал в Таллинском переходе, получил правительственные награды. Здесь в 1942 году были напечатаны его первые стихи. В 1946 году после демобилизации флотская муза привела его в Литературный институт имени Горького. Как мало места на бумаге занимают биографические справки! Восемь лет напряженной боевой службы на флоте заняли всего несколько строк. Но зато флотский клеш и тельняшка, зато стихи о море и флотской службе, зато крепко просоленное словечко говорили нам больше. Кстати, комнатка общежития, в которой жил Михаил Годенко, называлась не просто комнатой, а кубриком. В маленькой комнатке, действительно похожей на корабельный кубрик, звучали стихи «Море мое», привезенные с Балтики.

Пусть неустанный счетчик лага
Отметит пройденные мили.
Мы шли от Гогланда на Даго,
У берегов германских были.
И море нам теперь роднее,
Понятней и всего дороже,
Как эти поручни и реи,
Дрожащие знакомой дрожью.
Солоновато-горький запах
Ловлю я в ветре шаловливом.
И топот ног на звонких трапах,
И рябь веселая залива —
Все радует меня.
И мне бы
Хотелось вечно жить, бороться,
Любить просторы вод и неба
Любовью неизменной, флотской.

С той поры поэтом было издано шесть поэтических книг, среди которых хочется выделить «Море мое», «Ласточка», «Лучшее имя», «Тяга к океану». Отдельной книгой вышли две поэмы: «Людское счастье», «Цветет акация». Какие же особенности его стихов и поэм помогли поэту удачно перейти к прозе? Прежде всего их сюжетность, логическое развитие поэтического образа, поэтической мысли. Есть стихи, в которых, кроме настроения и статической мысли, ничего не обнаружишь. В стихах и поэмах Михаила Годенко почти всегда есть какие-то события. Содержание его поэм можно даже пересказать, потому что они не плод поэтического воображения, зафиксированного словами, а картины объективно существующей жизни. За строчками стихов читатель видит жизнь, а о жизни уже можно говорить и своими словами. Приведу пример, по месту более экономный, чем поэма. Стихотворение «В те дни» рассказывает о том, как к «бетонным пристаням пришли эсминцы и линкоры». Пришли, чтоб защитить город Ленина.

А враг силен.
Он бил мосты,
Стрелял по куполам соборов,
Грозил с земли и высоты.

И мне приказано, минеру,
Свой заминировать корабль.
И если что —
Поднять на воздух
Вот эту палубу, и трап,
И красные на пушках звезды.
И каждый хмурился матрос,
Светилась боль в глазах усталых,
Когда я бомбы в башни нес,
Готовил белые запалы.
И каждый чувствовал тогда —
Впервые, может быть, так ясно, —
Какая нам грозит беда,
Какая город ждет опасность.

Трагическая ситуация! Стихи настроения я мог бы представить двумя-четырьмя строчками, а здесь целый сюжет, в котором одно не будет понятно без другого. Здесь таятся большие возможности и для

рассказчика. Даже нехитрый пересказ этого сюжета взволнует слушателя и читателя. Но это писал поэт, и он нашел для стихотворения конец, который для прозаика, возможно, и не годился бы:

И нарастал наш ярый шквал,
И дрогнул враг под канонадой...
Я бомбы с башен убирал —
Мы не отдали Ленинграда.

Если бы я лично не был знаком с Михаилом Годенко, а знал бы только его стихи и роман, все равно, я с полной уверенностью мог бы сказать, что «Минное поле» — вещь в основе своей автобиографична. С главным действующим лицом повести Михайлом Супруном мы знакомы по стихам Годенко, по их лирическому герою. Они похожи не только характерами, но и обстоятельствами жизни. У обоих детство прошло в степном Приазовье, где пахло чебрецом, где над заборами дымила сирень, где «вишня спелая у хаты горела, как закат на дождь». Иногда встречаются фактические совпадения. Так, в одном из стихотворений Михаил Годенко пишет об отце — организаторе коммуны.

Порой бывал он хмурым, строгим —
Не подходи
И не зови...

Однажды за полночь
К порогу
Приполз измазанный в крови:
Его впотьмах остановили
У каменных больших ворот.
Отполированные вилы
С размаху двинули в живот.

С этого события и начинается роман: «Отца привезли ночью. Его внесли в хату три дядька̀. На темно-вишневых полах остались следы от сапог — не грязь, а размытый дождями чернозем, который кормит людей. Мать вскочила с постели. Она стояла в белой сорочке, сдавив кулаки на груди, шептала в испуге:

— Та що ж це таке, та що ж це таке?..

Мишко, прижавшись грудью к острому плечу младшего брата Петька́, застыл у двери».

Казалось бы, не ко времени фраза о черноземе, «который кормит людей», но именно в ней-то и заключен наиглавнейший смысл трагического события. За этот чернозем кулаки и пырнули отца Михайла Супруна. Но это между прочим. Возникает другой вопрос. Почему к факту, уже использованному в стихах, поэт возвращается в своем романе? Да, видимо, потому, что в нем этот факт имеет неизмеримо большее значение. Здесь он дан в связи со многими последующими событиями, закаляющими главного героя в понимании классовых противоречий. О нем вспоминаешь и тогда, когда Михайло Супрун, уже на Балтике, встречается с ужасами, которые сеяли фашистские захватчики.

В прозаической разработке и другие факты более развернуты, более детальны. Среди стихов мы встречаем стихотворение, посвященное брату Ивану, старшему политруку, погибшему на фронте. В романе он занимает большое место и сам по себе и по тому влиянию, какое оказал на Михаила Супруна. В стихотворении «Прощание с Балтикой» мы повстречаем строки:

2*

Я видел, как седеют юнги за ночь,
Я видел таллинский багровый дым...

А в романе эти строки обернутся главами о Таллинском переходе со многими трагическими подробностями: гибелью наших кораблей, гибелью наших людей. Рядом с Михайлом Супруном — человеком волевого характера — проявятся характеры других. Комиссар Гусельников, казавшийся таким домашним со своим сибирским котом, умрет как настоящий коммунист

«Комиссара посадили на стеллаж с малыми бомбами. Сибирский кот со слипшейся шерстью вспрыгнул на стеллаж, отряхнулся так, что пыль водяная поднялась, прижался к боку хозяина. Голова у Гусельникова была окровавлена, казалось, он надел ярко-алый берет. Но то был не берет, а вывернутая наизнанку кожа... Комиссар вынул из кармана серый от воды платок и попытался снять с бровей загустевшую кровь: она мешала смотреть. Затем тихим голосом приказал:

— Корабль не оставлять. Сейчас подойдут катера. Они нас снимут. Да, да, командующий выслал катера!..

И Михайло и боцман знали: никаких катеров нет и не будет ни сейчас, ни завтра. Знали, что корма скоро уйдет под воду. Но приказ нарушать не собирались».

Эти примеры говорят о том, что многие события жизни Михаила Годенко были осмыслены уже в стихах. Это, безусловно, помогло прозе, как и то, что его стихи в большинстве случаев сюжетны. Прежде мне приходилось его упрекать за то, что в отдельных случаях он вносил в поэзию сюжеты, более выгодные для прозы. Но тогда я еще не знал, что в нем рядом с поэтом жил прозаик и требовал слова. И очень хорошо, что поэт не оказался эгоистичным.

Хорошее название хорошей книги всегда выражает ее главный замысел. «Минное поле» как название имеет прямой смысл. Это действительно то минное поле, через которое пришлось проходить нашим кораблям и которое очищали наши тральщики. Но в этом есть и второй смысл — метафорический: герою романа пришлось пройти по сложному и опасному полю жизни.

Уже по коротким цитатам и моему пересказу читателю ясно, что роман Михаила Годенко суров и жестоко правдив. Его главный герой прошел через ужасы войны, видел много страшного. В добавление к военным невзгодам ему пришлось пережить измену своей первой любви — красавицы Доры, не сумевшей дождаться своего школьного друга. Много, много пришлось пережить Михайлу Супруну, и ничто его не сломило, ибо характер его был выкован всем строем нашей жизни, хорошими людьми, окружавшими его с детства, — от школьного завхоза буденовца Плахотина до комиссара дивизиона сторожевых кораблей Гусельникова. Суровость романа не пугает, а мобилизует читателя, вызывает чувство гордости за наших людей. Такое ощущение сумел внушить нам поэт, сказавший о себе так:

Богат надеждой, крепкими друзьями,
Огонь немалый буйствует в крови.
Держусь за землю цепкими корнями.
Не верится?
Попробуй оторви!

В этом секрет успеха.

Василий ФЕДОРОВ

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

1

Отца привезли ночью. Его внесли в хату три дядька́. На темно-вишневых полах остались следы от сапог — не грязь, а размытый дождями чернозем, который кормит людей.

Мать вскочила с постели. Она стояла в белой сорочке, сдавив кулаки на груди, шептала в испуге:

— Та що ж це таке, та що ж це таке?..

Мишко, прижавшись грудью к острому плечу младшего брата Петька́, застыл у двери.

Перемещая тени по стенам и полу, покачивалась неяркая электрическая лампочка. Один из вошедших задел ее черной стоячей шапкой. Висящее над столом четырехугольное зеркало в темной резной оправе отражало эту качающуюся лампочку.

Отца, не раздевая, положили на белую постель.

Мишко прислушивался, дышит ли отец: он казался мертвым. Но почему дядьки стоят в шапках? Когда мать начала стаскивать с отца сапоги, он застонал. Живой!

Что с ним? Почему так встревожена мать? Почему так молчаливы люди?

Еще вчера вечером он одевался перед зеркалом, шутил, похлопывал в ладоши, пританцовывал, обнимал мать. А она, притворно сердясь, отвечала:

— Не удивляйтесь, люди добрые, какие лета — такой и разум!

Так говорят о стариках, впавших в детство.

Но Матвей Семенович далеко не старик. Правда, чуб его, когда-то густой и жесткий, как щетина, заметно поредел, в нем кое-где засверкала седина. Да и брюшко вырастил. Приходится поддерживать его широким армейским ремнем, который он надевает поверх черной суконной гимнастерки.

Но это еще далеко не старость. Сам Матвей Семенович говорит, что он «хлопец хоть куда». Да, Анна Карповна знает его прыть. Немало лиха хватила с ним в жизни. Красавец ее Мотя и за юбками любит поволочиться. Угомону на него нет.

Но сейчас Матвей Семенович лежит в постели, серый лицом, беспомощный, стонет. И жена его и сыновья стоят растерянные. В их глазах страх и надежда.

Белые Воды заговорили о Матвее Супруне. И на базаре, и в лавке, и в конторе колхоза можно было услышать:

— Да кто же его?..

— Да когда же будут судить того, кто руку поднял?..

О Матвее Семеновиче говорили теперь высокими словами. Коммунист пострадал за общее дело. Ранен подкуркульником, прихвостнем куркуля, нашего ворога лютого. В своем родном селе Новоспасовке Матвей Супрун организовал коммуну. Был ее председателем, затем работал в Бердянске, в колхозсоюзе. В Белые Воды его прислали недавно, руководить земотделом. Работа горячая, большая, ответственная.

Мишко слушал все это и думал: «Неужели батько герой? Даже не верится. Герои-коммунисты, не дрогнув, умирали в топках паровозов, как Лазо; гордо и бесстрашно шли по красноводским пескам на расстрел, как двадцать шесть бакинских комиссаров, или были казнены белогвардейцами, как члены Бердянской Рады, фотографии которых он видел в городском музее. А отец и жену доводит до слез, и в райкоме ему то и дело «шею мылят». Но вот люди говорят, что он тоже герой».

Вчера, вернувшись из школы, Мишко увидел у отцовской кровати Торби́ну, секретаря райкома. Мишко знает его сына, Вальку. Валька живет с отцом в Белых Водах. А мать почему-то осталась в Ворошиловграде. Торбина — дядько высокого роста, полный, крепкий. Когда идет — кажется, что земля под ним прогибается. О нем говорят: «Не пустая торбина». На нем всегда черный суконный костюм и темно-синяя косоворотка. Летом, когда печет так, что дышать нечем, Торбина надевает под костюм белую косоворотку с расшитым воротником. Фуражка рабочая, козырек кожаный. На ногах черные ботинки с носами «бульдог», как у Ленина. Лицо у Торбины побито оспой, усы чумацкие, снизу порыжелые, точно он их в горчицу обмакнул.

Держа фуражку на коленях, Торбина поглаживал крупную стриженую голову, говорил:

— Следствие закончили. Скоро суд. Но торопиться не будем. Дождемся, пока поднимешься. Куда он тебя?

Отец показал рукой на правый бок.

— Чем, клятый, сунул?

— Ключкой.

— Не понимаю.

— Ну, как вам объяснить? Такая штука железная, острая, как пика, с бородкой на конце. Ею солому да сено смыкают... К счастью, неглубоко сунул. Рука, видно, дрогнула. Если бы загнал с бородкой, с ребром пришлось бы выдирать.

— А за что? Небось, думал?

— Больше делать нечего: лежи да думай.

— Чего надумал?

— А то надумал: куркуль есть куркуль.

— Да, в них лютая ненависть к нашему брату-коммунисту.

Через некоторое время из Новоспасовки пришло письмо от бабушки. Она узнала, что сын ранен, беспокоилась: «Как там Мотя?..»

Мишкова бабушка — гречанка.

В Новоспасовке все парубки женились на девчатах своего села, со стороны не брали. Женились рано, обязательно до службы. Тот, кто не успевал жениться до призыва и после пяти лет солдатчины приходил домой холостым, считался перестарком, идти за него девушки считали зазорным. Таким приходилось прислоняться к вдовушкам.

Отец Матвея, Семен Супрун, не женился до службы не потому, что статью плох или лицом не чист. Нет, Семен был добрым казаком, как у нас говорят — вродли́вым. Но мать его была «по́крыткой», и сын, значит, незаконнорожденным. А на таких община земли не выделяла. Получалось, как в песне:

Ой де ж вона його спородила —
В зеленій діброві.
Та й не дала тому козакові
Ні щастя, ні долі.

Народные песни правдивы.

Не отдали за батрака ту, что была у него на примете. Поэтому, когда уходил на службу, никто о нем не сокрушался, не заламывал рук на мариупольском шляху, у старого кургана, прозванного Плакучей могилой.

Не захотел Семен покоряться своей доле, не прислонился «до тії вдовиці», о которой в песне поется, а пошел в село Ма́корты, что лежит у моря под горою, и, нарушив новоспасовские традиции, привез оттуда гречанку.

Бабы говорили:

— Такого не бывало. На наших женились, увозили в другие села — новоспасчанку ценят, потому что лучше ее никто борща не сварит. Но чтобы приводить — да еще гречанок! — такого не слышали. К тому же она сухонька, маленька — подивиться не на что!

Но гречанка оказалась хорошей женой и матерью — родила она Семену семерых: пять сынов и двух дочек. Борщ тоже варила добрый. Да и то сказать: веры нашей, православной, хоть и черномазая.

Признали своей.

Мишко считал, что добрее бабушки никого нет на свете. Он любил ходить к ней в гости. Бабушка, положив ладони на его птичьи плечики, прислоняла к себе. От нее пахло сухим хмелем.

В хате у бабушки всегда стоял полумрак: окна прикрывались

ставнями. В щелочки пробивались горячие соломинки лучей. Земляной пол — доли́вка — всегда был устлан пахучей травой. Бабушка часто становилась лицом в угол и крестилась, сильно прижимая корявую щепоть то ко лбу, то к груди, то к плечам: сперва к правому, затем к левому. Бабушкины иконы нарядные: все в золоте. За божницами цветы — жесткие, сухие бессмертники. Мишко не любил их. Ими украшают покойников, и само их название напоминает о смерти. На ставнях, на сволоке, на дверях темнели выжженные раскаленным шкворнем кресты. Бабушка говорила: от нечистого. Мишка́ удивляло: прожила бабушка столько лет, а не знает, что никакого нечистого нет на свете, «отца, и сына, и святого духа» тоже не было и не будет. Об этом говорили в школе в первый же день. Но вот когда бабушка начнет рассказывать про тайную вечерю или про то, как Христос по морю пешком ходил, рот разинешь. Знаешь, что неправда, а интересно: вроде сказку слушаешь. И сказок бабушка знала много: про Ивасика-телесика, про козу-дерезу...

У крыльца бабушкиной хаты — роскошная шелковица. Залезет, бывало, Мишко в густые ветви и сидит до тех пор, пока дедушка не пригрозит налыгачом. Налыгач — веревка такая, которой волов за рога привязывают. Рот у Мишка до ушей лиловый от шелковицы, пузо тоже лиловое, весь точно в чернилах.

Всего больше любил он ходить к бабушке на пасху. Хорошо шлепать босыми ступнями по весенней, теплой, еще сыроватой земле. В бога не верил, а куличи любил. И яички крашеные любил. Они так и называются: крашенки. Для Ивана, Мишка и Петька бабушка пекла особые куличики. Грибовидные их головки обливала белой сладостью да еще и маком сверху притрушивала.

Попадало хлопцам за куличи да крашенки от учительницы и отца. Срам! Батько — председатель коммуны, безбожник, а сыновья религиозные праздники справляют.

2

Пионерская вышка стоит на обочине, сразу же за пыльными акацийками-трехлетками, высаженными вдоль грейдера. Она стоит у самой стенки почти вызревшей озими. Мишко с Валькой Торбиной попеременно поднимаются на площадку по прибитым к столбу планкам-крестикам. Они посматривают из-под ладони и вдаль и вблизь, охраняют озимый клин от людей, которых называют «стригунами», которые ходят с ножницами, стригут колоски.

Самое время следить за пшеницей. Когда она зеленая, кто ее тронет? Разве коровы? Так на них есть пастух. Когда начнется жатва — пусть следят сами колхозники. А сейчас в аккурат пионерское время.

Мишко увидел на меже темную фигурку человека. Она по-сусли-

ному переползла из пшеницы в подсолнухи. «Неужели «стригун»? — Во рту у Мишка стало совсем сухо. — Не может быть! «Стригуны» при ярком солнце не появляются. Им спокойней нареза́ть колоски поздно ночью, когда все спят. Вот бы капитанский бинокль, как у Яшки!»

Яшка Пополит приехал из Старобельска недавно. Он смуглый, низенький, мускулистый. А как ходит на руках! Мишко тоже может делать стойку у стенки. Но чтобы человек сходил на руках по ступенькам крыльца — такого не встречал!

Яшка и в футбол может. Обещал подобрать команду. Интересно, кем поставят Мишка?..

«Гарный бинокль у Яшки!»

Мишко, наподобие бинокля, прикладывает к глазам наполовину разжатые кулаки. Помогло! Он теперь ясно различает между шляпками подсолнухов белый соломенный бриль. Раздумывать не время. Мишко прыгает с трехметровой высоты в пшеницу, приседает так низко, что больно ударяет себя коленкой в подбородок. Хорошо, рот был закрыт, а то бы или зубы выкрошил, или язык прикусил.

Вскочив на ноги, он крикнул Вальке:

— Догоняй! — И побежал к подсолнухам вприпрыжку. Вприпрыжку бежать по хлебу легче, как и по воде.

До подсолнухов добежали разом. Остановились как вкопанные. Перед ними сидел дядько годов тридцати на вид. Услыхали его спокойный голос:

— Как дела хлопчаки́? Бережем колхозное добро? Молодцы! А меня послал председатель. Говорит: «Иди посмотри, Илько, не пора ли косить».

Он провел ладонью по рябому лицу от лба до бороды. Свернул цигарку толщиной в телячью ножку. Попросил «сирничка». Спичек у хлопцев не было. Они прикуривают с помощью увеличительного стекла. А стекло — в Валькином картузике под вышкой.

Пошагали к вышке.

Еще издали увидели линейку. Свернув с грейдера на обочину, она тоже направлялась к вышке. Это прикатил Митя Палёный, старший пионервожатый школы. Он привязал вожжи к столбу. Пошел навстречу, прихрамывая (у него одна нога чуть короче и не сгибается в колене).

Хлопцы, может, и поверили бы дядьку Ильку. Дали бы огня и отпустили с богом. Но Митя — воробей стреляный, сказкам давно перестал верить. Он взялся за вожжи, встал на правую подножку. Слева посадил задержанного и Мишка. Дядько Илько начал умолять:

— Вы что, сказились? Да разве ж с пустыми руками ходят по колоски?!

Услышав такие слова, Митя приказал Вальке обшарить весь клин. Затем коротко кивнул:

— Поехали. Прокурор разберется!

Прокурор взял задержанного на карандаш и отпустил.

Когда солнце склонило свою горячую голову к закату, в село прибежал Валька. Он размахивал большими тусклыми ножницами. Левой рукой прижимал к боку полосатый, сложенный вчетверо мешок.

Через три дня в районной газете люди читали постановление исполкома. Мите Палёному объявлялась благодарность. Мишко Супрун и Валька Торбина премировались костюмами.

Хлопцы ходили именинниками.

А еще через несколько дней судили дядька Илька. Судили показательным судом, в клубе. Учеников не пускали, но Порфишко, стоявший в дверях, пропустил Мишка, как причастного к делу. Он сказал:

— Дуй на галерку и не пикни, понял?

Порфишко — заведующий клубом. Он и билеты продает, и в дверях стоит, и афиши расклеивает. Как в поговорке: «И швец, и жнец, и на дуде игрец».

Порфишко — матрос. Служил на линкоре «Парижская коммуна» в Севастополе. У него на левом рукаве темно-синей суконки скрещены две густо-малиновые пушки и обведены кружочки такого же цвета. На бушлате — то же, но золотом шитое. Порфишко самый сильный человек в селе. Говорят, выпьет ведро водки и не покачнется.

Мишко сидел «не пикнув» до тех пор, пока не разревелись дети дядька Илька. Их было трое. Трое куцых белоголовых хлопчат. Судья сильно стучал карандашом по графину. Прокурор участливо глядел на детишек, жмущихся к мамкиному подолу.

Больше Мишко усидеть не мог. Будто кто-то сжимал рукой его горло.

Вечером к отцу, который уже оправился от ранения и ходил по дому, снова зашел Торбина.

— Что дали? — спросил отец.

— Пять лет получил!

— А что ты думал, Советская власть овца: один норовит выдоить, другой постричь ладится? Не-е-е!.. К ней не подойти, брыкливая! — Матвей Семенович не на шутку распалился, видно, высказывал наболевшее. — Развелось черт знает сколько всяких «стригунов», грызунов, лизунов. Все тянут, все хапают. Власть Советскую собираются по миру пустить. А она мне дюже дорогая! Из батраков вырвала! И сыновья мои не в школу бы ходили теперь, а волам хвосты крутили, кабы не Советская власть! Круче надо, круче! Украл правой — отхвати ему, стерве, топором правую руку; левой украл — левую отруби!..

Мишко вспомнил плачущих детей подсудимого.

— Может, рот малышам нечем заткнуть? — спросил он нерешительно.

— А ты что встреваешь в разговор, умник? А ну-ка, выйди!

Когда Мишко вышел за дверь, Торбина спросил:

— А если прямее, по-рабочему? Может, перегибаем где?

— Может, и перегибаем трошки...

— Трошки!.. — Торбина ворохнулся так, что стул под ним завизжал. — Ты сам мужик, знаешь мужика, знаешь село. Скажи прямо: не то порой делаем? Как можно забирать весь хлеб подчистую?! Не при военном же коммунизме! И колхозы — не кулацкие дворы, зачем же им жилы подрезать! — Он вытер усы, поддев их ладонью снизу, и продолжал так же возбужденно: — Давай, давай, давай! Города требуют, стройки требуют! Правильно. Сам рабочий. Знаю, кормить рабочего надо. За кордон тоже надо везти, в обмен на машины. Но зачем под метелку вычищать амбары? Ни людям, ни скоту. Даже на посев не остается!.. Мы создавали колхозы, боролись за них. До сих пор кровь свою отдаем. — Он кивнул на Матвея Семеновича. — Без колхозов нет жизни селянам, не поднимем страну, не выведем ее на большую дорогу. И, главное, селянин в колхозы поверил. А тут — нá тебе, вымели подчистую! Явный перегиб. К осени народ побежит на шахты за куском хлеба. Кто будет сеять? Что будем сеять? Кому это на руку?! — Торбина наклонился к Матвею Семеновичу и, понизив голос, доверительно поделился своими предположениями: — Не тем ли, которые в Кирова стреляли? — Отдышался, продолжал спокойнее: — Черт его знает, может, я и не прав. Может, мне с районной вышки многого не видно? Сверху жмут: давай!.. На заводе проще. Я в Ворошиловграде на паровозостроительном с детства. Знаешь такой — имени Октябрьской революции?.. Тебе легче: ты здесь в своей воде...

Но Матвею Супруну не легче. Попробуй разберись!

Он все принимал на веру, все распоряжения местных властей считал заданием партии, в которой состоял с января двадцать четвертого года — пошел по Ленинскому призыву.

— Написал в область, — продолжал Торбина, поддевая усы рукой. — На райкоме такой разговор не поднимаю: истолкуют неправильно, саботаж пришьют. В обком написал — пусть разберутся. Молчать не буду. Хитрить тоже не собираюсь. Так-то, Матвей!

ГЛАВА 2

1

Белые Воды называют селом. Кто его знает, может, это и не село, а город. Дома в центре каменные, двухэтажные. Магазины, или, сказать по-здешнему, гамазеи, тоже в два этажа. Внизу складские поме-

щения, верхний ряд — торговый. С земли деревянные лестницы ведут на галерею, которая опоясывает весь второй этаж. Там что ни лавка — разные товары: в одной водка, в другой ситец. Внизу тоже торгуют, но только керосином да колесной мазью.

Если сравнивать Белые Воды с соседними селами — Городищем, Семикозовкой, то они выглядят городом. Если же побывать в Старобельске или Ворошиловграде, то Белые Воды покажутся селом. Короче: ни село, ни город — местечко. Говорят, до революции здесь кустарщина процветала. Были и колбасники, и шорники, и мыловары... Во-во, мыло варили отменное! Торговали этим добром даже в отдаленных землях. Рассказывают, из Белых Вод аж в самую Германию его бабы пешком носили.

В той части реки, которая проходит селом, рыбы не густо. Но если спуститься вниз по течению, в луга — другое дело. Возле поливного огорода есть плес: дна не достать. На самой глубине ворочаются черные, как ночь, сомы. Много сомов. И это не разговоры. Друг Мишка, Рася, сам видел, как черномазое страшилище проглотило утку со всеми перьями.

Рася говорит, что сома надо ловить ночью. И чем беспросветнее ночь, тем лучше. Сом выходит на песчаную отмель покормиться. Тут и подсунь ему на крючке гробака — толстого, как палец, навозного червя, белого с коричневой головкой. Подсунь — и он твой. А вытянуть сома даже полуметровой величины проще простого: он ленивый, не то что сазан.

Солнце перед заходом было мутное, словно налитый кровью бычий глаз. Оно садилось за стенку. С его заходом духоты не убавилось. Ни вечернего тумана в лугах, ни росяной остуды.

Пока шли селом, Мишко видел: белогрудые ласточки шныряли понизу, у самой колеи. «К дождю», — подумалось ему. Когда свернули на отаву и пошли, как у нас говорят, навпростец, комары-кровососы с ходу впивались в плечи и щиколотки, забивались в нос и уши. Тоже к дождю.

Мишко начал отставать. Ему захотелось до дому, в тополевые сумерки.

Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. Пришлось по всем правилам насаживать гробака, плевать на его жирную спину, забрасывать на середину протоки леску с крючком, втыкать вишневое удилище в податливый берег.

Темнота навалилась сразу, и такая густая, что даже сому-полуночнику не разглядеть белого гробака. Сиди и прислушивайся, не ляскает ли удилище по воде.

По черной коробке неба начали чиркать, треща и лопаясь, молнии.

При их вспышках можно было заметить прижимающийся к противоположному берегу камыш и фосфорно-белую дрожащую воду.

Мишко, чтобы потом не дразнили «боягузом», безропотно сидел на берегу, втянув в себя голову, обхватив руками колени. Будь что будет! В его мозгу гудела назойливая, как комар, думка: «Ну дурень же ты, хлопче, клюнул на плевую приманку и трусишься теперь, точно заяц. Спал бы сейчас со своим Петьком на железной койке, как всегда, валетом. Сладко шуршал бы под тобой набитый соломой матрац. Холодные пальцы ног твоих обдавало бы теплым ветерком из-под братишкиного носа...»

Рася, заваривший кашу, первым начал ее расхлебывать. Он отыскал неподалеку копну сыровато-парного сена, позвал Мишка.

Всю ночь грохотало небо, точно на нем черти горох молотили; дождь лил как из ведра.

Хлопцы наши, вздрагивая по-щенячьи, уснули в сенной духоте. Какая там рыба! Какие сомы! Только бы дотерпеть до завтра. Завтра взойдет спокойное солнце. Все живое вылезет на свет из укрытий, зевнет, потянется сладко и станет думать, как ему жить дальше.

Утреннее небо чище чистого. Облака тумана плывут по земле. Они касаются твоей груди, и в груди от этого щекотно. В их молочной белизне не различить, где речка, где удочка. Сомы, видно, давно ушли в свои ночные глубины.

Кому что: одних радует свет, другим он ненавистен.

Мишка свет радует. Ушли сомы — и шут с ними. А мы за удочки и до дому! Хорошие слова «до дому». Светлые, упругие, как утро.

Мишко долго чешет тыльной стороной правой ступни искусанную комарами левую икру. По-журавлиному стоит на одной ноге, поеживается. Синевато-белесая маечка плохо согревает его ребристые бока.

Рася побежал к реке, на что-то надеясь. И когда он, как резаный подсвинок, заверещал: «Е-е-е-е-есть!», у Мишка сердце сначала совсем заглохло, потом буйно затрепыхалось. В такие минуты ноги становятся легкими до того, что их перестаешь ощущать.

Вот и удилище, вот и леска, натянутая до звона.

— Порвешь, дурило! — угрожающе завопил Рася. — Скидай штаны, лезь в очерет, он там сидит, субчик! Бери его с потрохами! — Рася захлебывался от волнения, от радости.

Леска вела в заросли куги. Мишко увидел в воде что-то похожее на обугленное полено. Он упал на это полено, схватил его руками. Полено холодно выскальзывало.

Расе тоже пришлось искупаться. И теперь он прыгал на одной ноге, склонив голову набок, приложив к уху ладонь: воду вытряхивал. Восторгу его не было предела. Хохоча, он подзадоривал своего неумелого дружка:

— И-и-и!.. За зябры, за зябры субчика!

Сом был увесистый. Его удалось выбросить на берег только вместе с кустом куги.

Дома Мишка ждала радость покрупнее: вчера, перед самой грозой, приехал на каникулы Иван — старший брат, студент Харьковского университета. Он прикатил на новеньком велосипеде, на вороной раме которого было начертано: «Харьків».

Немало бед и огорчений принес на своих серебряных спицах «Харьків». Сперва братья просили только поводить его. Почти до полудня поочередно водили они высокое чудо по просторному подворью. Затем в них окрепло желание взобраться на заманчивое пружинистое сиденье. Но Иван не позволил. Он снял сиденье совсем. И на раму намотал тряпок. Мягче всяких пружин показались Мишку эти тряпки.

Вначале ноги то и дело срывались с педалей. Это потому, что смотреть надо не на ноги, а вперед, не то уткнешься куда не следует.

К вечеру Мишко окончательно оттер от велосипеда своего младшего соперника. Он начал колесить по двору без чьей-либо поддержки, виляя по-пьяному. В завершение нелегкого дня дернула его нечистая вырулить за ворота. Он подналег на педали и очертя голову понесся к мосту.

Мост широкий: машинам есть где разминуться. Но Мишку он показался узким, как ладонь. Поэтому он направил велосипед не на мост, а под него. Внизу, на пути лежали бревна, припасенные для замены свай. Машина беззвучно ткнулась резиновым колесом в бревно. Седока точно ветром сдуло. Благополучно миновав бревна, он уткнулся белесой головой в стенку ямы. В яме густо росла шерица — трава, которую любят свиньи. Но шерица не смягчила удара. Пришлось отливать буйную головушку водой. Хорошо, река под руками.

Сидит Иван на деревянном крыльце со своим горем-заботушкой, велосипедом, полученным недавно по подписке, и подтягивает ему спицы.

Мишко — в хате, положил на подушку забинтованную голову. Петра нету дома, и явится он не скоро, только по крайней необходимости — поесть.

С горечью думает мать о сыновьях: «И почему они такие непутевые? Все не так, як у добрых людей!»

Тяжелой тряпкой из мешковины моет она темно-вишневые полы. Становится на колени, вытирает пол под кроватью. Подол синей юбки подоткнут. Крупные белые ноги оголены выше колен. Она трудится в охотку. Мыть полы, да еще такие гладенькие, — одна радость. Обычно

она напевает что-нибудь с грустинкой. Но сегодня работает молча: думки одолели. Думает она о том, как справедлива поговорка: «Малы дети — мало и горе». Были маленькими ее хлопцы — накорми их досыта да спать положи вовремя — вот и вся забота. Правда, когда уходила на поле с коммунарами, оставляя детей дома, болела душа. Но прибежишь, бывало, на заходе солнца, увидишь: живы-здоровы — и сердце опять на месте.

Теперь другое. Ванюшка в Харькове, не видишь его по целому году. Приедет на лето, смотришь: уже не тот, уже чужой какой-то. Высокий, худой... И щемит материнское сердце. Не спит он там как надо, не ест вволю. Да куда там вволю! Впроголодь живет. Что на стипендию купишь? А домашние посылки делит чуть ли не на все общежитие. Сядут вокруг ящичка — и пустой ящичек. Однажды писал: были на прорыве в колхозе, бураки копали. Вот, говорит, наелись! Они такие сахарные, если их спечешь на костре... Читала — и все буковки слезами омыла. Сыночек ты мой, не сладко ж тебе живется, если свекле так радуешься!.. Вытянулся Ванюшка. Вон и пушок над верхней губой — впору Дёму-парикмахера звать. Как ты там, сынку, живешь? Ничего ж мать не знает. Такой большой город, так густо людей. Загубишься там, песчинка моя золотая, и не найдешь тебя. И грустно матери, и радостно. Гордится перед соседками, что ее Ванькó — секретарь комсомольский: «Селянский хлопчик, а, бач, городскими командует!» Любо ей глядеть на его почетные грамоты. И все-таки хочется посоветовать, чтоб не дюже рвался: «Горячий конь запалиться может!»

Но Ванюшка все-таки больше разумом живет. За него мать спокойнее. А Мишко — открытая рана. Так тревожно на душе, так смутно порою на сердце. Еще совсем маленьким, бывало, спрашивал:

— Ма, як це, що земля кругла?

Брала кавун, показывала, рассказывала, как умела, припоминала все, чему учили в школе. Он долго глядел на кавун, затем часами сидел на звоннице, уставившись вдаль невидящими глазами.

Однажды спали под хатой на свежей соломе. Проснулась в полночь, заметила — глаза сына открыты и по звездочке в них отражено. Сын спрашивает:

— Мамо, где моя?

— Спи, сынку, твоя еще не взошла. Ты родился под утро.

Так и не дал уснуть до утра.

А тут еще цыганка (хай ей лихо!) подвернулась. Много их в ту пору ходило по селу. Прилипла, точно репей: «Позолоти ручку, погадаю!» Вместо золота вынесла ей пампушку: бери и уходи с богом. Нет, и слушать не хочет — погадаю! Ну, гадай! Вначале не верила цыганкиным наветам, но потом они все сильнее начали сверлить мозг. А сказала черная старуха вот что: «Береги старшего, люби младшего — они твоя надежда, твоя опора. На этого, — она указала серым, точно сухой

бычок, пальцем на среднего, — надежды мало. Пустой цветок, не даст яблочка, засохнет!»

«Откуда тебя принесло, вражья сербиянка? Зачем смуту посеяла? Надежды мало... Пустой цветок...» А может, и вправду опадет раньше времени? Старуха советовала беречь старшего и любить младшего. Но, глупая, разве ты не знаешь, что мать всегда больше думает о «пустом цветке», согревает его, чтобы не завял до срока?..

Петько тоже не обделен ее заботой. Самый младший, поскребыш. Ничего себе хлопчик, да только шкодливый и до наук не дюже охочий. Одно баловство на уме. Горя причинил он матери много. Вызывают в школу, жалуются, грозят. Что поделаешь? Ремнем ума не вставишь. Петько в своих «погано» и «дуже погано», которые густо поселились в тетрадках, обвиняет отца и мать: сами, мол, такого народили, Ивана да Мишка всем наградили щедро, а мне ничего хорошего не дали. Подумаешь, подумаешь — так и выходит: твой сын — твоя и вина. Ну, как же не любить его, бесталанного?!

Три сына у матери, а сердце одно. Но не делит она его на три части, а каждому отдает целиком.

Так умеют делать только матери.

2

Балалайка-трехструнка всегда висит над кроватью родителей. Потемневшая, обшарпанная, она, когда потрясешь, гремит, словно высушенная тыква семечками. Внутри — моточки струн, медиатор (роговой треугольничек, которым играют на мандолине), перламутровая пуговица от старой кофты и еще что-то, чего Мишко никак не мог вытрясти. Балалайка давно влекла его к себе. Она для него — молчаливо-загадочная. Если тронешь первую струну — загудит ворчливо. Вторая откликается добрее. Третья поет совсем светло.

А если по очереди ущипнешь все три — получается начало песни «І шумить, і гуде». Батько хорошо ее поет:

> І шумить, і гуде —
> Дрібний дощик іде.
> А хто ж мене, молодую,
> Тай до дому проведе?

Человеческим языком балалайка говорить не может. Но Мишко слышит, как она почти выговаривает все слова песни в точности.

Видя, как жадно светятся глаза сына, Матвей Семенович начал по-серьезному передавать ему свое умение. Мишко, сидя на скамеечке, острыми коленками зажимал нижний угол балалайки. Верхний угол торчал из-под правой руки. Грудью юный музыкант ложился на борт балалайки, глядя то на пальцы левой руки, неумело ерзавшие по ладам, то на пальцы правой, ударяющие по струнам; они горели, точно

обожженные крапивой. Первая песня, которую одолел Мишко, называлась так: «Баламуте, выйди з хати». Потом пошли: «Во саду ли, в огороде», «Выйду ль я на реченьку». Попозже он научился перестраивать ставший ему послушным инструмент с гитарного строя на балалаечный и играть вальсы.

Прошло несколько лет, Мишко шагнул далеко вперед, а батько — его первый учитель — остался на уровне «І шумить, і гуде».

Августовским вечером, когда густо-карминное солнце опустилось за меловую гору, Мишко, проходя мимо побеленного кирпичного дома правобережной стороны, услышал за раскрытым окном скрипку. Он остановился. Правая рука его легла на кирпичный невысокий забор, взгляд его замер на неподвижной белой занавеске. Скрипка не рыдала, не жаловалась. Она и не смеялась, не кружилась в сумасшедшей пляске. Она тихо пела о чем-то спокойном, мирном, как эта вечерняя синеватая пыль, которую подняло стадо. Хотелось прикрыть глаза и стоять до бесконечности долго.

Когда Мишко поднял взгляд, на месте белой занавески он увидел розоватое от заката лицо, белые пышные усы, белые, аккуратно зачесанные назад волосы. Усы чуть разошлись по сторонам — лицо улыбнулось. Оно казалось добрым, приветливым. Поэтому, когда Мишко услышал: «Заходи, мальчик!» — он сразу же направился во двор и по высоким каменным ступеням поднялся на веранду.

В светлице было почти темно. Пахло теплой канифолью. В дверях, ведущих в соседнюю комнату, показалась женщина вся в белом. Она постояла немного и закрыла дверь — передумала входить.

Так Мишко попал в дом нового учителя немецкого языка Адольфа Германовича Буша. Адольф Германович сказал:

— Первый ученик, который встретился мне в этом местечке, любит музыку. К счастью! Хокраинцы вообще народ музыкальный. И язык их по музыкальности второй в мире после итальянского! — Он говорил не «украинцы», а «хокраинцы». Это слово Адольф Германович произносил с придыханием. — Мы создадим оркестр, создадим хор. Грандиозно! Колоссально! — Он громко хлопнул в ладони, потер их. Казалось, он только затем и приехал в Белые Воды, чтобы создать оркестр и хор.

Но потом Адольф Германович заговорил и о немецком языке:

— Немецкий язык — сильный язык, колоссальный язык! Техническая литература, политическая литература — все на немецком. А музыка: Бах, Моцарт, Бетховен, Гайдн!

Бахало и гудело в голове от этих имен. Откуда он их столько набрал?

От возбуждения весь обратный путь Мишко бежал, не чуя под собой ног. Хотелось встретить кого-нибудь, поделиться тем, что он видел и слышал.

3

Крышка голубого ящика открыта. Ее подпирает никелированная подпорочка. Радужно поблескивая, медленно вращается черная пластинка. По ней скользит шипящая игла. Шипение напоминает шум моря. Откуда-то издалека доносятся звуки неведомых инструментов: то долгий дрожащий звон, то утробно-басовитое урчание, то прозрачно-чистый звук стеклянных капель. Откуда такое чудо?! Мишко потер лоб, вогнал растопыренную пятерню в густую чуприну — мягкую, слегка волнистую. Он вспомнил, как бегал когда-то к тете Ульяне, своей крестной, слушать говорящую трубу. Труба была похожа на увеличенный во много раз цветок крученого паныча.

А тут нет трубы. Звук вылетает из самой пасти ящичка. Когда накручивают пружину, внутри что-то гулко вздыхает.

Блаженно щурясь, Мишко посмотрел в розовое потное лицо Вальки. Тот, улыбнувшись, шепнул:

— Аргентинское танго.

В самом деле, музыка обдает нестерпимым зноем, сухим шелестом пальм. Можно закрыть глаза и очутиться на далеких берегах, под густой синевой южно-американского неба.

Валька и петь может. Голос у него не ахти какой, но запоет — заслушаешься. Особенно здорово у него получается «Гоп со смыком».

Мишку нравится Валька (или Вашец, как он сам себя называет). А Матвей Семенович настроен к нему по-другому. Он говорит:

— Батько такой большой человек, а сын — черт те что!

Анна Карповна добавляет:

— Он жил в Ворошиловграде без отца, с урканами якшался. Понабрался всякой всячины, як собака блох. Ты б, сынку, подтянул его трошки!..

Мишко и не подумает «подтягивать» Вальку. Чего ради он будет всех подтягивать? Валька сам любого подтянет: он ворошиловградский парень. Мишко против него — деревня деревней.

Учитель русской литературы Леонтий Леонтьевич тоже говорит, что сельские мальчишки на голову ниже городских. Они в театре не бывали, опер не слушали. То ли дело, говорит, в Одессе. Там Пушкина преподавать совсем легко: на Приморском бульваре — памятник ему, в оперном — «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила». Там, говорит, все дышит Александр Сергеичем.

Леонтий Леонтьевич бреется редко, на его подбородке, на щеках всегда седая щетина. Голова лысая. Кожа на ней натянута до того, что свет отражает. Разговаривая, любит гладить лацканы темного пиджака. Видно, потому они и засалены.

Если Леонтия Леонтьевича «завести», он до звонка будет вспоминать Одессу. И всегда начинает с фразы:

— Моя покойная жена играла на семиструнной гитаре...

Дальше следует подробное описание Приморского бульвара, Потемкинской лестницы, памятника дюку Ришелье. Он добавляет:

— Балкон выходит на бульвар. Внизу порт. На горизонте дымит корабль, как забытая трубка на синей скатерти стола...

Учитель растроганно закрывает глаза. Из-под ресниц выкатываются крупные слезинки. Он встряхивает головой, выдыхая короткое, многозначительное «ах!», прикладывает ладонь ко лбу и повторяет:

— Нет, нет! Я не стыжусь своих слез. Ах, друзья, то была жизнь! Какая была жизнь!

И забывает задать урок на дом.

ГЛАВА 3

1

О бубликах Максима Пилипенко шла добрая слава. Но на бубликах не удалось построить счастья. Максим забил досками окна хаты, нанял арбу, погрузил на нее пожитки, посадил жену в передок, подал ей на колени рыжеволосую девчушку — пока единственное свое дитя — и... прощайте, Белые Воды! Арба затарахтела в Кадиевку, донецкий городишко.

Не принесли счастья бублики. Может, удастся добыть его кайлом под пластами поблескивающего антрацита?

Десять лет прошли, как один день. Видел ли Максим Пилипенко счастье? Если спросить, он ответит:

— Може, видел, да не распознал. Как его узнаешь? Никто ему в очи не глядел, никто голыми руками не держал.

Уезжал Максим с единственной дочкой, вернулся с двумя.

Стена сарая, та, что смотрит на восход солнца, рухнула. Изжелта-белые комья мела раскатились по двору. Розовая гончарная черепица потемнела под серыми дождями, прогнула своей тяжестью затрухлевшие стропила. Двор зарос густой лебедой.

— Лобода не беда, — повторял про себя Пилипенко, — были бы гроши!

А гроши у Максима были. Без них он не вернулся бы.

С высокого Пилипенкова двора видно почти все село. Ворота выходят на улицу, которая почему-то называется Ракетной. Может, потому, что круто взмывает вверх? Улица изрыта ручьями. Летом здесь пасутся козы, зимой ребятишки катаются на санках.

В селе Пилипенко оформился в пекарню, будет выпекать тяжелые кирпичи-буханки.

— Вот мы и дома. Девчатки пойдут в школу. Дора в восьмую

группу, Люся в первую. Я буду калиться у печи. На кусок хлеба заработаю, большего нам не надо.

К Доре Максим относился по-особому. Федорой он назвал ее в честь своей матери, полагая, что на свете нет имени красивее. И вправду имя редкое, звучное. Валька Торбина, рядом с которым посадили в школе Дору, в перерыве пропел по слогам: «Фе-до-ра», и это прозвучало, как «до-ре-ми».

Петько в тот же день принес домой новость:

— Пришла новенькая. Валька вокруг нее извивается, як уж возле молока. Имя какое-то чудно́е, вроде заграничное — Дора.

Мишко впервые увидел ее в коридоре. Засмотрелся на ее волосы: они с золотистым отливом, сзади коротко подстрижены, на лбу челка. Девушка тоже с интересом посмотрела на Мишка. Затем широко улыбнулась, ослепив его белыми зубами, круто повернулась на одной ноге и понеслась вниз по лестнице, левой рукой скользя по перилам, правой гася коротенькую темно-синюю юбку.

Перед глазами Мишка стояли густые ее веснушки и челка.

Как-то после кино Валька подтолкнул в плечо, кивнул в сторону Доры:

— Боязно ей ходить одной. Проводил бы...

Мишко не знал, что ответить. Валька прибавил шагу, поравнялся с Дорой. Когда они скрылись за школой, на душе у Мишка стало тревожно. Он успокаивал себя, повторяя:

— Яке мени дило? Яке мени дило?

Но успокоиться не мог.

Валька увещевал утром:

— Чудак! Дуется, что телок. Я тебе не соперник, слыхал? Рожей не вышел, и чуб не того цвета.

У Вальки и вправду чуприна недоброго цвета: пепельно-сизая. Брови тоже. Лицо розовое и постоянно в испарине, будто он только из бани.

— Она пташка со вкусом. Заметил: все прихорашивается, все перышки разглаживает. В зеркало любит смотреться. Губы, заметил, капризные. Даже немножко злые. Особенно верхняя, тонкая. Хватишь с ней горя. Но не трусь. Такая стоит жертв! Меня не бойся. Я связан по рукам и ногам. Далеко зашел с Гафийкой...

Гафийка — дочь тренера соседнего конезавода. Живет в школьном общежитии, куда Валька зачастил в последнее время со своим голубым ящичком — патефоном.

Анна Карповна заметила — Мишко стал раздражительным, молчаливым. Вытянулся, похудел. Голос ломается, в нем прорываются мужские басовитые нотки. Сын требует все время белую рубашку, подолгу задерживается у зеркала. И радостно матери и чего-то боязно. Он всегда какой-то непонятный, ее Мишко. Твердил о море, о кораблях, о

капитанах, а недавно в районной газете вирши написал. Про испанцев. Складно так получилось: «Дале́ко від нас ви і дуже близько: у самому нашому серці». Это Леонтий Леонтьевич помог ему. Он исправил грамматические ошибки и понес Мишковы странички в редакцию.

Зещемило сердце матери. Не дай бог ступить селянскому хлопцу на тот каторжный шлях! Перед глазами вставал замордованный Тарас, «Кобзарь», которого почти в каждой хате найдешь. Читая его, бабы обливаются пекучими слезами.

«Ни-ни, — успокаивала она себя, — для этого нужна дуже великая голова!»

Вздыхала Анна Карповна, подпирала рукой щеку и думала: «Сынку любимый, если бы ты показал матери, где у тебя болит...»

Мишко решил заговорить, открыться. Только не перед матерью.

В октябрьское воскресное утро беловодцы торопились в конезавод на скачки. Валька ради друга пошел на жертву: сел на раму Яшкиного велосипеда, а свой отдал Мишку.

Мишко пригласил Дору ехать с ним. При этом чувствовал себя так, словно летит с вершины вербы в холодную речку. Дора прищурила светло-карие глаза, улыбнулась и сказала:

— О, як гарно!

Она села на раму боком. Мишко, боясь коснуться губами ее ромашково-рыжих волос, держал руль, вытянув руки до онемения. А она, не страшась ничего, сидела прямо. От нее пахло яблоками. Мишко знал почему: у Доры везде — на окнах, на столе, на комоде — яблоки. Носит она их от тети, что живет за речкой. У тети лучший в Белых Водах сад.

Неподалеку от конезавода жестко запрыгало заднее колесо. Сошли на обочину. Дора держала велосипед. Мишко, вместо того чтобы прилаживать насос, достал из кармана аккуратно сложенный вчетверо лист бумаги и, не отводя глаз, сунул его в руку Доры.

— На, возьми.

Ему стало легко-легко, а Дора притихла. Некоторое время она шла рядом, затем, увидев сзади девчат, отстала.

Вечером Дора вынула из-за рукавчика вязаной кофты записку, прочла:

«Я люблю тебя, Дора...»

Дальше он писал о море, о солнце, о травах. Дора, вначале встревоженная, успокоилась, улыбнулась. Слова были высокие, легкие.

Но как быть с первой фразой?..

2

Долго ждал ответа Мишко.

Уже початки желтой кукурузы свалены в закрома. Шорсткие шляпы подсолнухов, холмами лежавшие во дворах, уже обмолочены ясене-

выми палками. Семечки провеяны на осеннем ветру, ссыпаны в брезентовые лантухи и поставлены в чуланы. Сухие стебли давно убраны под навес. Заботливые хозяйки перед стиркой будут их жечь, пепел процеживать через тряпку в большую макитру, добывая щелочь. Уже миновала серая дождливая тоска, высушенная зноем земля напилась досыта, оставив лужи про запас. Уже прошелся по грязи краснощекий мороз. Белые мухи, вдоволь накружившись в сизом воздухе, упали на черствые комья. Пролег первый след ребячьих санок на крутой Дориной улице...

А Дора все молчит.

В школу она ходит в коричневом пальто. Ее челка насмешливо выглядывает из-под вязаной шапочки с мохнатым шариком на макушке. Увидев Мишка, Дора чему-то улыбается и прячет улыбку в темно-коричневый цигейковый воротник. Она запросто подходит к Вальке или к Яшке Пополиту, открыто смотрит в глаза Расе. А Мишка сторонится.

Наконец Мишко получил ответ. Но не из рук в руки. Ответ пришел окольным, трудным путем.

Дора обрадовалась письму. Правда, она радовалась не тому, что оно от Мишка, а тому, что нравится хлопцам, тому, что ее любят. Долго носила записку в потайном кармане жакета. Потом как-то показала ее своей подруге Наталке Еременко. О записке узнала мать Наталки — учительница Марья Ивановна, «грамматика». Марья Ивановна отозвала Дору в уголок, попросила показать. Прочитала и не вернула. Ей понравились «слог и красочность изложения» — так она сказала. В следующую перемену в учительской была устроена громкая читка, после чего письмо попало в руки Карпа Степановича, или Кóропа — так его дразнят.

Короп по-украински — карп, рыба. Карп Степанович и вправду похож на рыбу, особенно ртом с тонкими губами. Глаза тоже рыбьи: круглые, мутноватые.

Мишко Супрун — лучший ученик. Им гордился Карп Степанович. «Но, как видно, в тихом болоте черти водятся, — думал он теперь о Супруне. — Смотри, что выдумал. Подтянуть надо!»

И началось. На другой день в кабинете директора побывала Анна Карповна.

Митя Палёный — старший пионервожатый и секретарь комитета ЛКСМУ — встретил Мишка словами:

— Морально разлагаешься? Комсомольский билет захотел потерять? Ишь ты, страдатель!

Особенно больно резануло слово «страдатель». Губы у Мишка затряслись. Не дослушав нотации, он метнулся из комнаты.

Во дворе встретил Дору. Она смотрела на него большими, растерянными глазами. Срывающимся голосом попросила:

— Михайлику, прости, если можешь. Я така дурна. Я не хотела...

Он тяжело посмотрел в ее рыжие глаза и пошел прочь. В горле пекло, точно застрял там стручок красного перца.

Мишко думал: махнет он на Дору рукой, забудет навсегда.

Но получилось не так.

Однажды Валька пересказал ему слова Доры. Будто она говорила, что ей нравятся сильные и решительные мужчины, вроде Порфишки. И Мишко начал ревновать ее к заведующему клубом, бывшему комендору линкора «Парижская коммуна». Мишко решил, что после десятилетки пойдет в матросы. Лицо его огрубеет, руки станут железными, сердце тоже будет железное!..

Дора радовалась. Ей писали записки. Даже стихи для нее сочиняли. Она показывала их Вальке, теперь уже не выпуская бумажку из рук.

Дора радовалась.

Мишко мрачнел.

Валька Торбина сказал как-то:

— Плюнь, Мишец. Займемся делом. Давай организуем драмкружок и поставим «Наталку-Полтавку»!

Мишко, приложив руку ко лбу друга и притворяясь озабоченным, спросил:

— У тебя жар?.. — Затем уже другим тоном добавил: — «Наталка» — опера. Где у нас оркестр, ноты? Голоса нужны...

— Ерунда! Ноты в этой коробке. — Валька постучал себя по голове. — Напою любой мотив. Потянешь Петра? Вполне. Леся Дубова — Наталка. Я — пан Возный. Два жлоба — Адольф и Леонтий подыграют. Грубо́?

«Грубо́» — Валькино козырное словечко. В приблизительном переводе оно означает «хорошо».

Мишко согласился.

Пусть Дора походит в сторонке, пусть позлится. Ей не быть на сцене: она безголосая. А Мишко обнимет Лесю, споет ей «Сонце низенько».

Два конька, чалый и вороной, которых Мишко (взбредет же такое на ум!) окрестил Машталюрой и Синхронным, без охоты тащили бричку по дороге в конезавод. Они шли трусцой. Бричку трясло, аж зубы стучали. Сухой их цокот отдавался в мозгу. Мишко держал вожжи, стоя в передке на коленях. Валька лег на спину. Занял собой всю бричку. Он просил:

— Мишец, не выжимай из них остатки духа. Упадут. Придется пешком идти.

У Вальки за пазухой простая тетрадка в клеточку. Она прострочена на швейной машинке девять раз поперек и один раз — вдоль. Продольная строчка — у края, она отделяет контрольные полоски от билетов. Райфо подсчитало листки, пронумеровало, прошнуровало и скрепило сургучной печатью.

Сегодня суббота. Тетрадку надо передать кассиру конезаводского клуба, расклеить афиши. Завтра притихнет сумеречный зал, раздвинется темно-синий занавес, и Наталка на сцене пойдет за водою.

А сейчас муторно Мишку. Отчего так — он не знает. Он затянул было «Ой, чого ж ти, дубе». Но что ж петь о старом дубе? Хочется чего-то другого.

Когда идешь в строю, знаешь, что петь — «Москву майскую», «Все выше», «С неба полуденного». Песня берет тебя под микитки, несет — земли под ногами не чувствуешь. А когда остаешься один и до зарезу надо выкричаться — ты немой, петь нечего.

Мишко вскочил на ноги, хлестнул вожжами Машталюру и Синхронного по ясно проступавшим ребрам, заорал черт те что. Полы темно-синего пальто разлетелись в стороны. Холодный сквознячок защекотал под мышками.

Валька дернул друга за пальто, посадил на хрусткое сено.

— Побереги глотку на завтра! Задарма зайцев пугаешь. Дора все равно не слышит. Стоит ли из-за нее так надрываться? Обыкновенная Федора, а ты из нее делаешь «богиню джунглей». Да все они такие! У меня вон Гафийка. Грубо́ звучит, верно? А узнаешь ближе — всего-навсего Агафья, Гапка. Понял?

Спектакль назначили на шесть. Но начался он только в восьмом часу вечера. Мишка охватил озноб. То ли оттого, что клуб нетоплен, то ли оттого, что ситцевый занавес, поскрипывая железными кольцами, обнажил темный, как пропасть, зал.

Когда находишься по ту сторону деревянного барьера, чувствуешь себя куда проще. Там испытываешь волнение легкое, почти сладостное. Ты ничего не боишься, от тебя ничего не требуется. Сними шапку, не шмыгай носом, сиди смирно, не мешай смотреть и слушать другим. А тут такой озноб бьет, что слова не выговоришь. Хорошо, что показываться на сцену не скоро, только после перерыва. И то не сразу, а когда пропоешь за сценой арию Петра.

Первым всегда выходит Митя Палёный. Ему что! Ему море по колено. Он проковылял до самых лампочек, что блестят из-под барьера, слепя глаза, и бодрым голосом, каким обычно произносят речи на торжественном заседании шестого ноября, провозгласил, что́ ставится и

кто́ ставит. Он не забыл упомянуть, что драмкружком руководит ученик восьмого класса Валентин Торбина, а оркестр играет под руководством учителя немецкого языка Адольфа Германовича Буша.

Ударил оркестр. Жаворонком взвился легкий голосок Леси. Пан Возный — Валька начал приставать к Наталке — Лесе, хрипло, слащаво напевая: «От юных лет не знал я любови». Когда вышел Выборный и принялся дотошно расспрашивать Возного про «кумедию», зал залился смехом.

Мишка ждал настоящий успех. Он начал петь за сценой тихо-тихо, высоко-высоко. Песня все приближалась и оборвалась уже на самой сцене. Поднялся гвалт и свист. Просили повторить. Мишко стоял, забыв свою роль...

А Доры в зале нет. Он пел для нее, но она не слышала. Она, наверно, смотрит сейчас кино или болтает с подругами, лузгая крупные, как орехи, семечки.

Леся говорила Мишку о любви. Говорила так, точно и взаправду его любит, прижималась сильно, до дрожи, целовала по-настоящему. А Мишко думал о Доре: «Як бы вона бачила, як бы вона чула!..»

3

У Мишка, кроме Раси, Вальки и Яшки Пополита, был еще один друг — Данило Билый, или попросту Данько́.

Данько старше на два года. Очутились они в одной группе потому, что Данько на год позже пошел в школу да год упустил после четвертого класса. Задачки Данько решал туговато, зато мастерски владел перочинным ножичком, искусно делал из весенней вербной веточки свистки.

Он низкорослый, не в меру широкоплечий. Голова не по росту большая, лицо удлиненное, челюсти могучие (ребята говорят: «Только кукурузу жевать!»), верхний передний зуб со щербинкой. Мишко завидовал, щупая его мускулы: «С такими не пропадешь».

Бывая у Данька, Мишко начал понимать, почему его новый друг туговат в науках. На его плечах, по-мужски широких, лежали все заботы по дому. Приходя из школы, Данько бросал на лавку книжки, стянутые сыромятным ремнем, брал в руки грабарку — совковую лопату — и чистил коровник. Затем брал в руки вилы. Они с хрустом впивались в сухое сено или солому. Под его руками скрипел колодезный журавель, потом крупное Даньково лицо обдавала жаром печка.

Мать Данька стонала, лежа под серым рядном на старинной деревянной кровати. От батька осталась только потускневшая фотокарточка, где он снят с дружками-кавалеристами во время русско-японской войны. В революцию он вернулся домой, да голодный двадцать первый год угнал его куда-то на восток. С тех пор о нем ни слуху ни духу.

Книжки, стянутые сыромятным ремнем, спокойно лежат на лавке до следующего утра.

Луна словно пышногрудая молодица. Вокруг нее сияние, как на иконе вокруг лика пресвятой девы Марии. Луна — жиночка не беспорочная, но венчик ей к лицу. Венчик — предзнаменование: завтра ударит мороз. Пора бы. Месяц сичень, середина зимы, а морозы еще и не секли по-настоящему, и доброго снегу люди не видели.

Хорошо после застоявшейся классной духоты хлебнуть морозцу. Кажется, втянул бы в себя всю сизую ночь.

Мишку радостно: рядом идет Дора. Она держит под руку Лесю Дубову. Они возвращаются из школы после репетиции.

Валька раскопал где-то пьесу Кропивницкого «Дай серцю волю — заведе в неволю». Леся и Мишко были в одной классной комнате, а Дора в другой, рядом. Она сидела за роялем. Адольф Германович обещает сделать из нее отличную пианистку. Пальцы у нее красивые и, главное, чуткие.

Учитель музыки подолгу задерживает Дорины пальцы в своих руках. Это злит Мишка. Он в сердцах обзывает седоусого учителя белой крысой.

Но сейчас Дора рядом, и Мишко спокоен. Он то и дело задирает голову, смотрит на морозный круг. Девчата шутят:

— Тихенько, а то споткнешься!

Дора прыскает в рукав. Ей тоже до визгу радостно.

Эх, если б дорога тянулась бесконечно! Но вот и мост. Дора прощается. Ей налево, на Ракетную улицу. Мишко и Леся идут дальше. Идут молча. О чем говорить? Мишку хотелось бы не Лесю видеть возле себя. А Лесе — чтобы рядом шел учитель математики Иван Митрофанович. Но ничего не попишешь. Всегда идешь не с тем, с кем хочется!

Математик долго похаживал возле школы: решал, идти с Лесей или не идти. Не пошел. Совестливый. Смешно смотреть на него. Уже лысина проблескивает, а возле Леси — телок телком. Да каждый так. Мишко тоже возле Доры хвост поджимает и язык проглатывает. А возьми Данька Билого. Пропал парень не за цапову душу (есть такая поговорка. Цап — козел, по-нашему). Влюбился он в ту же Лесю Дубову. Как будто девчат мало. Знает же, что у нее математик на душе, а не отступается. Каждую ночь дежурит, сидит на Мишковой скамейке и посматривает на Лесино окно. Бывает, будит Мишка, скребясь по-кошачьему в окно. Просит закурить. Говорит, уши опухли без табаку.

На заре Данько уходит домой не солоно хлебавши.

Вся школа сошла с ума. Все перевлюблялись. Горе Карпу Степа-

новичу. Как быть? Что делать? Чем лечить хворобу?» Директора больше всего беспокоит то, что молодые учителя постреливают за ученицами. «Срамота на всю Ворошиловградскую область, — думает директор. — Скоро, гляди, в газете пропечатают. Перед роно ответ держать придется».

Есть у Карпа Степановича дочь, дорогое дитя. Хороша собой и не глупа. Учится в восьмом классе. Имечко ей подобрал отец со значением — Софья. Леонтий Леонтьевич — «семиструнная гитара» — говорит, что по-гречески оно означает мудрость. Мишко как-то спросил, что означает его имя. Учитель, не задумываясь, ответил:

— Михаил, Михалиус — с нами бог.

Ответ не понравился. При чем тут бог? А вот Софья — мудрость — это здорово!

Подросла Софья, и отцу прибавилось заботы. Смотрит он на каждого парня-старшеклассника и думает: «Не ты ли, подлюга, ключики к моей Софьюшке подбираешь?»

Мишко и Леся вспугнули Данька. Он вскочил с лавочки, метнулся за плотные ворота. Мишко пошутил:

— Смотри, Леся, воры к тебе подбираются.

Она ответила:

— Да они не дюже страшны!

Когда Леся скрылась за углом своей хаты, Данько пошел вперед грудью, пригрозил Мишку:

— До чужих девчат липнешь? Берегись, парубче, ноги дрючком переломаю!

Мишку казалось, что Данько в любовных делах стреляный воробей. Он часто давал волю рукам, за что девчата били его по железной спине ватными кулачками. Он часто рассказывает такое, что уши вянут. И вдруг — прячется.

Мишко спросил прямо:

— Чего трусишь? Ты ж богато их переобнимал?

Билый сделал глубокую затяжку и ответил, увивая слова горьким дымком:

— Обнимал глазами, а сам бегал по-за возами!..

ГЛАВА 4

1

Бывают такие дни в январе, когда, выйдя за порог, замечаешь, что ветер толкнул тебя в грудь совсем по-весеннему. Он мягкий, добрый, и все запахи в нем — весенние. Ты, обрадованный, поднимешь глаза к небу — и просторная синева подтвердит твою догадку. А капля, упавшая с крыши, будет той самой последней каплей, которая переполнит чашу. Чувства твои хлынут потоком, и не найти такой плотины, которая бы

их удержала. Ты юн, в тебе столько силы, что, кажется, хату можешь переставить с места на место. Ты влюблен. Ты способен любить так, как до тебя никто и никогда не любил. Но что тебе остается делать, если она считает тебя несмышленым хлопчиком, если твои страдания вызывают в ней только ироническую усмешку? Может, запить горькую? На протяжении веков люди топили горе в вине, в нем находили утешение. Попробуй! Может, она увидит тебя несчастным и ее сердце дрогнет?

Запить бы можно, да где взять денег? Не воровать же в курятнике яйца, не носить же их на базар!.. Ну, допустим, ты запил. Но как же с уроками? Значит, не сдашь за девятый. Куда же подашься? А что скажут мать, отец?

Мишко не запил. Он запоем начал писать стихи. Писал много, до одури. Обо всем. И о любви, и о революции; о Гильоме Кале, о котором узнал из учебника истории; об испанских республиканцах, о которых слышал по радио. Больше других ему нравились свои стихи под заголовком: «No pasaran!» Встречаясь с Валькой, Яшкой-корешком (Яшка — плотный, приземистый, точный корешок), с Даньком или Расей, Мишко выбрасывал вверх кулак и восклицал:

— No pasaran!

Друзья отвечали тем же.

Карп Степанович как-то после уроков задержал Мишка. Пригласил в кабинет и Леонтия Леонтьевича. Директор сел в полумягкое кресло, что стояло под сенью широколистного фикуса, и официально предложил юному поэту собрать и принести все свои стихи. Он обещал положить их в пакет, запечатать сургучной печатью и отправить в методический кабинет при облоно. Он сказал, что пришла бумага из области — объявлен ученический литературный конкурс.

Мишко писал для себя. Он не думал о методическом кабинете. Потому начал было возражать. Леонтий Леонтьевич возмутился:

— Да вы сошли с ума! Такой случай!..

Пришлось принести заветную тетрадку. Он не верил в затею Карпа Степановича и Леонтия Леонтьевича. Но под ложечкой у него холодно защемило. «А вдруг!..»

В области сидели люди чуткие. Ждать пришлось недолго. И вот на директорском столе лежит пакет из оберточной бумаги. В пакете стихи Мишка и грамота областного отдела народного образования. Мишку Супруну присудили четвертую премию.

В районной газете появились его стихи. На этот раз уже не рядовые, а премированные.

На камышовой крыше дома
Присядет аист, бел и тощ.
А там, ударив первым громом,
Пройдет по пыли первый дождь.

Мальчишки выбегут босые,
Подняв веселый тарарам.
И ласточки, как запятые,
Рассядутся по проводам...

Леонтий Леонтьевич, с довольным видом потирая лысину, утверждал перед учителями, что Михайло Супрун довольно способный юноша и что эти способности он всегда старался развивать.

— Ах, ему бы побольше культуры!..

Тут же он вспомнил о своей покойной жене, о семиструнной гитаре, о памятнике Пушкину на Приморском бульваре, о дюке Ришелье и обо всем, что относилось и что не относилось к делу.

Анна Карповна гордилась сыном, но радость переживала молча. А Матвей Семенович заявлял во всеуслышание:

— С нами, Супрунами, не шуткуй!

Мишко вырос в глазах людей. Многие к нему стали относиться почтительнее. Даже Рася при нем терялся, смотрел на дружка восхищенными глазами, широко открывая губастый рот. Данько тоже прикусывал язык, не так густо матерился. Только Валька Торбина попрежнему панибратски похлопывал по плечу и все так же говорил:

— Мишец, потопали ко мне, поставлю «Брызги шампанского»!

Валька отвадил всех друзей. И куда им, сельским голопупенкам, тягаться с фартовым ворошиловградским парнем!

Еле уловимый в январском воздухе весенний дух толкнул к стихам. А подсохла земля, пригрело по-настоящему солнце — пришла новая страсть — спорт.

В той части села, где расположена «скотыняча ликарня», есть широкий майдан, устланный густо-зеленым мягким дерном. Казалось, его специально готовили под футбольное поле.

Когда-то майдан был скотопригоном. Со всей округи пригоняли сюда скот для прививок. На этом же месте собирались шумные ярмарки. Народ съезжался, говорят, со всего белого света. Вертелись три карусели!

На восточной стороне майдана глухой кирпичный забор. За ним высокие хмуро-зеленые тополя. Оттуда всегда тянет карболкой, там ветеринарный пункт — «скотыняча ликарня».

Футбольные ворота ставил сам завхоз школы Плахотин. Вместе с подручным он привез на пароконной подводе шесть дрючков. По два вкопал на противоположных сторонах поля, укрепил перекладины. Окончив дело, он вскрыл шестидесятикопеечную пачку «Тенниса», сунул в рот тонкую, как гвоздь, папиросу и стал потягивать так рьяно, что тощие его щеки совсем проваливались. Он снял фуражку защитного цвета, вытер ладонью не тронутый загаром лоб, к которому прилипла прядка рыжеватых волос.

Ворота получились узкие, а расстояние между ними — больше того, чем требовалось по правилам. Яшка Пополит, капитан футбольной команды, начал протестовать. Но завхоз, глядя на Яшку сверху вниз, ответил:

— Богато ты разумеешь, кашоед несчастный! В гражданку, знаешь, в яки ворота врывались? Знаешь, яки шары впихивали? Да что с ним балакать, его и на свете тогда не было! — Плахотин победно улыбался, поблескивая стальным зубом.

Мишко знал, что с завхозом спорить бесполезно. Прав он или нет — перевес всегда на его стороне. Все сказанное им молчаливо скрепляется достоверной печатью — орденом Красного Знамени, который всегда алеет на груди Плахотина.

Плахотин — красный партизан, человек отчаянный, за то и орден получил. Но не служил ни в войсках Буденного, ни тем более в Чапаевской дивизии. А разговор ведет только о них. То однажды, возвратясь из караула, он грубо растолкал и отодвинул в сторону Василия Ивановича, высвобождая для себя место. То Семена Михайловича положил на землю и держал так до тех пор, пока не пришел разводящий. После чего знаменитый полководец поцеловал его в усы, снял с себя и подарил ему саблю за исправное несение караульной службы. А Сашка Пархоменко — лучший друг Плахотина. Однажды, говорит, выбили махновцев из хутора, расположились на ночь. Хлопцы унюхали бурачный самогон. Скаженный такой! Одуряет голову начисто. Хватили с Пархоменкой — и под стол замертво. Никогда слаще не спал, как в ту ночь.

Плахотин, или Плахотя, как его любовно называют, человек добрый, мирный. Но до поры до времени. Если ему «вожжа попадет под хвост» — понесет очертя голову. В бешенстве он может покрыть тебя таким густым матом, что из-под него не скоро выберешься; он может выхватить «дареную Буденным» саблю и изрубить в куски. Правда, человеческих жертв пока не было, но вот телку свою зарубил. Жена однажды допекла его. Сама спряталась в соседнем погребке, а телка ответила. Хорошо, хоть мясо продали на базаре.

Начальник милиции все собирался обезоружить Плахотю, но, «поскольку это связано с большим риском», оставил затею.

Яшка Пополит расставил команду на поле. Мишко, как и хотел, попал на правый край. Желающих погонять мяч было много. Поэтому лишних Яшка попросил «выйти в аут».

Платон Витряк тоже оказался лишним. Его лицо, сплошь покрытое коричневыми веснушками, искривилось, будто он раскусил зеленую сливу. Нелегко вздохнув, Платон пригрозил:

— Ну, добре!

Яшка знал: ссориться с Витряком не с руки. У Платона карманы всегда тяжелые. В них, слепившись комками, лежат конфеты с нежным

названием «монпансье». Хлопцы выговаривают проще: «лампасе». Правда, старого Витряка взяли недавно за растрату. Он торговал в гамазее. Но у Платона «лампасе» пока еще водится. Кроме того, у Платона добрый баштан за горой. Смотришь, притащит дыньку-качанку или черный кавун. Черные кавуны — они хоть и помельче, но сахаристее серых.

Яшка уже стоял в центре, поставив ногу на мяч, точно на голову побежденного врага, он уже держал в зубах сирену — свисток, спаянный из трех трубочек белой жести, одна другой короче (катаясь на велосипеде, он тоже держит ее в зубах). Он уже готов был дать сигнал. Но передумал. Вынул сирену изо рта, поманил ею Платона. Витряк в три прыжка оказался возле Яшки. Платону нашлось место: он должен подавать мяч, если тот вылетит за линию ворот. Называться Витряк будет «заворотным беком». При этом Яшка подавил усмешку, но Витряк ничего не заметил.

Платон старался. Он не пропускал ни одной возможности стукнуть по мячу. Если пацаны посягали на его права и обязанности, он за шеи пригибал их к земле, точно котят. Как и все игроки, Платон разделся до трусов, как и все, в конце тайма бежал по свистку к центру.

На большом щите клуба и на маленьких щитах пяти колхозов села появились афиши. Оповещалось, что в воскресенье на футбольное поле выйдут команды школы и райцентра. Директор Карп Степанович по такому случаю раздобыл денег на резиновые тапочки — все не голыми пальцами пинать.

Команда старших вышла в бутсах. Делали их сами. Вернее, один из игроков — Кузьма Шаповал. Он работает в сапожной. Каждый нес ему старые ботинки. Кузьма чинил их и набивал шипы.

Кузьма Шаповал, или просто Кузя — так его зовут в селе, — недавно вернулся из дальних мест. Был там, «где Макар телят не пас», на самом краю света. Говорит, дальше «ничего нема, одна вода». Возили его так далеко вот за что. Еще до Порфишкиной демобилизации он работал в клубе по хозяйственной части: чинил декорации, реквизит, хранил ключи от кладовой. В общем, был «старшим, куда пошлют». Однажды он переносил бюст Сталина на сцену: готовилось торжественное заседание. Ноша была тяжелой, пришлось Кузе натрудить пупок. Водрузив бюст на место, часто дыша, Кузя несколько раз шлепнул его своей железной ладонью по гипсовому темени, добавив при этом:

— Надоело мне с тобой носиться!

На суде он изобразил дело несколько иначе. Говорит, пыль стряхивал. Позвали свидетелей, те не дали соврать. Пришлось ехать...

В команде вместе с Кузей играет и Порфишко. У него ноги бы-

стрые — позавидуешь. Удар резкий, как выстрел. Мяч идет понизу — только дерн шуршит. Кузя, тот больше вверх пуляет, для красоты. Дядьки восхищаются:

— Бьет, сукин сын, аж до неба!

— Як же, хлопец бывалый. Свету побачив. Знае, як бить!

Перевес старших был очевиден. Они сшибали с ног учеников, перепрыгивали через них и, поощряемые гудящей толпой, гнали мяч к воротам противника. Но попасть в ворота не удавалось.

На поле выделялись двое: Порфишко и Яшка Пополит. Они могли ловко обойти всех, проводя мяч от ворот до ворот.

Первый гол забил Яшка. Поднялся галдеж и свист. Через некоторое время команда райцентра совсем оскандалилась. Виноват Кузя. Когда он бил мяч, от натуги лопнул шнурок на трусах. Трусы удалось подхватить у самых колен. Под визг баб и гогот мужиков Кузя умчался за стену «скотынячей ликарни». Какая уж тут игра!

Слава Яшкиной команды вышла за рамки района. Решено ехать в соседний, Марковский.

Если Белые Воды когда-то были известны своим мылом, то Марковка всегда гордилась луком. Сахарно-сладкий лук в Марковке. Его даже в Москву возят. Лук здесь называется цибулей. Потому марковчан дразнят «цибулешниками».

И вот хрипатая полуторка «Заготскота» бодро потрусила в северном направлении. Она повезла Яшкину команду сражаться с «цибулешниками». Команду укрепили Кузей. Он моложавый, низенький. Если его добре побрить, сойдет за школяра. Взять бы и Порфишко, да нельзя, будет сильно выпирать.

Выиграли без Порфишко.

Пока сражались, кто-то из марковчан приладил к машине гостей погремушку: на длинную бечевку привязал горелое ведро и пристроил его под кузовом. Когда полуторка, набрав ходу, подпрыгнула на ямке, ведро грохнулось и, увлекаемое машиной, затарахтело по мостовой. Бечевку надо было секануть ножом — и делу конец. Но кто это сделает? Все запрятали свои головы в кузов, потому что над полуторкой свистел луковый град. Увесистые цибулины, пущенные мстительными руками марковских хлопцев, гулко ударялись в спины победителей.

2

Вокруг футбольного поля расчистили беговые дорожки. Стометровка уложилась в длину поля, тысячеметровка — в три круга. Поодаль выкопали яму для прыжков, засыпали опилками, смешанными с песком,

врезали заподлицо опорную доску, густо натерев ее мелом: так виднее и не поскользнешься.

На беговой дорожке Валька померк. Его обошли Данило Билый и Яшка Пополит. Рася тоже сошел. На тренировках и соревнованиях они с Валькой сидели на зеленом дерне, покуривали и сплевывали горькую слюну, чвиркая сквозь зубы.

Мишко заметил: у Доры тело ладное, ноги стройные. Она резва, ходит легко. Думал, на беговой дорожке не будет ей равной. Но на первой же шестидесятиметровке Дору обставила Леся Дубова. В забеге на пятьсот метров, отстав от той же Леси, она сошла с круга. Обиженно села в сторонке, обхватив розовые колени руками. Когда прыгали в длину, она снова оживилась. До нее никто не смог дотянуться.

Мишко ржавой железячкой выкопал для себя две ямки: одну на самой линии, другую — чуть позади. Когда физрук скомандовал: «На старт!», в первую ямку Мишко сунул пальцы левой ноги, во вторую — правой. Когда напряженное ухо поймало сигнал «Внимание!», левая коленка, поднятая до подбородка, отошла назад, правая нога вытянулась в струнку. Сухожилия напряглись до того, что задрожала коленная чашечка. Голова оказалась внизу. Кровь хлынула в голову. Сердце стучало где-то в ушах...

Впереди шел Данило Билый, могучий и красивый, как черт. Его понегритянски широкий нос ловил воздух вздрагивающими ноздрями.

За Данилом держался Яшка-корешок. Мишко шел третьим. Он злился, в груди пекло, в ногах свинцовая тяжесть, в боку покалывало. Видя его страдания, Рася крикнул:

— Не трать, куме, силы, сидай на дно!

Валька добавил:

— Мишец, не надрывай пупка, заворачивай сюда, покурим. Есть гаванская сигара, затянись разочек!

Пропади она пропадом, дорожка с камушками, обжигающими голые ступни! Пропади пропадом солнце, висящее над головой раскаленной сковородкой! Пропади пропадом стопудовая майка, сжимающая ребра, как удав!

В носу горчит, во рту сухо. Впереди два затылка соперников. Плюнуть на них, что ли? Хорошо бы сейчас потной спиной лечь на шелковистый дерн и задрать копыта от удовольствия.

Но вот с ног точно колодки свалились. Стало легко-легко. На два счета втягивал в себя сладковато-горячий воздух, на два счета выдыхал. Точно окатили живой водой! Никакой усталости. Мишко прибавил ходу — и Яшка-корешок медленно уплыл назад.

Валька заорал:

— Мишец, жми во все лопатки!

Рася сунул в рот черные пальцы, резко свистнул, точно стрельнул пастушьим батогом.

Данько спиной почувствовал опасность и стал еще страшнее работать своими смуглыми ногами. Он бил землю пятками, точно гирями. Земля под ним, казалось, вздрагивала. Широкая его спина маячила перед Мишком на расстоянии вытянутой руки.

Все уже поверили в чудо. Но чуда не произошло. Финишного шпагата коснулась Данькова майка. Если бы шпагат был протянут хоть на пять метров дальше, тогда чудо свершилось бы. Тогда Мишко показал бы, где раки зимуют. Но все равно все бросились не к Даньку, а к Мишку. Даже Дора подбежала. Она удивилась:

— Ой, Михайло, який ты злый!

3

Данило и гранату кидал дальше всех. Но на окружную спартакиаду он не поехал. Не мог. Он пошел в военкомат на комиссию. Комиссия строгая, не наша, приехала издалека. Она отбирала добровольцев в летную школу.

Данько решил так:

— В математики не гожусь, историком тоже не буду. Пойду в авиацию. Сила есть, ума не треба. Буду хвосты самолетам заносить.

Последние слова лишние. Данько ломался. Он хлопец не дурак, но иногда любит дурачком прикинуться. Дай бог каждому из его друзей пройти такую проверку! А он прошел. И нигде ни сучка ни задоринки.

Данько осмелел до того, что сказал при посторонних Лесе Дубовой:

— Не радуйся, в покое не оставлю. Буду прилетать и кружиться над хатой, как коршун. Все равно моей будешь!

Леся отшутилась:

— Тю, как напугал, все жилочки трясутся!

А Валька и Рася едут на спартакиаду: сильны в волейболе. Без них команда вылетит в первом же круге.

И Яшкина братва в полном сборе. «Заворотный бек» Платон Витряк возбужден больше всех. Он принес Яшке полную пазуху черешни. Шпанкой называется. Крупная, мясистая. Вся кремовая, даже светится изнутри. Кожица натянута до зеркального блеска. Если черешенку поднести близко к глазам, можно в ней себя увидеть — правда, в сильно уменьшенном виде. Не каждый, конечно, разглядит — только тот, кто умеет присматриваться.

Витряк горстями черпал ее, розовобокую, из-за пазухи, дразня ребят. Яшка-корешок в награду поручил Платону держать торбу с майками, трусами и тапочками. А сам ходил по школьному двору, совал в рот крупную шпанку. Придерживая ягодку зубами, лихо выдергивал длинный хвостик. Затем, подбросив хвостик, подфутболивал его

пяткой, а кремово-белую косточку выстреливал из-под пальцев в девчачий затылок. Девчата обижались:

— Ба, який!..

Мишку нравится слово «спартакиада». Оно напоминает о древнеримском гладиаторе Спартаке. Мишко убежден, что Спартак был самым сильным и самым отважным на свете человеком. Поэтому и соревнования названы в его честь. «Олимпиада» тоже хорошее слово. Оно торжественное и величественное, как греческие боги, жившие на вершине Олимпа. Весь урок об этом рассказывал Леонтий Леонтьевич. Он и всех муз перечислял поименно. И богов называл запросто. В классе стояла такая тишина, что было слышно, как муха бьется о стекло. В конце рассказа Мишко в шутку спросил:

— Боги бессмертны. Где же они сейчас?

Леонтий Леонтьевич развел руками и с самым серьезным видом пояснил:

— Это же мифология!..

В город выехали на двух полуторках. Мишко полез в ту, куда села Дора. Он знал, что Дора его не любит. Но к ней по-прежнему тянуло. Хотелось слышать ее голос, смех, видеть коротко подстриженные волосы. Челки на лбу уже нет. Отрастила ее и зачесала назад, открыв высокий лоб. Казалось, стала старше, серьезнее.

Мишку не сидится спокойно. При Доре всегда хочется или петь, или драться, или рассказывать необычайное, вызывающее смех и слезы. Он поминутно вскакивал на ноги, держась за кирзовый верх кабины, подставляя грудь ветру-степняку, который не остужал, а еще больше горячил. Хотелось «выкинуть коника» — отчебучить такое, чтоб все ахнули.

Девчата, кидая на Мишка короткие взгляды, перешептывались и прыскали в кончики цветных косынок. Наверное, говорили о нем какие-нибудь глупости.

Полуторки шли близко одна от другой. Несшаяся впереди окутывала заднюю тучей пыли. Наглотавшись черноземного праха, шофер задней машины давил на всю железку и, оглушая соперника гудками, вырывался вперед. Затем история повторялась.

Когда машины равнялись бортами, Мишку не терпелось перепрыгнуть из отстающей в ту, что берет верх. Он высказал это вслух. Многие усомнились:

— Ага, попробуй!..

Одна из девчат сделала такое замечание:

— Дуракам закон не писан!

— Прыгну!

И Мишко прыгнул. Он поставил левую ногу на шаткий борт своей

машины, оттолкнулся и, перелетев через борт другой полуторки, оказался в объятиях Раси. Они повалились хохоча. Кто-кто, а Рася был доволен!

Из отставшей машины Валька крикнул:

— Мишец, не поминай лихом!..

Тамарка, сестра Мити Палёного, спросила:

— Как ты не побоялся?

— Ну, не такое бывало!

— Где бывало?

— В Бердянске, где ж!

— Носится со своим Бердянском, словно дурень с писаною торбою!

В Белые Воды Мишко приехал из Бердянска, что на Азовском море. Родился и начал ходить в школу в Новоспасовке, а в Бердянске прожил всего года два. Но считал себя коренным бердянцем.

Бердянск для него не просто камни мостовой, не просто дома и прямые проспекты. Нет, это запах сельтерской воды, которая бьет в нос и вышибает радостные слезы, это замурзанные пацаны, дружки закадычные, это море — шипящее, гулевое, горьковато-соленое. Вдали волнорез, парусники, дымы уходящих судов. Куда идут, зачем?.. По городу часто разгуливают чужеземные матросы. Белые бескозырковые шапочки греческих моряков с пунцовой бубочкой на макушке завораживали. Когда на пузатой угловой тумбе появлялась афиша с диковинным названием нового фильма, ну, скажем, «Хозяин черных скал», или «Королева лесов», или «Акула Нью-Йорка», приходилось срочно собирать пустые бутылки. Если же выручки за бутылки не хватало на билет, оставалось последнее средство: пробраться зайцем через черный ход в зал заранее и, притаившись под скамейкой, ждать начала сеанса...

Команда разместилась в старинном здании. Раньше это была немецкая кирка или польский костел. Черепичная крыша — острая, окна узкие, высокие. Стекла в них разноцветные. Рася вынул из рамы осколок, приложил к глазу. Совсем как ребенок! Когда смотришь через стеклышко, все вокруг: люди, дома, деревья — кажется розовым, сказочным. Так бы и смотрел не отрываясь!

Набили матрацы старой, подопревшей соломой и разложили постели прямо на каменном полу.

Стадион раскинулся на берегу Айдара. Айдар — река глубокая и широкая, не чета той, что в Белых Водах.

Мишко честно поработал на беговой дорожке, выжал из себя все, что мог. В сумме очков, набранных командой, была и его немалая доля. А вот к вечеру случилось несчастье. Понесла его нелегкая на парашютную вышку. С ее площадки самое большое здание города, театр, кажется не больше спичечной коробочки. Когда смотришь на землю с такой высоты, страх пропадает. Остается только восхищение.

Старобельск долгое время лежал в стороне от железных путей. А теперь вон на восточной окраине города желтеет насыпь. Строится магистраль Москва — Донбасс. Ударная стройка второй пятилетки!

Мишко прыгнул с парашютом, но, когда приземлялся, вывихнул в колене правую ногу. На нее наложили шины, запеленали бинтами.

На обратном пути сидел тише воды, ниже травы. В ноге чувствовал боль, в душе что-то вроде зависти. Завидовал Яшке Пополиту и Лесе Дубовой. Они, счастливые, не возвращались домой. Из Старобельска их повезут на спартакиаду в область.

4

Иван носил голубую футболку с белым воротничком, белыми обшлагами на руках, белым шнурком на груди. Кто бы отказался от такой! Может, только в Харькове их и продают.

Иван примостился на порожке. На коленях лежали тетрадки и отдельные листики. Он читал долго и терпеливо, подставив русую голову солнцу.

Мишко неспокойно похаживал возле брата, натянув на самые брови его фуражку. Светло-серая, шевиотовая, она приглянулась ему. Долго он примерял ее у зеркала. До того долго, что Анна Карповна обозвала его Химкой-модницей.

У Ивана в руках — стихи Мишка, отмеченные областной грамотой. Он читал их, перечитывал. Затем спросил:

— Куда решил после десятого? Может, на литфак? Пустое дело. Что даст копание в книгах? Что даст литература? Какие неоткрытые тайны она хранит? Будешь потом кусать локти. Займись лучше точными науками. Будущее принадлежит им. Твои сверстники откроют новые элементы, разобьют ядро атома! Ты представляешь, что это такое? Океанский корабль возьмет двести граммов антрацита и на этом горючем материале совершит кругосветное путешествие!.. А что ты знаешь о звездах, о ракетопланах? Ничего? Неужели тебе неохота полететь на Марс в космическом корабле? Дверь в небо откроют физика и высшая математика. Ты узнаешь новые миры, проникнешь в сокровенные глубины природы!..

Иван приумолк, подыскивая слова. Мишко глядел на него страдальческими глазами, умоляя продолжать. Он ловил высокую музыку его слов. Тело его то содрогалось от холодных мурашек, то окатывалось горячей волной. Он любил все то, о чем говорил брат, он думал обо всем этом. Ему нравились опыты в химкабинете. Он любил смотреть, как в сернокислом чаду пробирок вдруг возникает новое вещество, дымя и стреляя белым огнем или пуская мутно-холодные пузыри. Он любил уроки физики, опыты с электричеством. На молнию после этих опытов смотрел, как на синий трескучий блеск искры, которая прыгает

между блестящими головками электромашины. Математика особенно нравилась ему. Если же говорить о Вселенной, то она занимала его еще в детстве. И вот теперь, когда открывается возможность полететь к звездам, он пошел не в ту сторону. Ой, дурень, дурень! Скажи спасибо, что у тебя умный брат, который вовремя предостерег, поставил на верную дорогу!

Мишку стало стыдно, что он часто обижал Ивана, дразнил его «косым». У Ивана правый глаз больше левого. И рот чуть скошен направо. Стыдно издеваться над чужим горем, стыдно дразнить человека. Но люди, даже в детстве, часто бывают несправедливы.

Иван продолжал:

— Можно пойти в Ленинградский кораблестроительный. Подумай. Или к нам на физмат. Меня обещают взять в лабораторию, где работают над разбивкой ядра. Может быть, со временем и ты туда попадешь. Но я бы советовал идти в Московскую авиационную академию имени Жуковского. Видел объявление в «Комсомольской правде»? Посмотри. А стихами кто не баловался в школьном возрасте! Детская болезнь.

Мишко, пристыженный, взял из рук брата рукописи и пошел в палисадник к летней печке, сложенной из самана. Он медленно, по листку совал их в огонь. Они корчились в пламени, беззвучно кричали.

Борщ в чугунке, почуя их жар, забулькал оживленнее, выплескивая на плиту жирные дымящиеся пятна.

Мишко поднялся, отряхнул колени, взял вишневую палку и, опираясь на нее, пошел, прихрамывая, к Ивану. Ему стало легко и радостно.

Хорошо, когда есть такой брат!

Все дни, точно ягненок за маткой, Мишко ковылял за Иваном.

По утрам они ходили к реке. Солнце только-только пробивалось сквозь густые ветки яблонь. Тело знобко ежилось. Но вода была парная. В речке теплее, чем на берегу. Иван говорил, что такие купания укрепляют нервную систему, закаляют волю. Только надо не плюхаться, а входить в воду, медленно погружаясь. Для Мишка это была пытка. Когда вода достигала подмышек, хотелось визжать. Но он крепился. Прерывисто вздыхая и ухая, исполнял все наставления в точности.

До обеда Иван сидел над учебниками в палисаднике, или, как говорил Мишко, в «полусадике». Абрикос давал плотную тень. Плохо только, что по улице часто ходили грузовики, и клубы густой пыли, поднятой ими, тяжело переваливались через глухой забор, покрывая палисадник сухим туманом.

Летом отдыхать бы, а не склоняться над книгами. Но ничего не поделаешь! Иван запустил кое-что, партийная работа отнимала много времени: секретарь же парторганизации факультета. Вот и приходится теперь сидеть.

Мишко часами слонялся поблизости.

После обеда время шло веселее.

Волейбольная площадка пионерклуба, выбитая голыми пятками до чугунной твердости, оживлялась, когда приходил Иван — студент Харьковского университета. Высокий, длиннорукий, он брал мертвые мячи. Как никто, он мог потушить свечевую подачу.

Люда, подруга Доры, тоже неплохо играет в волейбол. Играет она легко, хотя плотная, весу немалого. Тело у нее пышное, белое, похожее на тугое тесто. Лицо чистое, румяное. Губы сочные, даже блестят. Она навешивает Ивану мячи над самой сеткой — только туши.

У Мишка все еще болит нога. Он может только судить. Держа в зубах Яшкину сирену, судит строго и справедливо.

Когда лягут на сады звездные сумерки, все бегут к реке. В воде радостно взвизгивают, перекликаются молодые голоса.

Купаться поздним вечером удобно: можешь лезть в воду в чем мать родила.

После купания тело становится легким, как у птицы. Кажется, разбегись, расставь руки — и полетишь.

Люда доигралась. Дошло до того, что через Мишка она стала передавать записки Ивану. Мишко принимал их молча и так же молча вручал. Всякий раз после такой записки Иван приходит домой поздно. Долго ворочается. Он спит на полу, на рядне, сложенном вдвое. Говорит, так здоровее.

Анна Карповна однажды недовольно заметила:

— Приехал отдохнуть, а, смотри, что делаешь! Неужели в Харькове девчат мало, что ты тут до третьих петухов кохаешься!

Иван, не смутившись, ответил достойно:

— Я, мамо, не монах. Я человек, ничто человеческое мне не чуждо.

— Матери с вами не сговорить. Вы ученые. А только не дюже мне нравится...

Мишко слышал разговор. Он поразился смелости брата. В память врезалось: «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо». Здорово! Мишко откровенно сказал об этом Ивану. Тот похвалу от себя отвел. Пояснил, что слова эти принадлежат древнему писателю Теренцию и что их любил повторять Карл Маркс.

Мишко поразился: «Неужели великий Карл Маркс мог говорить о таких житейских делах?»

А Люда закусила удила. Раньше она только записки передавала, теперь же потребовала, чтобы Мишко принес ей карточку Ивана.

Мишко отказать не мог. Он знал: если человек любит, ему надо помогать, а не мешать. Принес карточку. Он разыскал ее в ящике стола, где тарахтят иголки, наперстки, перья, ножницы, гвоздички и всякая такая всячина. На фото — толстая сосна, под ней лежит Иван, ухом

он прижался к дереву, точно выслушивает его, в руке — оструганная палочка. Снялся в сосновом бору под Харьковом, во время воскресной прогулки.

ГЛАВА 5

1

Митя Палёный сказал, чтобы собирались в лагерь. Мишко заикнулся было, что он уже давно вышел из пионерского возраста. Но Митя обозвал его «формалистом несчастным» и добавил:

— Ты едешь не отдыхать, а заботиться о здоровье других!

По затравеневшему проселку простучала ступицами школьная бричка, запряженная Машталюрой и Синхронным. На бричке лежали мешки с мукой и пшеном; торбы с солью, салом, цибулей; большой, точно колокол, казан; глубокие миски из алюминия, белые ложки с закрученными в штопор ручками. Ложки взяты в столовой. Закрутили их нетерпеливые руки посетителей.

Отстав от брички, по заросшей пышными травами обочине шли ученики разных классов. Колыхалось пионерское знамя. На нем по ярко-алому полю золотом вышит костер: пять поленьев — пять континентов планеты, а над ними — три языка пламени, символизирующие три поколения: пионеры, комсомольцы, коммунисты. Гудел барабан, трещал ослабевшими жильными струнами. Он призывал идти в ногу. Но строй топал вразнобой, разбредался по сторонам. Девчата собирали цветы для венков, хлопцы певучими лозинками подсекали травяные головки. Лагерь расположился на поляне, в северной части кудлатого леса. Поляна устлана густым разнотравьем, усеяна частыми кротовыми холмиками. Кругом крупные ромашки, алеют жаркие воронцы. Воронцы похожи на маки. Только окраска лепестков гуще и стебли, покрытые зелеными волосинками, темней.

Мишко подолгу присматривался к цветам. У ромашек середки желтые, пушистые, словно только что вылупившиеся утята. Белые лепестки — это лопнувшее и распавшееся на ровные дольки яйцо. Мишко наловчился брать лепесток на язык и пищать молодым петушком.

Если же выдернуть из чашечки воронца лепесток, можно заметить: нижняя его часть — черная. Вытянешь руку, посмотришь, и кажется: над темным фитильком алеет пламечко.

Лес смешанный: дубки с полированными жестяными листьями, бéресты с шероховатым листом, светло-зеленые клены, ясени, лесные орехи, дикие яблони-кислицы и груши-дули. Кое-где абрикосы с мелкими плодами. Здесь их называют жердёлами. Много белой акации. Она уже отцвела.

В ряд поставлены четыре брезентовые палатки. В палатки натаскали пахучего сена. К стволам дубков прибили рукомойники. В центре поляны расчистили место для линейки, поставили высокий шест с роликом наверху — для подъема флага. Вкопали два столба для волейбольной сетки и два для турника.

Трещал барабан, поднимался флаг — все, как в настоящем лагере. Вот только продуктов маловато!

Митя Палёный скор в решениях. Заметив дрожки председателя колхоза, он вышел на дорогу. Разговор был деловой, короткий. Митя выделяет пятнадцать ребят на прополку проса. Колхозная подвода привезет в лагерь тушеванного валашка, два лантуха картошки и пять паляниц.

Над лагерем витал смачный дух жареной картошки и баранины. Жить стало веселее. А просо все так же задыхалось в зарослях сорняков: ребят на прополку Митя не выслал.

Мишко совестил Митю, говорил, что надо бы трошки поработать. Митя ответил:

— Иди, если тебе охота!

— А как же дальше будем жить?

— Чудак, мы только одного обдурили. Еще ж четыре председателя в запасе!

Затем Митя перешел на крик:

— Что ты вытаращился? По-твоему, нехай дети сидят голодные — только чтоб честно, да?! Председатели колхозов, паразиты, обязаны сами о нас заботиться!

— Чего же ты раньше молчал? Договорился бы через Торбину — вот и заботились бы! А работать в поле тоже надо. У нас руки к осоту привыкли, колючек не боятся.

— Смотри, как заговорил, сопляк прибитый! На кого кричишь, кого учишь?! Мало каши ел, чтобы меня учить!

С тех пор они не могли смотреть в глаза друг другу.

Рася тоже отличился.

К колодцу, что на раздорожье, ходят и люди и скот. У позеленевшего сруба стоит на камнях длинное дощатое корыто. Под корытом куры копают червей. Они прибегают сюда от вагончика, что маячит на пригорке.

Рася в свой черед отправился к колодцу с двумя ведрами. Вернулся без воды, но не пустой. В каждом ведре — три курицы со свернутыми шеями. Сверху он прикрыл их лопушинами.

Митя потирал руки, хвалил Расю. Тот похвалы принимал охотно, но от Мишка взгляд отводил. Когда спускались к криничке, что синеет на дне оврага, Мишко сказал другу:

— Поймают — судить будут. Думаешь, хромой заступится? — Он впервые так назвал Митю. — Нема дурных, умоет руки!

Видно, Валька все разболтал отцу, когда относил домой патефон (боялся, что здесь могут «скрутить головку»). Торбина, наверно, позвонил в колхозы. На другой день привезли кадочку меда, мешок муки, макитру животного жира.

Валька принес новость: приехал харьковский театр. Ставят «Без вины виноватую» — так он сказал. Артист, который изображает Гришку Незнамова, ухлестывает за Дорой. Говорят, видели их на горе.

В груди у Мишка стало холодно, точно ледяной воды туда плеснули.

Дору не взяли в лагерь. Митя Палёный не взял. Он ее «купеческой дочкой» зовет. Говорит, батько кустарем был, бубликами торговал. Панского, мол, она роду.

— Паны — на троих одни штаны! — сердится Мишко.

Но Дору все-таки не взяли. А теперь какой-то субчик вокруг нее увивается!

2

Ипподром отделен от конюшен зеленой стеной лесополосы. Деревья уже кое-где прихвачены желтизной. В стене есть пролом, через который выводят скакунов, взяв их с обеих сторон за поводки у самых мундштуков; через этот же пролом выводят рысаков, запряженных в невесомые беговые качалки с тонкими высокими колесами на резиновом ходу. На качалках, туго натянув вожжи, сидят сосредоточенные, ничего не видящие, кроме своих коней, наездники. А на скакунов садятся по-детски легкотелые жокеи в шутовских нарядах, сшитых из кусков материи разного цвета. Ноги обтянуты плотными, словно чулок, сапожками. На голове фуражечки из разноцветных долек.

С южной стороны ипподрома — деревянные трибуны с брезентовым навесом. Они недавно подновлены: кое-где белеют свежеструганные доски, вставленные взамен проломившихся. На верхней площадке стоит небольшой столик, покрытый кумачом, и несколько стульев вокруг — для жюри.

За трибунами — фанерная будочка-скворечник. Из нее выглядывает продавщица. Она подает кружки с пенным пивом.

Валька Торбина подошел к будке, разыграл дурачка. Он спросил:

— Пиво е?

— Е.

— Наливай!

Продавщица налила.

— Сколько стоит?

— Руб пятнадцать.

— Выливай!

Хлопцы, волочившиеся за Валькой гурьбой, покатились со смеху. А тетка, торгующая пивом, спокойно пристыдила:

— Отакий здоровый и такий дурный!

По беговым дорожкам ходили мужчины в синих халатах, с частыми грабельками в руках. Они выравнивали дорожки, разминали комья; поддев грабельками, отбрасывали в сторону веточки, камушки.

На трибунах — районное и конезаводское начальство. Много учителей и еще больше учеников.

Мишко посмотрел в сторону Доры. Она сидела справа, опустив голову. Какая тяжесть ее гнетет? Что с ней?

Синеет ее суконный жакетик. Белый воротник кофты лежит на воротнике жакета. Как ей идет белое! Шея, лицо такой свежести, будто Дора только что умылась криничной водой. Мишко даже наклонился вправо, толкнул Вальку. Валька удивился:

— Спишь?

Чтобы отвлечь внимание друга, Мишко указал вниз, на сухонького тренера, нервно стегающего себя хлыстом по голенищу блестящего сапожка. У тренера темные, глубоко сидящие глаза, горбатый нос. Это отец Гафийки.

Мишко шепнул:

— Полюбуйся на будущего тестя!

Валька улыбнулся:

— Чистый филин! Наверно, злой, как дьявол. Но не беда, мы его возьмем в шоры!

Мишко думал, что отвлек внимание дружка, но тот заметил:

— Дора скисла. Вид у нее такой, будто решает задачу с одним неизвестным. Кто же этот икс? Не догадываешься?

— Откуда я знаю?..

К трибунам подвели чистокровок — жеребца и кобылу. Скакуны. Ножки у них тонкие, точно спички, вот-вот хрустнут. Брюшины подтянуты, шеи узкие, лебединые. Хвосты легкие. Им только по ветру летать.

Трибуны всполошились, загалдели. Скакуны нетерпеливо перебирали ногами, прядали острыми ушами.

Что за лошади? Почему их так восторженно встречает народ?

В Белых Водах перед сеансом часто крутят киножурнал.

Брусчатка Красной площади. Вдоль ГУМА стройные армейские ряды. Справа Кремлевская стена, темные плиты Мавзолея Ленина. Спасская башня, гигантский циферблат, золотые стрелки. Вот посыпался металлический перезвон курантов. Сердца сидящих в зале замирают. И вдруг грохот, обвал аплодисментов... Крути журнал сотню раз, все равно буря не утихнет. Чем она вызвана? Смотрите внимательнее. Из Спасских ворот выезжает нарком обороны. Под ним танцует, цокая точеными копытцами, гнедой скакун. У скакуна тонкие ноги в белых

чулках. Правая нога взаправду белая, левую забинтовали для пары. Лебединая шея выгнута дугой, на лбу белая звезда...

Посмотрите теперь вниз, на беговую дорожку. Там, косясь на трибуны, стоят лошади-красавицы. На лбу кобылицы белое пятно, на правой ноге жеребца — белый чулок. Это мать и отец скакуна, который носит на своем стройном теле самого наркома обороны.

Рабочие конезавода подарили народному комиссару — своему земляку, бывшему пролетарию — лучшего коня. Этот конь взял большой приз на московских скачках.

Ударил колокол. Кони рванули. Трибуны замерли. Было слышно, как шелестит песок под резиновыми колесами. Дора, видно, загадала на светло-серого: когда он отставал, щеки ее бледнели, когда вырывался вперед — их заливала краска. Дора захлопала в ладоши, когда светло-серый рысак у финиша оставил главного соперника почти на корпус позади.

Заезды окончились.

Начинались скачки. Гафийкин батько ругал жокеев, кидал непонятные слова, грозил хлыстом.

Дора задумала на последнего и все три круга сидела совсем белая. Но она опять выиграла. Ее скакун вырвался на целую голову! Она посмотрела в сторону Мишка, чуть было не улыбнулась ему на радостях. Но вовремя спохватилась, опустила взгляд. Мишко тоже насупился. Он не знал, с кем она приехала, и с кем уедет. Только и оставалось, что повторять свое привычное: «Яке мени дило, яке мени дило?!»

Когда Мишку плохо, всегда появляется Рася. Он договорился с шофером полуторки из «Заготскота» подбросить их двоих до Белых Вод. Только до края села. А там они двинут огородами до речки, затем перейдут греблю у водяной мельницы. И, считай, дома.

Когда доехали, он потащил Мишка с собой:

— Ходим, ходим, матери нема!

Сидели под низким потолком, не зажигая света. Рася нашарил под припечком бутылку самогона, заткнутую очищенным кукурузным початком. Он вынул зубами початок, поставил на стол глиняную миску с солеными, защитного цвета помидорами.

— Мать первачу нагнала. Давай спробуем, га? Или мы не люди? Ты живи проще, как все... Чего нудишься?..

— Цыть, Рася, замолчи! Хочешь напоить, так наливай, не болтай попусту.

— Да чего там напоить! Угощаю, и все. Из слив. Все хвалят — аж на землю падают!

Выпили чуток, а хмель ударил в голову сильно.

Когда проходили мимо окон Адольфа Германовича, Мишко окликнул:

— Эй, Буш, где прячешься? Иди, я тебе усы выдерну!

— Чего ты его так не любишь? — спросил Рася. — Он же тебе «видминно» ставит!

— За что? Выучи лучше меня — тебе не поставит. Почему так? А потому, что все говорят: «Вон какой хороший ученик Супрун!» И он туда. Инерция. Ты слыхал, Рася, про инерцию? Вот она и есть!.. А куда мы идем?

— До дому!

— Ни, пойдем в кино!

— Там Короп. Он злой, как щука!

— Пойдем, я его возьму на крючок!

На аллейке у клуба людно. Здесь толпятся и те, что пришли на второй сеанс, и те, что вышли с первого. Данько назвал это место скотопрогоном. Скотопрогон и есть: толкотня, галдеж. Над головами в свете электрических лампочек — дым от цигарок.

«Скотопрогон» не обидное слово. Часто свою любовь люди прикрывают показной грубостью.

Хорошо подчас потолкаться в человеческой гуще. Уютно. Пахнет одеколоном, папиросным дымком, терпким любистком. Когда идет последний сеанс, скотопрогон вымирает начисто. Слышно, как верещат сверчки в лебеде, квакают на реке лягушки, где-то мычит неприкаянный телок.

Данько теперь далеко — в летной школе. Вспоминает ли скотопрогон?

Яшка-корешок схватил Мишка за грудки и оттащил в тень под акацию.

— Эх, чубук несчастный! Его любят, а он и ухом не ведет. Да ты хватил?! Все равно ничего не поймешь, бывай!

Яшка хотел было перепрыгнуть через клумбу с сухими стебельками когда-то пышных цветов.

— Да я же слушаю, — взмолился Мишко. Мгновенно мелькнула догадка. В голове стало ясным-ясно. — Говори!

И Мишко услышал то, чего ждал столько времени. Но он не смеялся от радости, не ломал деревьев, не бил окон. Он стоял и слушал. А Яшка-корешок, заглядывая снизу в лицо Мишку и держа его за лацканы пиджака, торопливо рассказывал обо всем, что узнал сегодня.

После скачек Дора подошла к Яшке и попросила подвезти до села. Она была ласковая, добрая. Когда подъехали к реке, предложила сойти с велосипеда. Затем поманила Яшку в заросли верболоза. Она смот-

рела на него хмельными глазами, и Яшка обалдел от счастья. Когда сели у воды, Дора прижалась к его плечу. Она плакала долго и шумно. Яшка осмелел. Он гладил ее волосы, целовал в голову. Дора повторяла:

— Який ты добрый, який добрый, Яшко!.. — Затем она поправила волосы, вытерла глаза и сказала холодно: — Я люблю его. Как мне жить? Скажи, Яшко, как мне жить? Сколько сделала ему зла! Никчемная дивчина!..

Оторопелый Яшка отодвинулся.

Не добежав до угла, Мишко свернул влево и школьным двором добрался до сарая. Здесь начинается забор, который тянется вдоль Ракетной. В самом начале забора есть планка, она держится только на верхнем гвоздике. Можно отвести ее, просунуться боком — и ты на той стороне.

За забором — широкая яма, заросшая высокой лебедой. Перебегая ее, Мишко споткнулся о веревку. И сам упал, и козу всполошил. Коза отпрянула в сторону, мекнула и легла снова.

Вот Дорина хата. Калитка. Темные окна. Мишко прижался спиной к глухой стене. Сердце стучало так, что казалось: стена вздрагивает.

Яшка-корешок сказал, что Дора сейчас в клубе. В дверях на контроле в последнее время стоит Дорина тетя. Она пускает племянницу в кино без билета. Иногда после сеанса они, взявшись под руки, идут за реку, в дом тети. Что, если и сегодня она пойдет к тете?

В доме, что стоит выше Дориного, скрипнула дверь. На высоком крыльце появилась Ларка Луговая, батько ее конюхом работает в райисполкоме. Мишко узнал Ларку по голосу. Она звала меньшую сестричку, которая присела «на хвилинку» за копешкой соломы:

— Нюська, чи ты провалилась там?! Вот я тебе буханцов надаю!

Проскрипело крылечко под босыми Нюськиными ножками. Треснул в сенях подзатыльник. И все смолкло.

Черный пес, спущенный на ночь с цепи, приостановился, порычал на Мишка и побежал дальше, не растрачивая дорогое время на пустяки.

Каблуки Дориных туфель гулко стучали по утоптанной меловой дорожке. Дора шла по боковому переулку, от почты, прямо к пилипенковской калитке. Мишко боялся, что, прежде чем он успеет что-нибудь сказать, Дора скроется за деревянным щитом двери. Он торопливо вышел из тени. Дора опасливо замедлила шаги. Подошла вплотную. Постояли молча. Так же молча направились к низкому заборчику. Дора метнулась во двор, поспешно защелкнула калитку. Мишко остался на улице. Они долго смотрели друг на друга, держась за планки низкой калитки. Губы Доры вздрогнули, улыбнулись. Улыбка была совсем незнакомая — в ней и горечь, и радость, и испуг. Дора протянула руку,

дотронулась до груди Мишка. Сдерживая дыхание, проговорила шепотом:

— Ой, Михайле, який ты!.. Який ты!..

А «який» — так и не объяснила. Убежала, скрылась в хате с черными окнами.

Вот и все.

Мишко медленно, на подрагивающих ногах, пошел вниз. Невесомое тело как бы истаивало, растворялось в прохладном воздухе. Из лебеды поднялась знакомая коза, проводила Мишка пристальным взглядом.

Облокотясь на перила, долго смотрел в мутно поблескивающую воду. Вон там, в куге, стоят Расины переметы. Завтра Рася, упираясь в песчаное дно длинным шестом, подойдет к ним на плоскодонке и начнет снимать с крючков серых щурят с утиными носами, полосатых окуней. Может, сазан попадется.

Проходя мимо лавки, увидел в деревянной будке сторожиху тетку Хиврю. Она куталась в тулуп, хотя до морозов еще далеко. Руками Хивря сжимала прохладный ствол винчестера. Мишко остановился и спросил:

— Как дела, теточка, поспать неохота?

Хивря зло гавкнула из будки:

— Проходь, вышкварок, а то пальну меж очи! Спать будешь со шлюхами, а меня не чипай!

— Тю, дурна, про что подумала! Голодной куме хлеб на уме.

Он добрел до своего забора, сел на лавочку. Руки раскинул, ноги вытянул.

Из-за соломенной крыши выкатилась багровая луна. Большая, больше солнца. Но светит слабо и совсем не греет. Можно смотреть на нее не мигая. На луне — тени. Присмотришься, ясно увидишь две фигуры. Мать говорила, это Каин и Авель. Каин пырнул брата в живот вилами, поднял его над собой. А за что? Почему не жить в ладу? Неужели мало людям места? Каин, видно, никогда никого не любил. Поэтому он злой и жестокий. Когда любишь, все ласково кругом, словно смотришь на мир через Расино стеклышко.

ГЛАВА 6

1

Школа без Мити Палёного стала и тише и ниже. Странно как-то. В коридорах не слышно его резкого, с хрипотцой голоса, способного пересилить любой галдеж; не видно его прямой спины. Он всегда держался прямо, словно аршин проглотил. Пальцами правой руки он за-

чесывал назад свои вороные жесткие волосы. Ходил, чуть приволакивая правую негнущуюся ногу: в детстве упал с чердака, зашиб колено. Но ходил быстро. Даже в волейбол играл. Тамарка, сестра, рассказывала: потом всю ночь стонет. Но играет.

Митя проводил сборы. Митя создавал кружки. Митя выводил отряды на поля, Митя выступал на митингах!.. Как же теперь без Мити?!

Сняли его. Хотели влепить выговор, но пожалели, отпустили по-добру-поздорову. Митя горевал недолго. Вообще, он не знает сомнений и душевных терзаний, не в пример «страдателю» Мишку Супруну. Митя — человек дела. На другой же день он собрал свои манатки и отправился на попутной в Ворошиловград. В голове гвоздем торчала одна-единственная мыслишка: «Вы еще узнаете Митю Палёного!»

А началось с костюмов. Как-то Митя вычитал в газете, что можно выписать из Киева пионерские костюмы (столицей был уже не Харьков, а Киев). Дело заварилось перед самой елкой. Тогда как раз появилась загадка: «Что такое пять «П?» Никто не мог ответить. Митя долго томил, затем, с наслаждением растягивая слова, разъяснил:

— Подарок Павла Петровича Постышева пионерам! Вот они, пять «П»! Считайте!

И все хором повторяли разгадку.

Конечно, когда-то в давние времена елку праздновали. Ее наряжали. Но потом отменили. Время было такое. Все старое отменяли. Известно: лес рубят — щепки летят. Вот и елочка отлетела вроде щепки. Возвращение этого праздника детям произошло в половине тридцатых годов и связано с именем Постышева. Не знаю, где как. У нас было так. Поэтому у моих сверстников при упоминании Павла Петровича теплеет на душе. А казалось бы, что за событие? Всего-навсего маленькая елочка!

Елка в школе была не елочная, а сосновая. Что поделаешь, не растут в наших краях елки. А сосны кое-где встречаются. Особенно на песчаных почвах. Ниже конезавода, в сторону реки, стоит бор. Туда вместе с Плахотей поехали Мишко и Рася. Привезли роскошную сосенку. От нее на ладонях остались липкие пятнышки, вкусно пахнущие канифолью, которой натирают скрипичный смычок. Мишку особенно дорог этот запах. Он напоминает о скрипке Адольфа Германовича Буша, на которой ему иногда удавалось попиликать.

Низ сосенки уперся в крестовину, верхушка — в потолок зала. Пока сосенка стояла голая, она оставалась сосенкой; когда же ее нарядили — вдруг стала елкой. Вокруг нее ходили октябрята и пели песенку:

Ялинка, ялинка,
Де ти росла?
Щастя і радість
Усім принесла.

Ялинка — по-нашему «елка». Она действительно принесла счастье и радость. В школе стало светлее, уютнее. Даже самые сердитые учителя подобрели.

Вот перед этой новогодней ялинкой, которая всем принесла радость, и затеялось дело, никакой радости Мите Палёному не принесшее.

Митя поотрядно начал собирать деньги на пионерские костюмы. Наконец карбованцы собраны, сунуты в карманы, точно в бездонные колодцы, и поминай как звали! Проходят долгие месяцы, а костюмов нет. Дети уже забыли о них, но у родителей память цепче. Они поочередно брали Митю за грудки, трясли, как старую грушу, но ничего с той груши не упало. Тогда разгневанные батьки кинулись в райком комсомола. Митя ответил райкому, что деньги послал в Киев, а квитанцию потерял. Справились на почте. Выяснилось: брехня. Тогда Митя «полез в пузырек» и обвинил всех в черной неблагодарности. Он-де столько лет держал школу на своих плечах, а теперь, выходит, не нужен, стали подкапываться. Да пропади все пропадом!

Мишко смотрел на Митю и не узнавал его. Старший товарищ, вожак — и вдруг такое дело. На пионерских сборах учил быть честным, правдивым. А сам?.. Вспомнился пионерский лагерь в лесу. Он же и тогда обманывал! Продукты у председателя выдурил, а просо осталось неполотым... Секретарь райкома комсомола тоже хорош! Митя пригрозил, что покончит с собой, и секретарь испугался, дал ему неплохую характеристику, помог устроиться на работу в Ворошиловграде.

Митя теперь выездной корреспондент областной газеты. Вон куда вылез!

Прошло время, и Митя снова появился в Белых Водах. А в школе как раз назревал конфликт. Директор Карп Степанович ходил в районо, жаловался на учителя Ивана Митрофановича, поставил вопрос ребром: или он, Карп Степанович, или математик, который разлагает школу — ухаживает за ученицей.

Карп Степанович знал, что бывший пионервожатый не любит учителя математики Ивана Митрофановича. Последний отвечает ему тем же. Но чем черт не шутит! Митя может переметнуться в стан врага.

Карп Степанович сам вышел к воротам встречать гостя. Гость подкатил на новенькой «эмке» цвета кофе с молоком. Редкий цвет. В те времена машины были все темные. И вдруг такая вольность!

Митя сидел рядом с шофером, высунув правую руку в окошко. На руке блестели крупные часы. Он специально надел их на правую руку, чтобы видно было, чтобы ослепляли глаза односельчанам.

Первому он подал руку Мишку, а не директору. Мишко обрадовался встрече. Он задержал Митину ладонь в своей и спросил простодушно:

— Разве не знаешь, на какой руке носят часы?

Митя выдернул ладонь, холодно заявил:

— Мое дело! Хозяин знает, що кобыле робить! — И уже приветливей посмотрел на директора.

Карп Степанович оживился. Он сказал:

— Не мешайте, дети! — Отстранил ребят и повел гостя в его родную школу.

В учительской Митя с каждым педагогом здоровался за руку. Такого раньше не бывало! Подал руку даже Ивану Митрофановичу.

Он обошел все классы и кабинеты, глядя на них чужими глазами. Затем «эмка», хрустнув замком дверцы, с ревом стала карабкаться в гору по узкой улочке, к Митиной хате. Ворота для машины оказались слишком узки. Отец Мити, сапожник потребсоюзовской мастерской, на радостях завалил тын, оттянул его в сторону. Машина вошла задом и заняла весь двор.

Чтобы попасть на улицу, курам приходилось взлетать на кузов, скользить по нему когтями и с невероятным шумом, роняя пух и перья, приземляться за чертой двора. Цуцик нашел себе место под машиной, под самым карданным валом.

Даже в школе было слышно, как визжит у Палёных поросенок. Собирались откармливать его на сало, но судьба решила иначе.

Мать Палёного уже бежала из гамазеи. Под фартуком она держала бутылки, душа их тонкие шеи возбужденными пальцами.

Тамарку, сестру Мити, ради такого случая отпустили с уроков. А часом погодя люди видели, как Карп Степанович пробирался огородами к подворью Палёных.

На другой день Митя поехал в объезд по району. А в райком комсомола то и дело звонили из Ворошиловграда. Редактор газеты, поминая всех чертей, просил передать новоявленному Хлестакову, чтобы он тотчас же отправил машину в город и не смел являться в газету.

В Белых Водах загомонили:

— Ай да Митя, знай наших! Всех обдурил! Сам ездит на машине, а хозяин ходит пешочком!

Вот так и повернулось дело.

2

Все розовое: и китайская роза, в бочонке стоящая в углу на табуретке; и кисейные занавески; и скатерть, прикрывшая сдвинутые столы. Бутылки с горилкой и портвейном, баклажаны, помидоры, холодец из старого петуха — все залито розовым светом. Даже снег под окнами, на который падает свет, тоже розовый.

Все это потому, что Люда надела на лампочку фонарик, склеенный из помятой розовой бумаги.

Из репродуктора послышался хриплый голос диктора. Он сообщил,

что через несколько минут начнется новогоднее выступление Михаила Ивановича Калинина.

Мишко с Валькой отодвинули от репродуктора бочонок с цветком. Девчата столпились у черной тарелки. Беда с ними! И все-то копошатся все-то шушукаются. Послушаешь тут! Мишко прикрикнул:

— Угомонитесь, трясогузки! Прямо зло берет!

— А ты сбегай на двор, снежку поешь, охолонешь трошки. Дора не пришла, так на нас досаду срываешь!

Вмешалась Ларка-коза:

— Мою соседку не чипайте. Что она вам, соли под хвост насыпала? Дора придет. Если сказала, значит, будет. Она такая! Хоть бечевкой ее привяжи — перегрызет бечевку и прибежит!

— Ну, довольно вам!

И Михаил Иванович начал свою новогоднюю речь. Он как будто был здесь, рядом. Виделись его прижмуренные глаза, стеклышки очков, острая бородка.

Мишко насторожился. Прозвучали слова, от которых радостный холодок прошел по телу. Закричал не своим голосом:

— Это ж мое село! Мое село! Новоспасовка!..

Михаил Иванович ставил Новоспасовку в пример. Он расказывал, как за годы Советской власти село выросло, стало богаче, культурнее и о том, какие люди вышли из Новоспасовки. Назвал Полину Осипенко. Простая птичница из колхоза имени Котовского стала прославленной летчицей.

Мишку показалось, что никто ему не верит. Он взмолился:

— Валька, ну, скажи им! Это ж мое село, я там родился, ходил в школу!

— Чего взбеленился, Мишец! Добре, нехай твое! Ну и что? Мало ли таких сел! Все на виду, у всех свои герои. Чего крик поднял? Пофорсить захотел?

— А-а-а... — Мишко махнул рукой. Его никто не понял. Даже Рася. Дора бы поняла. Положила бы руку на грудь Мишку, сказала бы тихо: «Любый, успокойся: все вижу, все знаю!»

Мишку кажется, что он знает Дору давным давно. Они всегда были вместе, никогда не разлучались. Он всегда видел ее тонкие длинные брови, двумя радугами изломавшиеся над глазами... Скажете, брови не похожи на радуги, ведь радуга разноцветная! Но вы же не брали голову Доры в свои радостные ладони, не присматривались к ней помутневшими от счастья глазами — откуда ж нам знать?! Каждая волосинка Дориных бровей золотая и переливается всеми цветами радуги-веселки!

Но где же ты, Дора? Тебя не пускает батько? Пилипенко держит тебя взаперти, за девятью замками? А не взять ли мне в руки суковатый дрын, не двинуться ли по снежной целине к хате Пилипенко? Не

стегануть ли дрыном по окнам, не освободить ли Федору прекрасную из отцовского плена?

Дора не вбежала, а влетела в хату. Она была в одной белой кофточке. Сдернула с головы вязаный платок (мать сунула его в руки на ходу), топнула о земляной пол тапочкой на резиновой подошве.

Дора убежала из дому. Батько гнался за нею, да не сумел догнать.

Она глянула на Мишка добрыми глазами, улыбнулась ему одному и этим сказала: «Я тут, любый, все будет хорошо!»

Сердце Мишка радостно всколыхнулось. Они вместе, они счастливы. Остальное приложится! Где хочет сесть Мишко? Ему все равно! Где ни сядет — он может примоститься возле любой девушки, — Дора не обидится. Она только изредка будет посматривать в его сторону, а он встречать ее взгляд. И все. И пусть идет «пид три черта» Валька Торбина с его издевками!

Было это после первой встречи с Дорой. Валька спросил, поцеловал ли он ее? Мишко только головой покачал.

— Лопух! — презрительно сказал Торбина-младший. — Женщины любят железную руку. А таких, как ты, они водят за нос. Поиграются и выбросят.

Мишко поцеловал Дору у той же калитки, но это случилось позже. Он еле дотянулся до ее лица, держась обеими руками за тонкие планки. Губы у нее были холодные, неживые. Она, задыхаясь, прошептала:

— Ой, Михайло, що ты зо мною робишь?

Получилось не так, как ожидал. Но это не страшно. Впереди вся жизнь, будет и так!

Валька все торопит. На пожар, что ли? Его только слушай. «Получается, что «кохання» — «це тильки цилуйся та пригортайся». Эх, Валька, Валька! А испытывал ли ты счастье оттого, что — единственный во всем мире! — почувствовал, как вздрогнуло плечо твоей дивчинки? Знаешь ли ты про это?!

Все оживились. Особенно Валька Торбина.

Он достал из потайного кармана листок бумаги. Начал читать свои стихи. Оказывается, Валька тоже пишет?

Он читал по грамотке. Мишку за него стало совестно. Разве свои вирши можно так читать? На листке они уже чужие, остывшие. Силой памяти их надо доставать изнутри, из сердца, где они все время калятся.

Мишко слушал, наклонив голову. Валька читал стихи о любви. Девчата вздыхали, млели от красивых слов. А Мишко оставался холоден. Слова Вальки стучались в его сознание и отскакивали, как горох от стенки. Мишко замечал перебои ритма, никудышные рифмы. Хотел было сказать об этом другу, но передумал. «Какое мне дело? Подумают, что задаюсь».

Захотелось прочесть свое. Но не стал. Зачем ворошить пепел?

Танцевали под Валькин патефон.

Натоптавшись в охоту, начали расходиться. Мишко накинул на Дору свое пальто. Она передернула плечами. Сказала, что не хочет домой, и заплакала. Недобрый хмель ударил ей в голову. Люда уступила ей свою пышную кровать. Мишко сел рядом, положил ладонь на горячий лоб Доры.

Ларка Луговая надела коротенькую кацавейку, уперлась кулаками в бока и расшумелась, как ветер в камышах.

— Ах, падлюки проклятые! Сейчас пойду к Максиму Пилипенко и скажу ему в очи: «Ты что измываешься над своею дитиною? Кто дал тебе право? Да я тебя за Дору в бублик скручу! Она мне родней родной сестры!»

— Ты не кричи попусту, а лучше принеси ей пальто! — попросил Мишко.

— Вот твереза голова! Сейчас принесу! — Ларка выметнулась из хаты.

Кровать, на которой лежала Дора, отделена от печи пестрой занавеской. Оттуда доносились шепот Вальки Торбины и хохоток Люды, хозяйки дома.

Батько и мать Люды уехали в соседнее село, к родне. Потому Люда и собрала вечеринку, потому и пела так радостно, притопывая ножкой по земляной доливке:

Ой, гоп, я сама,
Чоловіка нема,
Я нікого не боюся —
Я хозяйка сама!

Заманчиво в восемнадцать лет обрести полную свободу! Что хочу, то и делаю. Не боюсь ни бога, ни черта! Вот возьму и стану целоваться до утра с приглянувшимся хлопцем!

И она целовалась. Целовалась у припечка с Валькой Торбиной. Мишко все слышал. «А как же Иван! А как же Гафийка?! — стучало в его мозгу. — Неужели все так скоро забывается?»

Он вскочил с кровати, рванул занавеску. Слабые петельки слетели с гвоздиков, и она, мертвая, упала на лежанку.

— Мишец, рехнулся?

Мишко отвел рукой и Вальку и его вопрос. Он подошел к Люде.

— Верни карточку!

Люда заверещала:

— Что тебе надо, что ты ко мне привязался? Не нравится — вон бог, а вон порог!

Мишко повторил еще тише, еще спокойнее:

— Верни карточку!

— На, подавись!

Люда подошла к этажерке, начала копаться в книгах.

Заламывая их, выпуская каждый листик из-под большого пальца, она искала карточку. Листики поднимали ветер.

Карточка упала на земляной пол.

— На, подавись!

Мишко посмотрел на брата, спокойно лежащего под сосной. Иван всем своим видом говорил ему: «Что ты, чудак, паникуешь? Она не рабыня моя, она свободный человек. Любит Вальку — ее дело. У меня университет, потом научная работа. Хочет ждать — пусть ждет. Не может — пусть выходит за другого. А что же ей делать? В институт не попала. В колхоз идти не с руки. Запомни, брат: она вольна в своих поступках. И ты ей выбора не навязывай. Мне приятно, что ты оберегаешь мое достоинство, спасибо тебе. Но Люду не трогай...»

Пристыженный, Мишко сунул фото во внутренний карман пиджака.

3

Дно яра затянуто травяным покровом. Высокие бока желтеют глиняной осыпью. Цветущий терн окутал кромки, он нависает над яром белой пеной. В яру тихо и жарко. Сюда не залетает ветер, поэтому охмелеть можно от дурманного запаха.

По ночам хлопцы приводят сюда девчат. И кажется им: нету краше места на земле. А днем, когда светит трезвое солнце, в этот яр Плахотин приводит строй своих стрелков. Стрелки «дают ножку» и «высокий взмах» руки. Но Плахотину все кажется мало. Он то и дело подбадривает:

— Тверже шаг! Головку, головку!..

Впереди идет Мишко. Он несет боевую трехлинейную. Замыкают строй Рася и Яшка Пополит. Яшка себя и Расю называет шкетами. «Шкет» — его любимое словцо. Они несут ящик с патронами. Плахотя говорит, что патроны ценнее золота, потому что золотом из винтовки не выстрелишь. Он отпускает по три штуки на человека. И, хоть умри, больше не даст.

В яру Плахотя приказывает команде сесть на землю и начинает с теории.

— Як поразить цель? — спрашивает он. И отвечает: — Ось так! Устраивайся поудобнее. Найди опору, щоб гвинтовка не дрожала, як телячий хвост. Увидел белогвардейца, чи, скажем, махновца, сажай его, котыка, на мушку. Если он выглядает из окопу, подставь ему мушку под самую бороду. Если бежит на тебя по чистому полю, бери под мотню. А если он тикает, сажай тем местом, которым сидают. Это будет в самый раз! Потому що пуля — она ж дугу пишет, она берет выше. Если мушка блестит на солнце, треба чиркнуть серничок и закоп-

тить. Мушка повинна сидеть в прорези прицела, как птичечка. И щоб не ворохнулась...

Мишко вначале боялся винтовки. Он знал: где винтовка, там упавший на землю человек, там лужа крови, кислый, пахнущий смертью дымок. Его даже подташнивает от того дымка.

Но стрелял хорошо. Может быть, потому, что в точности выполнял требования Плахоти, а может, просто потому, что глаз верен и рука тверда. По команде «Ложись!» делал полуоборот направо и падал сперва на колено, затем на локоть. Чуть раскинутые, плотно прижатые к земле ноги были вытянуты под углом к корпусу. Локтями упирался в сочную зелень, отчего рукава на локтях зеленились. Приклад упирал в плечо, плотно прижимался к нему щекой. По команде «Цельсь!» зажмуривал левый глаз, сажал мушку в самую середину прорези прицела, подводил ствол под черный круг мишени. По команде «Огонь!» не дыша, плавно нажимал на спусковой крючок. Сердце переставало стучать. И хорошо: не колыхалась винтовка.

Выстрел разражался неожиданно и оглушительно. По терновнику катился сухой шелест. Белые лепестки цветения срывались с высоты и редкими снежинками падали на дно яра.

Хуже всех стрелял Рася. Нажимая на спуск, он зажмуривал оба глаза крепко, до дрожи. При выстреле ствол высоко вскидывало вверх. Пуля шла «за молоком». Мишень даже не проверяли, пробоины там не найдешь. Пуля клевала свинцовым носом бурый откос или, просквозив терновник, шла гулять в степь.

Плахотя нервно дергал себя за ус, приговаривал:

— Пальнул в белый свет, як в копеечку. Ты ж, несчастный недокурок, скот на выгоне перестреляешь. Тебе, зануде, нужники чистить, а не боевое оружие держать! Убирайся с моих очей!

Рася встает растерянный. Отряхивает штанцы на коленках, улыбается сквозь слезы. Он всегда улыбается. Даже когда плачет, то кажется, что он улыбается, показывая передние, большие, как у кролика, зубы. Шумно втягивает воздух сквозь зубы, сглатывает слюну и опять открывает рот в улыбке. У глаз уже заметны тоненькие морщинки. А на высоком выпуклом лбу кожа сильно натянута, даже поблескивает. Широко раскрытыми карими глазами он смотрит Плахоте в рот, молчит. Плахотю это раздражает. Он повышает голос до крика:

— Що вытаращился, як баран на новые ворота?!

Рася подтягивает штанцы, шумно всасывает воздух и отходит в сторонку.

После стрельбищ детвора кидается в яр, колупает глину за мишенями, добывая пули. Патронные гильзы собираются в ящик. Плахотя ведет им строгий учет. Пацаны Христом-богом молят дать им хоть одну гильзу. Если ее, латунную, пахнущую горелым порохом, приложить

верхней кромкой к губам и дунуть, она издаст радостный свист с нутряным гудением. Но Плахотя неумолим: гильзы нужны для отчета.

Перед выпускным вечером в школьном зале лучшим стрелкам вручали значки. Вместе со значком Мишко получил премию — противогаз. Он пришел домой гордый, с защитной сумкой у левого бока. Анна Карповна пощупала сумку, покачала головой:

— И зачем оно нужно?

Матвей Семенович ответил ей:

— Нехай повисит, може, пригодится.

ГЛАВА 7

1

Мишко устроился возле окна вагона. Черный чемодан он поставил под полкой, на которой сидел так, чтобы задниками ботинок чувствовать его. Анна Карповна строго наказывала:

— Если загубишь, то и до дому не являйся! — Затем мягче добавила: — Гляди, дитино моя, там много урканов шныряет. Ляжешь спать — один глаз закрой, другим смотри. А то и тебя украдут.

Покачивается вагон, глухо постукивают колеса — кажется, кто-то снизу бьет молотками в пол. За окнами мелькают кусты, столбы и столбики, стожки сена, скирды соломы, рябит стерня. Все уходит в прошлое. Только далекий меловой кряж все не отстает от поезда.

У Мишка нет плацкартного билета. Руки он положил на столик, голову приткнул в жесткий уголок. Ноги онемели, затосковали. Хорошо бы снять ботинки, подставить пальцы под сквознячок.

На средней полке разместился мужчина в военной форме, не по месту длинный. Когда он вытянулся, ноги перекрыли проход. Ни к кому не обращаясь, военный сказал:

— Придется укоротить костыли. И согнул ноги в коленях. Летчик. На ярко-голубом поле петлиц желтеют крохотные крылышки.

«Как у Данька», — подумал Мишко. Данькова мать показывала ему карточку сына. Шла с базара и похвасталась, «якою стала ее ридна дитина».

Данило на вид строгий. Зуба щербатого не видно, потому что губы плотно сжаты. Совсем переменился.

Если примут в академию, у Мишка тоже будут крылышки.

Примут ли? Больше всего страшит мандатная комиссия. В анкете стоит графа: «Есть ли родственники за границей?» Это порожек, о который можно споткнуться. Что ответить? Мишко знает, что за границей родная мамина сестра. Когда-то она нанималась на срок к болгарину Бойчеву. Два лета помахала тяжелой сапкой на поливном ого-

роде под Мариуполем, а кончилось тем, что вышла за Бойчева замуж. И родилось у тети Оришки трое детей. Дочь и два сына. Дочь с того же года, что и Мишко, и названа похоже: Михайли́на.

Дядя Бойчев настоял на своем: увез семью в Болгарию. Осталась только Михайлина. Она сказала, что никуда не поедет. Не для того, мол, родилась в Стране Советов, не для того носила пионерский галстук, не для того вступила в комсомол! В райкоме восхищались ее решением. Дали койку в общежитии техникума, назначили стипендию.

По ночам «бидна дивчина» изливала тоску слезами, а днем крепилась.

Иван о Михайлине сказал так:

— Это и есть настоящая большевичка!

Но как же быть Мишку? Ведь не напишешь же в заявлении обо всем, что чувствуешь и что думаешь по этому поводу!

«Эх, дядько Григорий, дядько Григорий, наделал ты хлопот. И дочку осиротил и родственникам не даешь жить спокойно!»

Матвей Семенович говорил:

— И что они за родня? Седьмая вода на киселе! Через дорогу валенком чай пили! Не ставь в графу!

Анна Карповна обиделась:

— Как же так — моя родная сестричка?!

Спор разрешил Иван. Он твердо заявил:

— Выясни на месте. Расскажи комиссии все как есть и спроси: ставить «да» или не ставить? Может, они как дальние родственники не имеют значения. Ну, а если имеют, что ж, такова жизнь, правде надо смотреть в лицо!

«Такова жизнь!.. Это ж несправедливо, — не соглашался Мишко, глядя в темноту вагона, — сказано же: сын за отца не отвечает. Почему ж я повинен отвечать за дядю?»

2

Перед ним клокотала площадь. Она звенела трамваями, коптила «эмками», полуторками. В плоские телеги на резиновом ходу были впряжены кони-ломовики с куцыми хвостами. Они звякали подковами, громко отфыркивались, мотая тяжелыми головами: видно, першило в ноздрях от бензинового перегара. У Мишка тоже першило. Он смотрел на площадь широко открытыми глазами.

Неужели Москва станет его домом? От этой мысли кружилась голова. Вспомнилась песня:

> Утро красит нежным светом
> Стены древнего Кремля...

Где он, Кремль? В какой стороне? Но сперва надо в академию.

В трамвай еле протиснулся. Зажали потными телами — не шелохнуться. Рука, в которой держал чемодан, одеревенела, но переменить нельзя.

А хорошо в таком многолюдье. Москвичи пахнут новой материей, кожаными туфлями, одеколоном, вином. Дома по-другому: там все пахнут овчиной, кисловатой опарой, огурцами, укропом. И живут в подслеповатых саманных хатынках. А здесь вон какие хаты! Посмотришь на крышу — фуражка сваливается. В окнах пестрят занавески. Что там, за ними? Какие печали, какие радости?

Мишко узнает это, дай время! Он будет учиться в Москве. Дора тоже сюда приедет. Пройдет какой-нибудь год, и она приедет. Об этом заранее договорились. Мишко как московский старожил поможет ей поступить в медицинский.

Наденет парадную форму и пойдет. На нем будут ботинки с блестящими черными носами, темно-синий диагоналевый костюм с голубыми петлицами, белая рубашка, темный галстук, на голове — пилотка, на пилотке — рубиновая звездочка, на петлицах — крылышки! Вот только не помнит Мишко, полагается ли портупея. А не плохо бы по темно-синему полю пиджака спустить с плеча ремешок бордового цвета и перехватить талию широким ремнем с золотой пряжкой! Увидят такого в приемной комиссии медицинского института — и сразу примут Дору!

Вот и Петровский за́мок. Красная узорчатая стена. Ворота. Проходная. Но, оказывается, не сюда надо идти, а в новый корпус. Там много собралось таких же нетерпеливых.

В широкой комнате расставлены железные койки. Постели покрыты колючими солдатскими одеялами. Ложись, отдыхай. Спрячь бумажечку со штампом и номерком. Она пригодится. С ней завтра пойдешь на медицинскую проверку.

На другой же день нашел дружков. Стало веселее. С одним познакомился в умывальнике. Попросил закурить. Разговорились. Его звать Геннадием. Красивое имя! Он из Ленинграда. Курит не по-людски: не затягиваясь. Наберет дыму за обе щеки и выпускает потихоньку сперва через рот, затем через нос. Папиросы курит сладкие, дорогие. Но ему не повезло: не прошел. Говорят, эскулапы дело застопорили.

На Геннадии — коричневые полуботинки, коричневые брюки-клеш из тонкого сукна, кремовая рубашка с закатанными выше локтей рукавами. Все новое, пахнет по-особому. А глянешь на Мишка — село селом! Пузыри на коленях, потрескавшиеся ботинки, синяя косоворотка с малиновой неяркой вышивкой на вороте и обшлагах. Отец купил ее для себя. Но отдал Мишку, раз такое дело. К тому же она ему была маловата.

Мишко комиссию прошел. И на стуле вертели, и в рот заглядывали, и в грудь стучали. Признали здоровым. Село, говорят, поставляет людей надежных.

Генка решил домой не возвращаться. Берет документы и — в авиационный институт. Даже лучше: самолеты строить все равно научится, а серую шинель таскать не придется. Он сказал, что это его устраивает: не велика радость всю жизнь провести в казарме.

Мишка встревожили его слова. Раньше он над этим не задумывался. Иван рисовал картины одна другой радужнее. Сперва учеба в академии, затем работа в ЦАГИ: в Центральном аэрогидродинамическом институте. Одно название пьянит голову!

Второго дружка звали проще — Тимка. Он с Волги. Живет под Куйбышевом. Рослый, поджарый. Рука крепкая. Дай ладонь — стиснет так, что будь здоров.

Утром Тимка делал зарядку. Долго фыркал под краном. Потом растирал грудь коротким вафельным полотенцем.

— Ты, хохландия, на какой факультет, — спросил он, — на моторо- или самолетостроение? — Не дав ответить, посоветовал: — Иди строить моторы. Мотор — сердце машины.

Ну вот! А Иван утверждал, что самолетостроение главное.

В академию поступали и военные, окончившие летные училища. Их берут на командный факультет. Держатся строго — не подходи близко! На «гражданку» глядят свысока.

А может, Мишку так показалось?

3

До площади Пушкина доехал на двухэтажном троллейбусе. Перешел площадь по правой стороне. Увидел памятник поэту. В металлическом веночке — букетик хилых, городских цветов. Подумал: «Разве это цветы?» Представил себе луг, устланный кумачом воронца, снегом ромашки, синим огнем василька. Мысленно увидел буйство акации и сирени, кусты желтой розы-троянды, увешанной солнцами крупных бутонов.

Отойдя в глубь бульвара, Мишко сел на скамью с чугунными ножками-лапами. Не удержался, чтобы не наступить на лапу.

По обеим сторонам бульвара позвякивают трамваи. Солнце печет по-украински. Детвора скребет синими и зелеными совочками плотно утрамбованную дорожку. Из репродуктора, подвешенного на угловом доме, льется густой бас Максима Дормидонтовича Михайлова. Мишко любит этого певца. Он знает его голос по Валькиной пластинке. Сейчас Михайлов поет «Вдоль по Питерской».

И восторг перед увиденным, и грусть по дому, и желание чего-то хорошего, и испуг перед неясным будущим — все смешалось в душе.

Снова пришло сомнение: «То ли я делаю?» Эта мысль ширилась, росла, заполняя собой все. Она шевельнулась еще вчера, когда он вернулся из театра. Она преследовала его утром, когда он взбирался на высокое крыльцо университета, когда приглядывался к могучему Ломоносову, стоящему на цилиндрическом белокаменном постаменте.

«То ли я делаю? Туда ли иду? Может, моя дорога лежит через литфак? И не нужна мне академия и самолетостроение не нужно...»

В смятении добежал он до Центрального телеграфа — серого здания с большими окнами, — купил пачку почтовой бумаги. Сел за стол, взял в руки желтую ручку, покрытую чернильными синяками и клеевыми струпьями. С лихорадочной быстротой начал заносить на бумагу по памяти вирши, которые недавно сжег в печке. На ходу исправлял строчки, выбрасывал строфы, над иными стихотворениями ставил крест. Осталось не так много. Но разве дело в количестве? Говорят, понимающий человек может разглядеть талант по одной строке.

Свернув рукопись в трубочку, зажал в горячих пальцах. Подошел к деревянной будке с надписью «Справка». Назвал фамилию известного поэта.

Дом неподалеку от Пушкинской площади. Угловая часть еще не достроена. Место стройки обнесено плотным забором с козырьком над дощатым тротуаром.

В подъезд попал со двора. Поднимался пешим порядком, на лифте не рискнул: «А ну как нажмешь не то, что надо!»

Вот она, квартира поэта, который решит его судьбу. Дверь мягкая, обита кожей. Постучал кулаком по дверной ручке. Сердце так колотилось, что, пожалуй, и слова не вымолвить.

Открыла молодая женщина, ласково сказала:

— Его нет дома: уехал на родину, в Смоленск.

Медленно спускался вниз. Все равно, решение было уже принято: «Надо забрать документы».

4

Не проспать бы! Хочется увидеть Киев издали. Говорят, сказочной красоты город. Стоит на высоких холмах, играет на солнце золотом куполов. Древняя столица Руси. Мать городов русских. Сколько видел князей, сколько снарядил походов! Принимал византийские корабли. Крестил Русь, поставив ее, непокорную, на колени в холодную воду Днепра-славутича.

Все это вычитано в книгах. А хотелось посмотреть своими глазами.

Мать бывала в Киеве. Рассказывала:

— Была я тогда еще дивчиною. Повезли нас, лучших учениц, в сто-

лицу, в святой град Киев. А он же такой красивый, такой красивый, хоть на землю падай! До Екатеринослава — так раньше Днепропетровск называли — ехали на поезде. Потом посадили на пароплав — и вверх по Днепру. Встретил нас стольный город малиновым звоном церквей. Поглядела я на ту высокую кручу, на какой он стоит, — и сердце замерло. Девчатки, подружки мои, побелели и только крестятся, крестятся. Ходили в пещеры. Видели святых. До мощей прикладывались. Боже мой, сколько их там — всех и не запомнишь! А богомольцев — тьма-тьмущая, не протолкаться. Кажется, собрались со всего свету. В Палестину до тела господня меньше ходят, чем в Печерскую лавру. Моя бабуся тоже ходила. От самой Новоспасовки до днепровских круч. Вернулась месяца через три, легла на лавку и сказала: «Чую, господь мене кличе». С тем и отошла...

Матвей Семенович тоже бывал в Киеве. Но он говорил с меньшим восхищением:

— Да ничего особливого, город как город. А речка хороша, хороша речка Днипро. И широка и глубока. Меня в ЦК вызывали. Посылали в Каменец-Подольскую область. «Не, — говорю, — не поеду, у меня семья велика. Я и так слишком часто кочую с места на место. Только обжился — поезжай дальше». Говорю: «Еще трошки посижу в Белых Водах». Уважили! Походил еще с денек по улицам, да и сказал себе: «А не пора ли тебе, Матвей, до дому?» Купил бубликов на гостинец и двинулся. Вот и весь Киев!

Мишко смотрел в окно. Потянулись песчаные земли. Песок, песок и сосны. В низинах верболозы и заросли камышей. Скоро Днипро! При этой мысли по телу прошел озноб. Может, рассвет прохладный? Или сквознячком тянет из тамбура?

Последняя остановка. Дарница. Вся в соснах. Поезд двинулся незаметно. Даже сцеплениями не звякнул. Насыпь. Блеснула стальная гладь затона.

Днипро!

Мишко припал к стеклу. Проводница закрыла окна. Не велела опускать. Гудел под колесами мост, проплывали мимо его железные сплетения. Внизу буксир тащил сплоченные бревна.

Не так уж широк Днепр, а смотришь и задыхаешься, очей оторвать не можешь!

Солнце, точно по заказу, выкатилось из-за раскаленных сосен Левобережья и брызнуло на кручу сочными лучами. Загорелись купола, вспыхнули кресты, ярко зазеленели крыши белых строений.

Мать говорила правду: от такого зрелища действительно сердце замирает.

На привокзальной площади Мишко сел в трамвай. Вагон весело взобрался на горку и, повернув направо, покатил по Шевченковскому бульвару. Улица Короленко пересекает бульвар под прямым углом.

Здесь надо сойти. Мишко издали увидел светлые колонны государственного университета.

Остановись перед ним, сними картуз, поклонись. Здесь твоя пристань, твой дом.

Но почему заперты тяжелые двери?

Дворник, подметавший тротуар, буркнул в бороду:

— И що воно дергае? Чи воно́ забыло, що сегодня недиля?

Он сильно напирал на уничижительное «воно́». Но Мишко не обиделся, вежливо поздоровался:

— Доброе утро, дедусь!..

— Бувайте здоровеньки!

Напротив университета — сад с могучими деревьями. Им, кажется, столько же лет, сколько и городу. Среди рослых деревьев — рослый Тарас на полированном камне. Стоит крепко, одет по-городскому, в легком пальто нараспашку, при галстуке. Совсем не похож на Кобзаря.

«Что-то здесь не так! Крепостной, бунтарь, ссыльный... а такой спокойный!»

Поставил на землю черный полупустой чемодан, присел на его краешек. Вспомнил харьковского Шевченко. Иван привозил открытку, показывал. То бунтарь! Он взобрался на высокую скалу, рвется вперед, даже свитка сползает с плеча. За ним по крутой дороге, вьющейся вокруг скалы, валом валит народ с косами, вилами, топорами. Идут люди палить панские гнезда, добывать волю.

Мишко долго таскал свой чемодан по городу. Прошелся по Крещатику, побывал на стадионе, полазил по Владимирской горке. Из беседки смотрел вниз, на тяжелый крест Владимира-крестителя. Бродил у бирюзового дворца Верховной Рады.

В приметы он не верил. Но понедельник действительно оказался тяжелым днем.

Двери университета открыли. Документы посмотрели. Вернули, сказав:

— Нужный процент отличников уже набран. Обождите до следующего года!

И все вокруг посерело: люди, дома, деревья.

ГЛАВА 8

1

По белой ладони Доры, медленно перебирая черными ножками, ползла божья коровка; у нас называют ее «сонечко». Дора вспомнила детскую песенку:

Сонечко, сонечко,
Відчини віконечко.

При этих словах «сонечко» должно открыть свои твердые крылышки и прозрачные подкрылки, взлететь вверх. Но божья коровка улетать не собиралась. Доре казалось, она щекочет ладонь так сильно, что даже в сердце отдается. И смеяться хочется, и слезы застилают глаза.

— Михайлик приехал, Михайлик приехал!..

Почему же его неудача обернулась для тебя радостью? Неужели ты такая жестокая?

А что поделаешь, если сердце ума не слушается. Оно знает: Михайлик приехал. И радуется, глупое. Ему все равно, если Михайло отстанет от своих однокашников на целый год, ему нет дела до людских пересудов. А люди говорят всякое. Многие думают: из-за Доры вернулся домой. Мать Михайла, Анна Карповна, тоже так думает. Ей и грошей жалко, зря раструшенных в дороге, и сына жалко, сбитого с толку неразумными советами. Нехай бы шел на литфак. Каждому свое: одному в небе летать, другому над книжками нагинаться. А еще ей жалко сына потому, что задурила ему голову баламута-зазнобушка, присушила к себе. Поймать бы эту присуху, задрать бы ей морковный сарафан, завязать узлом над рыжей головой да нажечь крапивой то место, которым на парте сидит!

И почему так? Казалось бы, самые близкие люди: мать и любимая девушка, а враги. И начинают враждовать, еще не зная друг друга! Любят одного и того же человека, но любовь не сближает их, а отдаляет.

Брат Иван по-своему расценил неудачу Мишка:

— Тряпка. Раскис. Литература, университет!.. В литературу люди приходят со стороны, а не из литфака. Лермонтов — военный. Чехов — врач... Пиши свои вирши, черт с тобой, но учись в академии! Хоть будет о чем писать. А пойдешь на литфак — станешь книжным грызуном. Стыдно за тебя!..

«Не то говоришь, братику, совсем не то. Конечно, жалко терять год, но надо идти туда, куда тебя тянет, а не куда подталкивают другие».

Доре радостно: вместе будут весь год, вместе поедут учиться! Так лучше, спокойнее. Она понимает Мишка, сочувствует ему, успокаивает. А он мечется как неприкаянный. Или весь вечер молчит.

Все равно радостно: Михайлик приехал!

Когда увидела, как он спрыгнул с полуторки у гамазеи, обомлела. Запыленный, чужой, далекий, даже не посмотрел в ее сторону. Хотела позвать — голос отказал. Целых два дня не показывался на глаза, черствый. Думала, стал академиком, нос задрал, а может, уже приглядел себе москвичку: селянка ему теперь не пара! Как чумная, ходила из угла в угол. Мать заметила, спрашивает: «Что с тобой, дочка?» И книжка из рук валится. Такого еще не бывало. Раньше любую неуря-

дицу могла в книжке утопить. Раскроешь заманчивые странички — и все, что вокруг, исчезает.

Дора даже на уроках читает. Положит книжку под парту и заглядывает в нее. Учителя относятся к этому по-разному. Один пройдет мимо, закроет крышку парты — и делу конец. Другой заставит встать и давай распекать. Чаще всего распекают учительницы. Как-то «грамматика» заметила, подкралась тихой кошкой, сцапала добычу. Прочла название, схватилась за голову — даже книжку выронила.

— О ужас! «Шагреневая кожа»!

Тоже, нашла ужас! А сама чужими любовными письмами упивается, ханжа!

Дора перебрала все книги в школьной библиотеке. Теперь ходит в райклуб. Книжными делами ведает там Люда. Она откладывает для Доры все самое заманчивое.

И Мишка Дора увидела, когда возвращалась из клубной библиотеки.

Люська-сестренка дразнится:

— Женишок приехал, суженый приехал. Москву на Белые Воды променял. Соскучился по рыжей! Что нашел хорошего? Веснушки по носу рассыпаны, словно конопляные зернушки, хоть веником мети!

— Чье бы кричало, а твое б молчало!

Действительно. У Люськи веснушки не только по носу, но по всему лицу посеяны, даже на лбу, даже на подбородке рыжеют.

Прибегала Ларка Луговая, соседка. Больно прижала к себе голову Доры, закружила подружку:

— Вот счастлива, вот счастлива! И везет же вам, чертякам! Над Лесей обещают в самолете кружиться, к тебе летят на собственных крыльях! А мой Юрка ходит, как сонный теленок, хоть бы взбрыкнул когда! Ну, ничего, я ему перцу под хвост насыплю, он у меня побегает!

Дора слышала, Карп Степанович говорил про Мишка:

— Это бывает, бывает. Один год нестрашно! Отличников три года принимают без испытаний. Нехай отдохнет. Как раз в школе нет старшего пионервожатого. Супрун на его место заступит — это будет как раз. Не сидеть же на батькиной шее! И комсорга надо нам доброго. Был аферист несчастный — прогнали, скатертью дорога! Нужен крепкий хлопец. Лучше Супруна не вижу!..

Мишко хлопец как хлопец. С первого погляду не полюбишь. Он красив той красотой, которую издали не разглядеть. Не режет глаз, не поражает. Он не из тех, кто может сразу задурманить голову черной бровью, карим оком, роскошным чубом в колечках, высоким ростом. У него этого нет. Он обыкновенный. К нему надо хорошо присмотреться. А вот присмотришься — и уже оторваться трудно! С ним хорошо. Кажется, всегда его знала, всегда о нем думала. Он не такой, как другие хлопцы, которые в первый же день дают волю и языку и рукам.

С ними скучно. А Мишко только смотрит голубовато-серыми глазами в твои глаза и все понимает. Ему неправды не скажешь. Смотрит — и ты готова сделать все, что он пожелает. И не стыдно. А если и стыдно, то лишь потом и не очень.

Девчата, дурехи, не верят, что он такой. Говорят: «Брешешь, Дора! Вы, наверно, всего попробовали, а прикидываетесь святыми!» Вот дурные, и не стыдно такое болтать! Он не такой. И за это ему благодарна.

Однажды сказал прямо, и тоже совсем не было стыдно. Он начал как бы в шутку:

— А что, если бы я настоял на своем?

Ответила:

— Когда дивчина любит, ничего не страшно!

Он схватил ее голову обеими руками, целовал в губы, в щеки, в нос, в подбородок. Поцеловал ямочку на шее.

Потом сказал серьезно:

— Я не феодал, Дора, не хочу показывать свою власть над тобой, привязывать силой. Поживи, погляди, разберись в своих чувствах. Может, это и не любовь, а просто порыв молодого сердца. Может, настоящее к тебе придет потом...

Слова его были благородными, чувствовалось влияние брата. У Доры даже слезы выступили.

— Михайло, зачем так говоришь? Ты же знаешь...

Дора всегда называла его Михайлом, стыдилась сказать так, как в мыслях: «Михайлику». Мишко тоже звал ее просто Дорой, изредка «рыжей» да иногда в шутку «крыхоткой».

Слово «крыхотка» перевести на русский язык трудно, потому что «крошка» — буквальный перевод — звучит пошловато. А «крыхотка» — чистое, свежее слово. Во всяком случае, Мишку казалось так. И важно не само слово, а смысл, который ты в него вкладываешь.

Однажды, дразня свою ревность, Мишко спросил:

— А не случится ли так: через некоторое время я буду идти по улице какого-нибудь города. Остановлю встречную пару, попрошу у хлопца прикурить. Подниму голову и увижу, что он держит под руку...

Дора закрыла ему рот ладонью. Испуганно закричала:

— Как тебе не стыдно!..

Испуг сидит до сих пор в глубине ее сердца, никак его оттуда не выгнать!

Но об этом ли сейчас думать, если Михайлик снова дома! Сказал: будет ждать сегодня на горе, у мелового обрыва.

Любо там сидеть! Внизу речка поблескивает, хатки мигают огоньками, слышна музыка далеких городов. Ее доносит серебряная труба громкоговорителя, что висит на столбе у моста. Труба поет, говорит — и открывается весь мир, такой огромный и загадочный. А Белые Воды начинают казаться крохотными-крохотными, точно маковое зернышко.

В полночь труба играет «Интернационал». Обо всем тогда забываешь. На душе торжественно. Уже поздно. Надо идти. Потому что в двух хатах еще не спят две женщины. Глазами сердца смотрят на вершину обрыва, следят, не сорвались бы их дети. И, как всегда, самый сладостный час — тот, когда надо расставаться...

Божья коровка все ползет. Когда добирается до края ладони, Дора подставляет ей другую. Иногда коровка переворачивается на спину, мельтешит в воздухе черными ножками.

В детстве девчатки дразнили Дору божьей коровкой. Может, потому, что Дора рыжая? Но коровка же красная! Может, потому, что усыпана конопушками? Но у коровки они черные, а у Доры золотые!..

У детей свое, особое зрение. Они видят то, чего взрослые не видят.

С тех пор, с детства, Дора любит и жалеет божьих коровок.

Серая курица с голой маленькой шеей долго приглядывалась к ее ладоням то одним, то другим глазом, попеременно поворачивая голову. Выбрав удобную минуту, она клюнула в ладонь, схватила божью коровку и спряталась под деревянный сарайчик, стоящий на четырех камнях. Дора стала кидать туда мелкие камушки, совать палкой, но курица так и не вылезла.

2

Мишко носит лыжный костюм из грубой бумазеи. Куртка напуском над пояском. Поясок застегнут на пуговицу. Два нагрудных кармана прикрыты клапанами. Внизу пара косых прорезей. Тоже карманы. В них удобно сунуть руки, чтобы не болтались без дела. На рукавах обшлага. Брюки похожи на чумацкие шаровары. У щиколоток собраны обшлагами, застегнуты на пуговицы.

Сегодня он выводит отряды к райклубу на митинг. Трибуны нет, и ораторы выступают на танцевальной площадке — деревянном обширном круге, приподнятом над землей на полметра и обнесенном перильцами.

На приклубной площадке народу набилось — по самое крыльцо. Народ стоит тихо. Все смотрят на своего земляка — героя Хасанской битвы. На гимнастерке цвета осенней побуревшей зелени поблескивает новым серебром медаль «За боевые заслуги».

Сняв картуз с кожаным козырьком, Торбина погладил ладонью серебристо-серую стерню своего чуба, провел под усами в обе стороны, кгекнул и сказал чистым голосом:

— Митинг считаю открытым!

Когда объявили Плахотина, все оживились. Он протиснулся вперед. В спину его прогудел басок:

— Оцей скаже!

Люди по-разному отнеслись к восклицанию: одни, посерьезнев ли-

цом, приподнялись на цыпочки, чтобы лучше видеть и слышать, другие зажали носы кулаками, чтобы заглушить смешок.

Плахотя по случаю митинга накинул на плечи шинелишку. Он не надел ее по всем правилам, потому что на дворе стояла теплынь.

Орден, как всегда, горел чисто и светло.

Плахотя — оратор неопытный, он рванул с места в карьер: на первых же словах нерасчетливо до предела напряг голосовые связки.

— Дорогие мои товаришочки! Та що ж це робиться... — Тут он споткнулся, какие-то крепкие слова протарахтел неразборчиво, какие-то и вовсе сглотнул. — Що ж це робиться, пытаю вас? На нас нападают японски самиуры (так он называл самураев), пробачьте, якись гадюки! Чего они лезут? Чего им треба?! Где они, зануды, ховались в гражданскую? Мы б их буденновскими ударами живо посекли собакам на харчи!.. Товарищ Торбина, пиши меня первым добровольцем. Поеду топить паразитов у тому озере! Все, як один, запишемся в добровольцы! — Плахотя взметнул кулаком над головой. — Ка́ра японским самиурам! Кара буржуям и всем их присобачникам! — Он запнулся, не зная, чем закончить. Затем вконец сорвавшимся голосом прохрипел: — А що сказала Паша Ангелина, наша дорогая землячка, герой т-т-тических полей, що, я вас пытаю?! — Плахотя всегда запинался на слове «социалистических», а в таком запале и вовсе отсек его начало, осталось только «тических». — Паша Ангелина, щоб знали и николи не забували, сказала: «Вступайте все в ряды Червоного Хреста с Червоным Полумесяцем!» А я еще добавлю: вступайте в стрелковые кружки! Сдавайте нормы на значок! Щоб умели сажать их, котыков, на мушку и отправлять к... чертовой прабабушке! Нехай они, паразиты, не ползают по нашей земляной куле (по земному шару), нехай не кусают рабочу людину! Кара самиурам!..

Плахотя дрожал всем телом. Его волнение передалось людям. И люди, не жалея рук, ответили такими дружными хлопками, что всполошили галок на гамазее. Галки, ошалело галдя, кружились, не зная, в какую сторону им податься.

Когда оратор возвращался в толпу, кто-то решил подтрунить над ним, спросил:

— Чи поясок на штанцах не лопнул от натуги?

Плахотя, пырнув его взглядом, прошипел:

— Брысь, япошка скуласта!

Еще и ногой притопнул.

Через час Мишко сидел на железной бочке во дворе военкомата. С губы свисал толстый махорочный бычок. Он чадил, дым колол глаза. Приходилось жмуриться. В руках Мишка балалайка. Рядом сидел Яшка Пополит, за ним пристроился Рася.

Мишко теперь часто встречался с Яшкой. Его дружба с Валькой Торбиной дала трещину, которую ни смолой засмолить, ни медом залить. Вот что наделал новогодний вечер! Даже не верится: друзья не разлей водой стали избегать друг друга.

Военком собирает призывников. Он их построит на подворье, поведет в клуб. Там им станут речи говорить, школьную самодеятельность показывать.

Пока есть время, почему не посидеть с хлопцами, не подымить кременчугской махоркой, не побренчать на балалайке? Бочку обступили стриженые загорелые парни, крепкие, точно бычки годовалые. Видно, заботливые мамаши молочком их отпаивали, кукурузной кашей откармливали. Курят даже те, кто до нынешнего дня цигарки в рот не брал. Надо привыкать: в армии выдают курево всем поголовно. Не пропадать же добру. Кроме того, цигарка в зубах — признак зрелости, самостоятельности.

Мишко зашел сюда просто так, по пути. Он ходил домой за балалайкой. И заглянул. Уселся на бочку. Она ржавая. Когда качнешь — внутри что-то булькает. Ее недавно обнаружил на метровой глубине конюх райисполкома Луговой — Ларкин батько. Он подрядился копать яму под нужник в дальнем куточке военкоматовского двора. И вот лопата звякнула: железо наткнулось на железо. Отрыл — бочка. А что в ней, никто до сих пор не знает.

Мишко смотрит на ребят: кто в куцем выгоревшем пиджачке, кто в фуфайке, кто в отцовской гимнастерке — одним словом, «гражданка»! Данько недавно тоже был свой брат в этой толпе. А прошел год — не узнать Данька. Сапожки в обтяжку и так блесят, что зеркала не надо! Выше сапожек — защитные галифе. Еще выше — гимнастерка такого же цвета. Через плечо портупея, на пояснице ремень с треньчиками и множеством дырочек: затягивайся на любую.

Данько поясняет:

— По уставу положено затягиваться так, чтобы только два пальца просунуть можно было, и ни волоска больше!

Говорит-то как: «По уставу положено».

Данько успел отрастить чубчик. Подстрижен он под полубокс. Интересно Мишку: «Каков же полный бокс? Совсем наголо, под машинку, как у дядька Торбины?»

На полубокс надевается пилотка защитного цвета, вареничком. Данько чуть сваливает ее к правому уху. Надевает и прикладывает ко лбу два пальца: указательный и средний. «По уставу положено», чтоб пилотка от брови — на два пальца.

Переменился Данько. Совсем другим стал. Как-то пришел утречком к Мишку. Сел в «полусадике» на сложенные одна на другую кирпичины. Начал рассказывать о том, что «трапилось» вчера в конезаводе.

Приглянулась ему одна: «засек» и все дни «держал на прицеле»

(это его слова!). Ходил каждый вечер. Семь километров туда, семь обратно. Ничего такого себе не позволял. А вот вчера...

— Что вчера?

— Ты ж, Минька, не дитё... Ну, в общем, я уже не девушка!..

Данило зачем-то сильно разглаживал голенища сапог. Вот так: кладет на голенище обе ладони и разглаживает снизу вверх.

— А как же Леся?

— Двое бьются — третий не мешайся! Математикова звездочка, пожалуй, ярче моей.

— Ну, ты ж теперь не покинешь ту, что вчера?..

— Лесю б не покинул...

Мишко спрыгнул с бочки. Балалайку он оставил Расе и вместе с Яшкой направился в школу, гуртовать детвору.

Рася поклялся:

— Побей меня град, если через полчаса твоя бренчалка не будет висеть на гвоздичке в гримировочной!

До ворот не дошел. Сзади что-то гухнуло, дыхнуло жаром в затылок. Он увидел: призывники кинулись кто куда. Некоторые катались по траве, гася на себе тлеющие фуфайки. Рася очумело бежал к воротам. Его серые штаны горели синим огнем. Стоявший на высоком крыльце Плахотя кинул цигарку, ловко снял с плеч видавшую виды шинель, сбил Расю с ног и окутал его шинелью.

Мишко подбежал к бочке. Он хотел вызволить из огня свою балалайку. Но увидел такое, от чего можно забыть про все на свете. Из-за бочки медлительный, словно призрак, поднялся молодой стриженый хлопец. Он качнулся по-пьяному, весь охваченный прозрачным пламенем. Пламя было ледяного цвета. Так горит спирт в школьной спиртовке. Хлопец медленно, боком осел на землю. Было слышно, как трещит кожа под синим огнем, донесся запах паленого тела — сладковато-нудный запах.

Хлопца накрыли попоной. Пламя сбили. Но было уже поздно.

Прибежали пожарники в брезентовых куртках и золотых рыцарских шлемах. Благо бежать недалеко: пожарная рядом. Они кокали о землю ярко-алые огнетушители, перевернув их вниз головами, направляли мутные струи в сторону малиновой бочки. Бочка шкварчала. Затем утихла.

Пожарники утверждают, что в бочке был растворитель. И вспыхнула она от цигарки. Возле нее Мишко нашел еще теплые железные колышки от своей балалайки.

3

Дела у Анны Карповны с самого утра пошли шиворот-навыворот. Мишко не отдал своей получки в общий котел — только третью ее часть

сунул матери в руки. Остальные спрятал в нагрудный карман желтой лыжной куртки и застегнул клапан на крупную черную пуговицу.

Был такой семейный уговор: откладывать Мишку на костюм. Без костюма дальше нельзя. Дело дошло до того, что даже Карп Семенович заметил:

— Довольно тебе чумаковать! Купи штаны, как у людей. Ходишь желтый с головы до пят, как футурист недорезанный!

Уговор был. А все-таки Анне Карповне обидно. Сама откладывала бы. Может, не доверяет? В сердцах по-нехорошему обозвала сына. Самой теперь стыдно.

Предчувствовала: что-то должно случиться. Так и вышло. Прибежала уборщица земотдела Устя, принесла новость, от которой сердце может остановиться:

— Ой, титочко Гано, ваш Мишко сгорив!

— Ты что, сдурела?

— Сгорив, увесь начисто! Побей меня бог, если брешу! Може, и косточек не найдете. Огонь такой синий-синий, а то зеленый. Такой страшный, такой страшный, що не можно описать. Так все наголо и выпалил. Горит трава, горит земля, железо горит! Там их, хлопцев, погорело — не пересчитать! Люди кажуть, то божья кара антихристам!..

Анна Карповна привалилась виском к стене. Руки безжизненно повисли. Лицо точно побелили. Устя взяла кружку с водой, набрала полон рот и дунула прохладной пылью в лицо Анны Карповны. Та подняла руки, открыла глаза, воткнула в волосы выпавший гребешок и двинулась к двери. Сойдя со ступенек, попыталась бежать, но не послушались ноги. Они были тяжелые, точно мешки с песком.

Комната глядит на улицу двумя окнами. В простенке столик, заваленный книжками и тетрадками. На подоконниках яблоки: краснобокие, желтобокие, зеленобокие. Дора сидит на старом венском стуле. Перед глазами учебник физики. Надо выучить законы. Но они в голову не лезут. Дора смотрит в книгу, а видит... совсем не то, что надо. Видит физика. Он стоит в опустевшем физкабинете и говорит слова, от которых туманятся слабые девичьи головы!.. И этот мужчина, которого ученицы старших классов видят во сне, стоит перед ней, робкий и неуверенный, и, запинаясь, предлагает ей руку и сердце! Нет, нет, говорит физик, она не станет рабой домашнего очага! Наоборот, она будет учиться, будет работать, будет его равноправным другом. После того как она получит аттестат отличника (только отличника, иначе и быть не может), они поедут в Крым. На месяц. Они снимут комнату в Мисхоре или в Алупке. Просыпаясь каждое утро, будут видеть

море, сиреневое в раннем туманце... А осенью Дора поедет учиться в медицинский институт. Он вместе с ней. Будет преподавать в том же городе. Подыщут хорошую квартиру. У нее будет все, что она пожелает. И никаких забот по дому! Только ученье.

Все это он говорит горячим шепотом. Если закрыть глаза — голова закружится.

Но закрывать глаза нельзя. Нужно смотреть прямо в его бегающие зрачки. На бледное его лицо, на подозрительно улыбающиеся губы. Надо замечать все. И то, как он чистит свои длинные заостренные ногти: ногтем указательного пальца одной руки чистит ногти на пальце другой. Надо все замечать, все мелочи. Многие не замечают, оттого и приходят беды.

На богатые посулы физика Дора отвечала одним словом, словом, которым обычно выражают благодарность:

— Дякую!

Важно, как произносишь это слово. Дора произносила его так, что физик от горячего шепота перешел к холодному тону. Он спросил:

— Где думаете учиться?

— В Киеве.

— Почему в Киеве?

— Так хочет Мишко!

Физик поморщился, точно раскусил яблоко-кислицу.

— Этот юноша в желтых штанах? Он над вами имеет власть? Что ж, он неплох. Только ему не хватает...

Дора насторожилась:

— Чего?

Физик улыбнулся презрительно:

— Пьексов!

Дора не поняла.

— Пьексы — это лыжные ботинки, финские. С высоко задранными носами. Он непременно должен купить их!

Физик резко повернулся. Широко размахивая правой рукой, прижав к боку левую, вышел из кабинета.

Отец Доры тоже против Мишка. Он сурово спрашивает Дору:

— Что ему надо? Крутится возле нашей хаты, точно она медом обмазана!

Максим Пилипенко давно заприметил, как приветливо при встрече с ним берется за козырек своей модной серой кепки учитель физики. Однажды он даже подал руку, угостил дорогой папиросой.

«Чем черт не шутит, — думал Пилипенко с замиранием сердца. — Женился же Иван Митрофанович на простой дивчине Лесе Дубовой».

Этой думкой Пилипенко бередил свое сердце. Но сказать дочке не решался. Даже не намекнул ни разу.

Дора знала, что Мишко в военкомате. Из своего низкого оконца

видела его желтый костюм, слышала балалайку. Только его балалайка может так выговаривать:

Баламуте, выйди з хати,
Щоб мене не закохати...

Он зашел в военкомат неспроста. Хочет, чтобы она показалась, прошлась вдоль забора. Хочет увидеть ее, услышать хоть словечко, и тогда он ее простит.

Дора сама чувствует: виновата. Мишко прождал ее вчера до самого «Интернационала». Сновал под окнами, посвистывал. Не вышла. Батько не пустил, занавесил окна шалями. Приказал:

— Сиди, не рыпайся. Убежишь — тогда не вертайся до дому!

Мишко сегодня прошел по коридору школы и даже не поздоровался. Чудной! Желваки ходят, точно что пережевывает. Ноздри раздуваются. Не страшно: перемелется — мука будет. Ларка Луговая в таком случае говорит: «Милые бранятся — только тешатся!» Дора знает, сегодня они увидятся в клубе. Можно ненароком встретить за кулисами. И, ничего не говоря, погладить по груди, еле касаясь рубашки. Он вздохнет, кадык на белой шее заходит вниз-вверх, глаза заблестят...

«Михайлику, какой ты чудной, какой ты зеленый! Никакой хитрости в тебе нет. Весь как на ладони. Любому готов довериться? А люди бывают всякие...»

Взрыв глухо толкнул в стекло. На том месте, где желтел лыжный костюм, выросло высокое пламя. Дора выскочила на крыльцо, спрыгнула на каменную землю. Страх толкал ее с такой силой, что казалось: не бежит она по белой дорожке, а летит по синему воздуху. Обогнув двухэтажное здание военкомата, вбежала во двор. Увидела перед глазами желтую куртку, остановилась, точно наткнулась на стену.

Хотелось завизжать от радости. Но только не здесь, не сейчас! Посмотри на того, кто лежит под попоной, — и радость твоя замрет.

Дора увидела: со стороны старой школы медленно поднималась к военкомату Анна Карповна. Вот она тяжело пригнулась. Переступила планку лаза. Выпрямилась. Увидела сына — свою любу дитину — живого, невредимого. Ей тоже, наверное, хотелось кричать от радости. Но не закричала. Она положила обе руки на затесанную вершинку столбика, держащего на себе забор, прихилилась к нему, обмякла.

Доре она была сейчас роднее родной матери. Подойти бы к ней, прижать ее беспомощные ладони к своим щекам...

Анна Карповна заметила Дору. Долго она не могла оторвать взгляда от ее белой кофточки, заправленной в синюю юбку-клеш.

Сын и Дора стояли близко друг от друга: Мишко немного впереди. Долго они будут стоять так перед глазами матери...

ГЛАВА 9

1

Лошадей вели расстреливать. Вели на длинных веревочных поводах. Они шли понуро. Глаза слезились. Из разъеденных язвами ноздрей свисала слизь. Их уводили по стерне, подальше от конюшен, за лесополосу. Мягкая земля оседала под медленными копытами, вздыхала.

Еще недавно эти копыта нетерпеливо били землю, тонкие ноги вздрагивали каждой жилочкой. Лошади высоко вскидывали головы, выгибали шеи дугами, сухие бархатные ноздри ловили степную прохладу, богатую запахами цветов и трав. Степь слышала их пронзительное ржание, солнце гладило их поджарые бока, отражалось на лоснящихся крупах. Ветер перебирал косматые гривы, ерошил челки на лбах, свистел в черных до синевы хвостах. Еще недавно с холодящим душу утробным ржанием они налетали друг на друга, лягались до одури, оставляя на боках следы копыт, с хрипом поднимались на дыбы, кусались до крови.

И все от избытка силы.

Но пришла беда — большая, непоправимая, и лошади опустили головы. Беда называется коротко: сап. Выход один: пуля и глубокая яма.

В стороне, приминая стерню тяжелыми яловыми сапогами, идет милиционер. Винтовка висит на ремне, поглядывая черным зрачком дула в чистое небо.

Вот и яма. На той стороне высится курган бурой глины, выброшенной железными лопатами. Пахнет сырой землей, точно на кладбище. Коням завязали глаза, их поодиночке подводят к яме. Милиционер обвил ремень винтовки вокруг левой руки, ставит локоть на колено. Прижавшись щекой к темному ложу, целится в крупную лошадиную голову.

После выстрела голова лошади вскидывается. Ослабевшие ноги подламываются. Лошадь опускается на колени, как бы прося пощады. Но пощады ждать поздно — пуля уже прошила голову. Туловище с громким выдохом валится набок. Если его умело подтолкнуть сапогом в момент падения, оно ухнет в яму. Если же оно повалится в другую сторону, придется брать за хвост и подтаскивать лошадь к яме.

Мать скакуна, что ходит под наркомом обороны, и в последний свой час оставалась сильной и гордой. Учуяв смерть, рванула повод. Пораженная острой пулей, она упала на спину, в сторону от ямы, и долго лягала холодное небо каменными копытами. Ее успокоила вторая пуля.

А по стерне, где провели лошадей, уже ходил, стирая их след, трактор, железный конь, не боящийся сапа. Он таскал за собой большой плуг; белыми лемехами плуг поднимал землю, переворачивал ее в воздухе и клал щетинистым лицом вниз.

Конезавод основан Екатериной II на казенных землях. Богатые выпасы, благодатные пашни, густотравные сенокосы, добротные конюшни, манеж с конусной деревянной крышей, ипподром под голубым небесным куполом, ветеринарная лечебница в зеленом сумраке вековых тополей, кирпичное здание дирекции, парк, клуб, рабочий поселок, сосновый гай — вот что такое конезавод. Здесь растили и холили рысаков и скакунов орловских, английских и арабских кровей.

В далекие царские времена на огневых конях гарцевали по-петушиному пестрые гусары. В наше рабоче-крестьянское время чудо-кони танцуют под червонными кавалеристами, мчат по земле крылатые пулеметные тачанки.

Красная Армия сильна своей конницей. Поэтому и ударили вороги по коннице.

Кто они, эти вороги?

Все думали об этом, но ответа не находили. На вторую ночь застрелился директор завода. На третью ночь многих арестовали. Взяли и Гафийкиного батька — злого, сухого тренера. Гафийка прибежала к Вальке, просила защиты. А что он может поделать? Тут и сам Торбина не в силах помочь.

Мишко не мог заснуть. Он слышал всхлипы матери, ее умоляющий шепот:

— Мотя, не ходи!.. Не соглашайся, Мотя! Пожалей своих деток... Ну какой ты директор? Там надо ученому человеку... Запрягать, хвосты коням крутить — это ты можешь. Но этого же мало!.. Не ходи, Мотя, не клади голову под секиру, сыночков пожалей!..

— Не спеши умирать, а то затылок заболит лежать! Расхлюпалась! Все равно треба куда-нибудь идти. Уже прислали нового зава. А мне говорят, выбирай, что любо: хочешь директором конезавода, хочешь — ступай в МТС. Бороновскую дают, нашего району, тоже директором. Я им говорю: не потяну, а они кажуть — потянешь. Ты, кажут, был трактористом, был головою коммуны, ты коммунист, значит, потянешь. А не потянешь — поклади партбилет на стол. Что, по-твоему, билет отдать?!

— Лучше в МТС. Там железяки. Никто их сапом не заразит. И цыгане тракторов не крадут. Спокойнее. Нехай будет Бороновка. Поедем в Бороновку. Поедем на край света — только подальше от конезавода!

— Не далекий свет! Километров двадцать всего дела. Добре. Поеду принимать. А ты поживи тут. Нехай Петько десятый кончает, и Мишко нехай дождется своего часу. Отправим сынов на учебу — до меня переберешься...

А всему-то виной был зоотехник конезавода, человек, которого меньше всего подозревали, человек, о котором говорили:«Тише воды, ниже травы...», — «Мухи не обидит...». «Поглядишь: ни рыба ни мясо, а заварил такое, что...»

И головой качали горестно.

Взяли зоотехника. Потянули за край этой веревочки. И повела повела она ой, как далеко!

Тренера отпустили, не замешан тренер. Отпустить отпустили, а страху хватил, видать, немало. Собрал вещички, что поценней да полегче, и мотнул аж за Кубань-речку. Спасибо, хоть дитя свое впопыхах не забыл прихватить — Гафийку, зазнобушку Валькину.

Директора тоже недолго бы держали. Да застрелился он. Хлипковатый был мужичонка. Всего боялся, на всех озирался. Топни ногой покрепче — задрожит, что холодец на тарелке.

2

Добрая выдалась осень. В безветренном воздухе легко плавали запоздалые паутинки отсиявшего бабьего лета. Низкое солнце светило ярко. В затишке даже пригревало. Утренний морозец пахнул укропом, мочеными яблоками.

Базары были на редкость шумными и богатыми. Гоготали красноногие гуси; сыто хрюкали подсвинки; мычали толстолобые бугаи, копая твердую землю острыми двупалыми копытами и кидая ее на себя: блеяли овцы, потряхивая тяжелыми курдюками. Белели горы скрипучей капусты, шуршала сухокожая цибуля, с треском лопались полосатые кавуны, ярко золотилась кукуруза, отливала тяжелой медью пшеница. Луговыми запахами радовал янтарный мед, жег глаза ярко-алый перец.

Над всеми красками и запахами стоял плотный гул человеческих голосов.

Отбазаровавшиеся дядьки садились у возов или у глухих стенок фанерных ларьков. Один из дядьков с хряском вышибал пробку твердой, как земля, ладонью, другой брал крупные зеленые перчины, складным ножичком вырезал донышко с прочным хвостиком и семенисто-белой сердцевиной. Хвостик с сердцевиной отбрасывал в сторону. В руках оставалась зеленая рюмочка. В эти посудины наливалась горилка и со словами «Дай бог не последняя» опрокидывалась в жаждущие глотки.

Закусывали той же посудиной-перчиной. Смачно получалось!..

Торбину арестовали ночью. Приехали за ним из Ворошиловграда. Взяли в райкоме, за работой, в кабинете на втором этаже. И проститься с сыном не дозволили.

Осень враз помрачнела.

Мишку не давал покоя вопрос: «Как же так: сирота, батрак, красногвардеец, луганский рабочий — и вдруг ворог народу?! Как же так?

Неужели сам себе ворог? Ворог своему сыну Вальке; ворог школярам, для которых построил школу; ворог колхозам, в которых дневал и ночевал; ворог полям, по которым шустро бегала его «эмка»? Ворог людям, с которыми жил рядом, которым улыбался, подсоблял, подавал рабочую крепкую руку? Ворог небу, которое его прикрывало; ворог солнцу, которое освещало ему дорогу; ворог Красному знамени, под которым выступал на митингах?! Значит, была только вражда, только злоба, а любви не было?.. Значит, его палила тайная ненависть ко всему живому, доброму?.. Как же так?!»

Кто ответит?

Все только вздыхают, поводят плечами, отводят очи. Почему? Видно, потому, что тоже ничего не знают. Потому, что их тоже мучает вопрос: «Как же так?!»

Может быть, те, кто постарше, не так удивляются. Они пережили и подполье, и тюрьмы, и гражданскую войну... Жизнь их мяла, колотила, окунала в воду, совала в огонь, выставляла на мороз. Они видели великие дела, но и жестокие тоже. Жизнь брала их безжалостной рукой за чуб и возила мордой по камням, разбивала носы в кровь. Она выжигала на их телах шрамы, секла волосы, морщинила лица. Они видели могучих, пламенных людей и людей продажных; видели трусов, которые становятся героями; видели героев, которые оказывались потом последними подлецами. Они это видели...

Но что делать Мишку? Кто ему поможет? Кто прикроет его обнаженное сердце, которое ранят все людские боли? Он ничего не видел, ничего не знает. Он бессилен. И от бесилия закипают слезы.

Спросил отца:

— Как же так?

Отец ответил неуверенно:

— Хто его знает. Раз взяли, значит, ворог. Говорят, давно к нему приглядывались. На вид добрый был человек и на работе справный. Но в душу же ему не залезешь!

Где же Валька? Почему он не приходит? В такой час не место обидам. Пришел бы, открылся. Все-таки Мишко — секретарь комитета комсомола. «Или, может, и Валька такой? Может, и вправду яблоко от яблони недалеко падает?»

Мишко узнал, что Валька не появлялся в школе после той самой ночи. Пошел к нему на квартиру.

— Нема бедного, нема голубя — полетел у Ворошиловград батька своего шукаты! — сказала хозяйка и заплакала, сморкаясь в передник.

Мишко чувствовал, что его скоро позовут в райком ЛКСМУ. И позвали.

Секретарь райкома — новый человек. По виду совсем не похож на партийного работника. Говорит мягко, руки холеные, костюм с иголочки, на шее голубой репсовый галстук. Он агроном. Недавно окон-

чил институт. Прислали в МТС. Не успел даже с полями познакомиться — на́ тебе, садись в секретарское кресло. Подчинился. На то воля районной конференции.

Секретарь — человек мягкий, но говорил довольно решительно.

— Где Валентин?

— У матери.

— Приедет — вызови, потолкуй с ним. Пусть напишет в районную газету. Пусть скажет, что он, честный комсомолец, воспитанный Советской властью, не имеет ничего общего с врагами народа и государства.

Точно камень с души свалился. Как все просто и ясно!

Мишко готовил комсомольское собрание. Приедет Валька. Напишет отречение, выступит на собрании — и все пойдет по-старому. Мишко никогда ему не напомнит о новогодней ночи. Шут с ней, с Людкой. Ее уже другие целуют. А обижаться на всех — сердца не хватит!

Но Валька спутал все карты. Из Ворошиловграда он приехал не прибитый горем, а решительный. Говорил на удивление смело:

— Я не иуда, отца не продам! Что вы о нем знаете? А я знаю каждую оспинку на его лице... родном лице... Я знаю каждый седой волосок, знаю, отчего он побелел... Заметку написать? Диктуйте, зараз напишу!..

Вот что сказал Валька! У Мишка дух перехватило. Слова вымолвить не мог.

Что ему было делать, как не идти в райком?

В райкоме приказали:

— Исключить из комсомола, исключить из школы! Такие разговоры — прямое пособничество врагу. А в моральном отношении чист Валентин Торбина? Ты секретарь комитета и, сдается, друг его — должен знать. Чист или нет?

Мишко вспомнил Гафийку, вспомнил Люду. Ему показалось, что и вправду не очень чист.

Секретарь райкома продолжал:

— Торбина-младший плохо учится, выпивает, разлагает учениц, защищает классового врага! Аргументов вполне достаточно. Вызовем Карпа Степановича, поговорим с ним. Решайте!

Карп Степанович, сидя под темным фикусом, рассудил так:

— Надо решать! Дело не шуточное. Нянчиться с ним не будем: взрослый человек, своя голова на плечах, пусть думает, что говорит.

Собрание гудело до полуночи. Голосовали и переголосовывали. Только на третий раз удалось набрать два лишних голоса, которые решили дело. Наступила тишина. В ушах зазвенело тонко и протяжно. Так звенит после оплеухи.

Они стоя́ли у стола друг против друга, на виду у всего собрания — Валентин Торбина и Михайло Супрун. Один в темно-коричневом костюме, другой — в своем лыжном бумазеевом. Кто они: друзья, враги,

невольные противники? Они этого пока не знали. Охвативший их ужас гнал по телу мелкую дрожь, стягивая кожу на щеках.

Мишко пересилил себя. И чужим голосом сказал, точно выстрелил Вальке в грудь:

— Поклади билет!

Валька тоже тихо и тоже не своим голосом ответил:

— Не покладу!

3

Ушел Валька из села, и следы замело. Ищи ветра в поле. Унес Валька обиду в сердце, унес комсомольский билет в кармане. И Мишко на бюро райкома схватил выговор: прошляпил, допустил политическое благодушие! «Попустительство», «потворство», «притупление бдительности» — много таких слов было наговорено.

Ушел Валька южной дорогой. Известно, куда она ведет — в Ворошиловград. Путь не близкий, считай, километров девяносто. Пешком в такую даль отправиться — дело рисковое. А тут, как назло, ударили морозы, белая крупа с неба посыпалась. Заволокло степь туманным мороком, даже столбов телеграфных не видать. А какой еще ориентир найдешь в голой степи?

Щемило сердце у Мишка. На душе было погано. Думалось, это он виноват во всем. Что-то не так сделал, не так сказал — вот беда и случилась.

К исходу третьего дня Мишко совсем приуныл. Вернулись из области колхозные подводы. Возчики привезли дурные вести. Говорят, какой-то хлопец замерз в степи у телеграфного столба. Прислонился спиной, вытянул руки вперед, точно греет их у костра, да так и окоченел. Лицо белое-белое, инеем покрылось. Щетина на лице выросла. Кто его знает, может, то и не сын Торбины, может, какой другой хлопец. Своими очами не видели — городищенские возчики сказывали. За что купили, за то и продают...

С Дорой тоже все покончено. На собрании она стояла за Вальку, кричала громче всех, взывая к справедливости:

— Это нечестно! Так не можно! Это не по-комсомольски!

После собрания, зло поджав губы, спросила:

— А от своего батька ты откажешься?

— У меня батько не ворог.

— А Торбина?

— Говорят...

Дора прикусила задрожавшую губу. Ей хотелось ударить ладонью по растерянному, оглупевшему, когда-то такому родному лицу Мишка. И она ударила, но не ладонью, а больнее — словами:

— Я не могу на тебя смотреть! Не хочу тебя видеть! Никогда, никогда! Чуешь?

Но Мишко словно оглох. Он понимал: произошло что-то непоправимое, но слов Доры не слышал.

В райкоме спрашивали:

— А кто такая Федора Пилипенко? Ты ее хорошо знаешь? Батько, сдается, нэпманом был? Не мешало бы тебе сходить в сельраду, узнать получше, что она за пташка. Только, видно, идти тебе не с руки! Говорят, ты кохаешься с ней... По уши ты, Михайло Супрун, завяз в оппортунизме. Пожалуй, придется скликать перевыборы. Придется тебя за ушко да на солнышко!

Стыдно было идти в сельраду, но Мишко всем назло — назло Доре, назло райкому, назло самому себе — пошел. На его счастье, там никого не оказалось: ни головы, ни секретаря.

Уборщица сказала:

— Да вы подождите трошки!

Мишко ждать не стал. Ему было так гадко, точно выплеснули на него цибарку с помоями.

Но с Дорой мириться не собирался. Он решил расстаться с ней навсегда.

Иван давно ему говорил:

— Слушай, ну что ты ухватился за ее юбку? Ты цены себе не знаешь. Нигде не бывал, ничего не видал. Не только свету, что в окошке! Поедешь в Москву, встретишь девушку, которая тебе и во сне не снилась! Будет с тобой рядом друг и советчик, способный понимать все твои мысли, желания. Она будет настоящей подругой... Помнишь, как жены декабристов пошли за мужьями в Сибирь? Вот идеал женской верности! А ты уцепился за «биле личко, чорни брови!» Не прочно, не надежно! По сути, Дора — мещанка. Любит приглаживать свои перышки, любит, чтобы на нее глазели. Ты этого не замечаешь, не способен заметить. Ты создал себе в душе идеальный образ и привязал его к Доре. Ты любишь свой вымысел. Отойди в сторонку, не встречайся с Дорой несколько месяцев, разберись в себе... Литфак тоже вымысел. Не будь дураком, иди в академию, пока есть возможность. Потом локти будешь кусать!..

Нет, он поедет в Киев. Заявление и аттестат пошлет сразу после Нового года. А с Дорой все покончено. Пусть ссора будет рубежом, через который им уже никогда не перешагнуть.

Балалайка сгорела в синем огне. Как отвести душу?

Карп Семенович дозволил ему взять на дом школьную светло-желтую скрипку фабричной работы. Ее недорого купили в писче-бумажной лавке. Скрипка оправдывала свое название: она действительно скри-

пела, точно полено под поперечной пилой. Но все-таки душу можно было отвести. Скрипка заставляла думать о чем-то далеком, желанном, неосознанном. Навалившиеся в последнее время несчастья уже не казались неизбывными.

В такие минуты Мишко чувствовал себя так, будто он один во всем огромном мире, будто разговаривает он сам с собой и никто его не видит, никто не слышит.

Но мать все видела и все слышала. Ей хотелось помочь сыну, а как — она не знала. Он отдалился, стал замкнутым и совсем взрослым. На его верхней губе и подбородке поднялась золотистая мягкая щетинка. В ящике его стола появилась темно-коричневая коробочка с блестящими металлическими частями безопасной бритвы — каждая лежит в своем бархатисто-мягком гнездышке.

В этот поздний вечер Мишко был один в доме. Постучали не в дверь, а в окно, что выходит в палисадник: значит, кто-то из друзей. Мишко прошел в сени, открыл засов, скрипнул дверью. Это был Яшка Пополит. Он долго уговаривал Мишка надеть пальто, совал в руки фуражку. Не сказал, куда они пойдут. Но Мишко знал.

Заложив руки за спину, прижавшись спиной к темным доскам изгороди, стояла Дора.

Яшка считал свое дело сделанным. Он радостно крикнул:

— Ну, пока!

И пошел прочь.

Надо было о чем-то говорить. И Мишко спросил:

— Где ты была?

— В клубе, — ответила Дора. — Хотела смотреть кино, да увидела Яшку, раздумала.

Они медленно пошли вдоль улицы. Лампочки на столбах, прикрытые сверху жестяными глубокими тарелками, бросали вниз золотые конуса света. В конусах — кутерьма «белых мух». За ними — темнота.

Ходили долго, бесцельно. Молчали. Зашли в пустынный двор пионерклуба, потоптались на мосту, поднялись по крутой Ракетной улице вверх, на гору. Постояли у обрыва. Казалось, они прощаются со всем, что было им дорого и свято. Казалось, они прощаются друг с другом.

Нужен был кто-то третий, кто старше и умнее их, кто взял бы их за руки и сказал: «Ну, довольно, успокойтесь!»

И все стало бы на свои места.

Но третьего не было.

У Доры с горечью прорвалось:

— Михайло, почему ты такой неприступный? Ты же видишь, как я унижаюсь! Ну, что мне делать? Встать перед тобой на колени? Ты ж хотел быть со мной, хотел моей любви... А теперь?.. Разглядел и отвернулся? Правду говорят: издали завлекает, а вблизи пугает... Сама пришла, сама повесилась тебе на шею. Как стыдно!

Он уже готов был сдаться, но упрямство взяло верх. Проглотив сухую слюну, он буркнул:

— Пора по домам...

ГЛАВА 10

1

Такой высокой воды еще никогда не бывало. Она разом хлынула с косогоров, затопила левады. Речка еще не готова была принять буйную воду. Поэтому пустила ее, мутную, поверх льда, сохранив под ним нетронутой свою исконную, родниково-чистую водицу. Но хмельное половодье кружило воронки, рвало берега, устремлялось в проруби, раздвигало трещины, продавленные в ледяном панцире зимними морозами. И река сдалась.

Лед тронулся. Ломанный, он называется кри́гой. Крига напирала так, что стонали мостовые быки. Их ошинованные железом бока прогибались под тяжестью очумевших льдин. Крига проходила под самым настилом высокого моста, охватывала глинистые стены хат, глядящих на реку остекленевшими от ужаса глазами.

Высокое солнце припекало. Над подсохнувшими пригорками дрожали нетерпеливые жаворонки. А лед все шел и шел. Он двигался с севера, с той стороны, откуда прилетают остудные ветры. Казалось, не будет ему конца-краю.

Когда долго смотришь на полую воду, голова начинает хмелеть, кружиться.

Мишко облокотился на перила. Под ним мелко подрагивал, точно палуба корабля, деревянный настил моста. Подрагивали перила. Дрожь передавалась телу. Течение быстрое, пенистое. Но казалось, то не вода убегает назад, то мост-корабль плывет, рассекая струи, разбивая крижины острым килем-быком.

Вон слева, на горке, Дорина хата. Прощай, Дора, корабль движется неумолимо. Остановить его никто не в силах!

По самому стрежню шла серая продолговатая крижина. На ней Мишко увидел самодельный конек, точь-в-точь такой, на каком катался в детстве.

У конька ясеневая колодочка. Снизу пущена железная проволока. Оба конца ее загнуты и утоплены в торцах колодочки. Деревяшка прожжена спереди и сзади раскаленным добела длинным гвоздем. В скважины продеты веревочки. Они хитро перекрещиваются на старом валенке и накручиваются палочкой. Так натягивают лучковую пилу.

Правая нога на коньке, левая бежит сбоку, подталкивает. Когда

разгонишься так, что ветерок запустит холодные пальцы под шапку, можешь левую ногу поставить на носок правой. Катись в свое удовольствие!

Всего-то дела — деревяшка да кусок ржавой проволоки, найденной на пепелище. А сколько радости!

Крижина равнодушно проскользнула под мостом, закачалась на бурунах другой стороны. Конек уменьшился до размеров точки и пропал. Но ты мысленно можешь последовать за ним, проследить его путь. Река понесет его вдоль меловой гряды, то приближаясь к отвесным белым стенам, то опять удаляясь в луга. На своем пути она встретит воды более могучей реки. Северным Донцом ее называют. Донец бережно примет на чешуйчатую спину и крижину и конек на ней. Донец повернет на восток, выбежит в степи казацкие, устремится к батьке своему — тихому Дону.

Кто знает, может быть, горячее солнце, что светит над Ростовом-городом, вконец растопит рыхлую крижину; может быть, отяжелевший от полой воды, медленно утонет конечек. А может быть, и уцелеет крижина, может быть, прижавшись к ней, он увидит широкую азовскую воду. Тогда поплывет он, покачиваясь в ласковом солнце, мимо Таганрога и Мариуполя, увидит кручи рыбацкого села Петровки, увидит лиман, долину. По той долине течет речка Берда. Свои нешумные, неглубокие воды она тоже несет в Азовское море.

На той речке когда-то и оставил свой конек Мишко Супрун.

Но пока рано жалеть о прошлом. Гляди вперед, куда несет тебя мост-корабль. Приглядывайся к сизой дымке горизонта, откуда потягивает заманчивым холодком новизны и неизвестности.

Проходит время, и все образуется.

Бешеные воды схлынули. На месте трескучего бурого очерета, шумевшего всю зиму и начисто стертого ледоходом, показались ярко-зеленые, нацеленные в зенит пики молодых побегов. Желтовато-пушистые сережки, точно выбравшиеся из яйца утята, густо уселись на прутиках верболоза. Крупные почки торопливой сирени взорвались, выметнув зародыши букетов и острия листочков. Под стенами хат, на самом сугреве, подняли свои зеленые ножи петушки. Из середины они вытолкнули высоко вверх зеленые головки на сочных ножках. Головки разлупились и увенчались фиолетово-синими задористыми гребешками. А посмотри на огоньки тюльпанов. Они слепят глаза. До них боязно дотронуться — обожгут. Вот пчелы — те не боятся. Лезут в самую середину пламени, рискуя растопить свои прозрачно-восковые тельца.

Только акация не торопится. Она стоит сухая, выставив острые колючки. На ветках висят плоские, коричневые до черноты стручки. Они мертвенно шипят на ветру. Акация ждет настоящего тепла. И когда оно придет, она, не торопясь, распушит свой летний наряд. Вначале выпустит на свободу мелкие листочки. Затем, во второй половине мая,

выждав, когда спадет буйство сирени (с сиренью ей нелегко тягаться!), выбросит пышные кисти. Она заметет все село белыми сугробами, она задушит все цветы своим цветом, заглушит все запахи своим запахом. И никто уже ей противостоять не сможет, потому что все слишком торопились, выдохлись. А она умеет ждать, она терпелива!

Матвея Семеновича весна вымотала, по его словам, «як сукиного сына». Домой он не приезжал: по такой грязюке машина не пойдет, сядет дифером на гребень, что вырос между глубокими колеями. Кричи тогда: «Рятуйте, люди добрые!»

Хозяйство досталось новому директору неважное — где пнешь, там и валится! Все на помочах, все на подпорках. Инвентарь зимовал в борозде. Пришлось гнать тракторы по заносам, все свозить в мастерскую.

Матвей Семенович даже на квартиру не определился. Спал в конторе на сдвинутых столах, под голову клал папки с дубликатами нарядов. Питался в столовой. Ну, а если засиживался долго на заседаниях, приходилось вместо ужина довольствоваться кружкой холодной воды. Добро, что бачок с водой стоит в коридоре. Кружка посажена на цепь возле бачка, точно собака у хаты. Это чтобы не отлучилась куда ненароком.

Ветер задубил впалые щеки, глаза ввалились от недосыпу. Постарел Матвей Семенович, ярче засеребрились над ушами нестриженые волосы. Когда первые весенние дожди уплотнили распухшую за зиму землю, когда благостное солнце просушило дорогу, он приехал домой.

Сбросив тяжелое пальто на кушетку, отец радостно взъерошил Мишку волосы. Тепла была отцовская ладонь, но Мишко считал, что давно вышел из того возраста, когда вот так ерошат чуприну, и увильнул из-под руки. Отец не обиделся. Усмехаясь, он протянул:

— Хо-хо! Сурьезна птица!..

Петьку он привез старую бобину. Бобина сидит в аккуратном деревянном ящичке. Она богата фольгой и проводничком, что тоньше волоса. Проводничок позарез нужен Петьку для радиокатушек. Ну, теперь он начнет мотать! Он уже знает, как приспособить для этого дела швейную машинку. Вот только не знает, дозволит ли мать измываться над ее святая святых.

Отец потолкал в углу медную сосульку жестяного рукомойника, взялся за полотенце. Полушутя, полусерьезно сказал:

— Ну, мать, благослови. Весь инвентарь приготовили. Сеялки наладили. Зерно протравили, ланы разбили под разные культуры. Завтра выходим в поле — сеять выходим!..

Неверующая Анна Карповна ответила серьезно и весомо:

— Слава богу!

Он догнал ее у почты. Забежал наперед, попросил:

— Остановись!

Дора гневно мотнула головой:

— Что тебе нужно? Я не хочу тебя видеть!..

Мишко улыбнулся с такой грустью, что у нее сердце захолонуло. Она почувствовала близость чего-то большого и недоброго, рядом с которым их ссора показалась смешной и никчемной.

Он протянул ей повестку из военкомата.

— Полюбуйся!

Она взяла листок из подрагивающей руки Мишка, чтобы глазами убедиться в том, в чем уже уверилась чутким на всякую беду сердцем.

— Когда?

Мишко с горькой усмешкой кивнул на листик:

— Там же сказано: на комиссию — завтра. А повезут, наверно, после свята.

2

В середине апреля Матвея Семеновича вызвали в область. Там он купил на собранные Мишком деньги костюм-тройку стального цвета. Долго примеряли, долго ахали, разглаживая его на Мишковых боках.

Анна Карповна, отойдя в сторонку, положила кулаки на бедра, сказала:

— Да куда к шутам! Я еще такого сроду не видала. На козе не подъедешь. Совсем парубок!

Матвей Семенович, довольный удачной покупкой, заметил:

— А ты думала как? Это тебе не фунт изюму!

Костюм бережно сложили и спрятали в скрыню (сундук) до майских праздников. Мишку нравится скрыня. Она покрыта темным лаком и размалевана желтыми цветами. На крышке золотой ромб, в ромбе под роскошным золотым деревом сидят, обнявшись, пастух и пастушка. В стороне пасутся золоторунные овцы, на которых влюбленные не обращают никакого внимания.

И вот сочный луч первомайского утра упал на скрыню. Она запела всеми пружинами замка, запела с грустью, точно знала, что дает костюм его хозяину в первый и последний раз.

Мишко принял его в руки, как сокровище. Белая прохладная рубашка славно легла на плечи, обняла грудь. Поверх нее Мишко надел пиджак — бережно, словно боялся измять девственную белизну рубашки.

Матвей Семенович вилкой выковырял пробку из полбутылки, вытер ладонью горлышко, придвинул к себе четыре граненых стакана. Петьку он налил четверть стакана, Анне Карповне и Мишку — по половине, себе — полный. Держа вино на уровне глаз, начал:

— Ну, за Первое мая, значит!.. Ваньку́ нехай легонько икнётся! А ты, Мишко, смотри, щоб то... Щоб все было, как надо... Щоб, как у людей...

Он не договорил, но семья поняла его пожелание. Анна Карповна поднесла к глазам кончик платка.

Мишко давно собирался спросить отца, но решился только сейчас.

— Вальку там не видел?

— Нет, не видел. — Оживившись, добавил: — А старого Торбину зазря обидели! Оговор — будто саботировал хлебозаготовки. Не вышло: гнилыми нитками шито! Сейчас в Славянске лечится. Сердце, говорят, того... Перегрелось трошки.

Мишко онемел от радости.

Торбина на воле! А его сын?

Валька! Неужели ты так и остался сидеть у степного столба, среди белой морозной кутерьмы? Неужели не нашлись добрые души, которые бы спасли тебя, вернули бы горячее дыхание, открыли глаза твои, так жадно смотревшие на мир из-под пепельно-сизых ресниц? Подай о себе знать! Сними гирю с души...

Ходил на демонстрацию. Носил трехрожковую веточку дымной сирени. Носил стыдливо, делая вид, будто она попала в руки случайно: попросили, мол, подержать, вот и держу — разве откажешь! Помахивал ею, точно мух отгонял. А сам жадно ловил ее запах, а самому хотелось сунуть ее, прохладную, за пазуху, придушить у сердца сильно-сильно или пристально разглядеть лепестки, поискать, не найдется ли пятипалого, счастливого цветка? Такой цветок надо тут же съесть, чтобы всегда тебе сопутствовала удача. Как много условностей в жизни: хочется одного, а делаешь другое. Почему так?

После демонстрации Дора с отчаянной решимостью взяла Мишка под руку и потащила к своей тете, за речку.

Их встретили радушно, посадили на заглавные места. Кто-то заплетающимся языком вымолвил «Горько!» Не зря говорят: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

На самом деле, почему бы им не пожениться?.. Но нет, не об этом думали. Женитьба для них была заманчивой, но далекой, очень далекой целью, к которой надо идти долго, через множество препятствий. А вот так сразу взять и жениться? Нет! Слишком это просто и потому никак невозможно.

Глупые, наивные, милые дети!..

За столом Мишко держался молодцом, хотя добросердечный хозяин щедро наливал ему в стакан напитки разных цветов и разной лютости. А в саду, качаясь в гамаке, опьянел. Густое солнце разморило его вконец. Пошли с Дорой на реку, сели в плоскодонку. Он хотел было

снять костюм, отливающий сталью, чистую сорочку и бултыхнуться в тиховодье. Но Дора, поймав его за рукав, удивилась:

— Что ты, рехнулся? Вода холодная!

3

Их построили во дворе военкомата и повели за мост, на санобработку. Построили по три, скомандовали: «Шагом, марш!» Сначала пытались подсчитывать ножку, но скоро убедились, что это дело безнадежное. Хлопцы шли не строем, а, скорее, отарой. Отчаянно скребли землю — кто ботинками, кто резиновыми тапочками, кто голыми ступнями. Над ними поднялась светлая хмарка пыли.

Подворье военного городка широкое, чистое. Плотно утоптанная земля припорошена золотистым песочком. Кирпичные зубчатые ограждения цветочных клумб, деревянные заборы, стволы акаций добела выкрашены известью. Баня — в обыкновенной хате, перестроенной для такой надобности. А парилки, куда суют барахло, стоят тут же, на подворье. Они похожи на паровики, которые крутят молотилки на токах.

Щекотливо-холодная блестящая машинка свалила чубы на плечи, обнажила иссиня-белые головы. Теперь ярче проступал густой загар на лицах и шеях. Хлопцы невольно тянули руки к темени, гладили против шерсти низенькую стерню-нулевку.

В бане мочалками натирали друг другу спины до крови. Озорники оглушительно хлопали ладонями по молочно-белым задам приятелей.

Белье, пропущенное через защитные парилки, стало бурым и горячим. Верхняя одежда поблекла и смялась, будто корова жевала, жевала ее и, не разжевав, выплюнула.

Возвращались притихшие, почужевшие.

Над площадью висел гомон провожающих. Они глазами разыскивали родных и знакомых хлопцев и не могли найти их в строю стриженых, распаренных новобранцев.

Духовой оркестр, гудя блестящей медью, неторопливо начал старинный вальс «Над волнами». Мишко любил его. Впервые он услышал этот вальс в Бердянске, в саду летнего кинотеатра «Червона зирка». Но тогда в оркестровых голосах не слышалось ничего тревожного. А теперь кларнет временами взвизгивает резко, напоминая зов военной трубы, барабан бухает с такой силой, точно где-то за горой начинается канонада.

Тревога была объяснимой. Шел год тридцать девятый. Из середины Европы западные ветры доносили пороховую горечь.

Анна Карповна, обогнув угол райкома, торопилась к военкомату. Мишко следил за матерью. Она близоруко щурилась; приставив ладонь ко лбу козырьком, высматривала сына в толпе, спотыкалась.

У Мишка защемило под веками. Захотелось подбежать к матери, усадить ее на теплую траву, положить свою голову ей на колени. От матери пахнет сушеными вишнями, дрожжами, стиральным мылом. Разве можно забыть эти запахи?

Дора пришла вместе с Яшкой-корешком. На ее по-девичьи невысокой груди, обтянутой белой кофтой, чернел тяжелый Яшкин бинокль. Она старалась казаться веселой. Смеялась, поблескивая зубами, встряхивала головой, поправляла светло-золотистые, коротко подстриженные волосы.

Мишко даже издали различал густые веснушки на ее носу. Он знал, что никого на свете нет веселее Доры и никого нет печальнее.

Скоро подадут команду «По машинам!», стрельнут моторы, выкинув синий чад, от которого слезятся глаза.

Мишко вдруг почувствовал, что мир разделился на две части и между ними пролегла разкая граница. По ту сторону осталась мать с тоской в глазах, Петько, стоящий у высоких ворот военкомата; по ту сторону осталась Дора с черным биноклем на груди, Яшка Пополит, Рася, принесший на прощание самосаду с душистыми корешками; по ту сторону остался батько с его тракторами и молотилками, с его дневными заботами и бессонными ночами; Иван с его книгами и логарифмической линейкой, напевающий, жестоко фальшивя, любимую арию «О Роз-Мари, о Мери — цветок душистых прерий». Все они остались в прежнем мире, где каждый волен в своих желаниях, свободен в своих движениях.

По эту сторону, рядом с Мишком, стоят стриженные под одну машинку хлопцы. Их воля, их движения отныне подчинены кому-то сильному, властному. Нет, не военкому, он тоже ходит под этим сильным и властным. И не командиру с тремя рубиновыми треугольниками в петлице, который приехал издалека и будет сопровождать в далеком пути мобилизованную зелень. Не им подчинены хлопцы. Они подчинены воинскому долгу. Пришел их час охранять государство. Страна их растила и воспитывала. Она кормила их, поила, учила. До этого часа они только брали у нее. Теперь пришло время отдавать. Мишко понимал это. И его личные неудачи показались мелкими, малостоящими.

Едва заметная хмарка, выплывшая из-за горизонта, разрастаясь, потянулась навстречу солнцу.

Когда новобранцы плотно уселись за зелеными бортами грузовиков, хмара кинула на землю первую тень. Машины тронулись, качнув дорогой груз, толпа кинулась вслед. В густом гуле потонули стоны, причитания матерей. Потонули, но не были заглушены. Те, по которым стонали, слышали голоса матерей прозревшими сердцами.

Прощайте, Белые Воды! Прощайте и простите! Мишко виноват перед вами. Когда-то вы показались ему чужими, неприветливыми. Прощайте, высокие каменные дома центра; прощайте, низко присевшие к

земле хатки окраины. Многое бы Мишко отдал за то, чтобы еще раз пройти по теплой пыли ваших улиц. Прощайте, белобокая гора, темнеющий в долине лесок! В том леске есть поляна, на зеленой ладони которой греются удивительные цветы ромашки. Они широко открывают свои желтые глаза в белых ресницах, жадно смотрят на яркое солнце, не мигая и не боясь ослепнуть. Прощайте, горячие воронцы — пунцовые цветы юности! Прощай, добрая речка! Мишко уезжает в большой мир, к великим океанам, куда и ты пытаешься донести свои наивные воды!..

Грузовик долго будет пылить по степной дороге. Затем пересечет рельсы, повернет к новому вокзалу Старобельска. В Старобельске ручеек новобранцев из Белых Вод вольется в более широкий поток будущих солдат. В Ворошиловграде этот поток раздастся еще шире. И расти ему, расти до могучего разлива, от которого захватывает дух.

А над осиротевшими Белыми Водами туча закроет солнце. Дора вернется домой. Она не пойдет в хату. Долго будет стоять на веранде, смотреть в огород, на цветущее абрикосовое дерево. Вдруг вспомнит, как качнулась в машине стриженая голова Мишка. Боль толкнет под сердце. Не помня себя, Дора отвернется к стене, застучит по ней бессильными кулаками.

— Як же так?!

Этот стон до озноба испугает мать, заставит вздрогнуть каменное сердце Максима Пилипенко.

Подымется ветер. Он качнет одинокое дерево в огороде. Сорвет розовато-белые лепестки. Туча, затянувшая небо, уронит крупные капли. Дождь пройдется босыми пятками, сомнет лепестки, втопчет их в сыру землю.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

1

Горели деревянные окраины Таллина. Бурые клубы дыма медленно поднимались в августовское небо. В безветрии они образовали плотную тучу. Подпаленная снизу, она тяжело навалилась на город. Казалось, серо-каменные дома центра боязливо приникли к земле. Только свинцово-темная башня Вышгорода «Длинный Герман» да шпиль церкви Олавистэ стояли бесстрашно.

Город не знал ночи. В любое время суток здесь было светло от пожаров.

Бои уже подкатились к окраинам...

Таллин удобно раскинулся на склоне, у обширной бухты. Посмотришь с рейда: дома подошли к самой воде. Город смотрит на север, охватывая бухту подковой. Иногда кажется, что он простер руки и обнял частицу моря, прижал к себе, боясь с ним расстаться. Правая его рука протянулась по восточному берегу бухты: там Кадриорг, в парке белеет «Русалка» — памятник погибшему броненосцу. Дальше — Пирита, лиловая лента пляжа, черный сосновый бор. Левая рука тянется по западному берегу. Это песчаный полуостров Пальяссаар, рыбачьи деревянные домишки, на самом мысу — минные хранилища, бетонированные холодные погреба. Отсюда виден дремучий остров Найссаар. Он стережет вход в бухту.

У стенок и на всем пространстве рейда теснятся суда: крейсер, лидеры, эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, быстроходные тральщики, торпедные катера, катера-охотники — основные силы Балтийского флота. И на рейде и у стенок стоят военные транспорты, грузопассажирские суда. Столько кораблей — морю тесно!

Городу тоже тесно. Он вобрал в себя отступившие армейские части, недавно сформированные батальоны морской пехоты и беженцев из множества местечек и хуторов.

Кажется, вся Прибалтика столпилась в таллинских узеньких улочках, ищет крова и защиты.

Дом стоит на песчаном бугре Пальяссаара. Небольшими окнами он смотрит на город. Окна пылают. Кажется, пожар бушует внутри дома, а не на той стороне бухты.

В глазах Марты тоже отблеск огня. Марта молчит. Она прислонилась плечом к стволу невысокой ветлы.

Чем ей помочь? Она кажется одинокой, совсем беззащитной под багровой тучей, нависшей над городом. Михайлу хочется положить ладонь на плечо девушки, но он робеет. Положил руку рядом, на сухую кору дерева. У обшлага темной суконки золотятся две узенькие нашивки старшины второй статьи.

Михайло Супрун — минер. Его сторожевой корабль пришел в Таллин прошлым летом. Небо было голубым, море ясным. Город радостно гудел. Везде алые полотнища. По площади валом валил народ... Эстония стала советской.

А теперь все перевернулось. Нет Литвы, нет Латвии, нет Эстонии. Остался догорающий Таллин. Слышно, как взахлеб строчат пулеметы. Совсем близко — удары армейских орудий. По временам медленно поднимают свои тяжелые шеи корабельные пушки. Они гавкают так зло, так оглушительно, что потом в ушах долго-долго стоит густой звон.

Таллин доживает последние часы. Завтра портовый буксир разведет бонные заграждения — и корабли, строго соблюдая субординацию, выйдут в море. Крейсер — флагманский корабль — уступит дорогу тральщикам и по протраленному фарватеру поведет флот на восток, в Кронштадт, к своему изначальному причалу.

Сторожевик Михайла Супруна пойдет в охранении третьего, последнего, каравана. Сейчас сторожевик стоит у стенки Пальяссаара. Он принял на борт мины БГ-4 (БГ-4 — это большие германские мины. Много их оставили немцы в погребах Дальнего Пальяссаара в сороковом году). Когда эстонец Юхан — моторист минного склада — подогнал мотовоз, была сыграна авральная тревога. Груз принят, принайтовлен к палубным рельсам, то есть закреплен по-походному. Михайло приготовил мины к постановке: ввинтил взрыватели, задал вьюшкам минрепа глубину, положил сахар в предохранители.

Как помочь Марте?

Плечи ее, обтянутые шерстяной кофтой, вздрагивают. Белое до синевы лицо окаменело. Под глазами темные круги. Волосы Марты ложатся на плечи светлыми завитками. Днем они отливают желтизной, а сейчас кажутся седыми.

Марте нельзя здесь оставаться. Завтра придут немцы. Ее не пощадят: она внучка Кузнецова, питерского рабочего, случайно оставшегося в революцию здесь, в бывшем Ревеле.

Кузнецову за семьдесят, борода белым-бела, но он и поныне во-

зится с минами, работает в мастерских. Михайло встречался с ним каждый раз, когда сторожевик приходил за грузом. И в доме Кузнецова приходилось бывать, вот в этом самом доме. Старик всегда угощал чаем с малиновым вареньем, зятьком величал. А какой Михайло зятек? Нынче здесь, а завтра там. К тому же у него в Белых Водах осталась Дора. Михайлу нравится Марта, но как-то по-другому, иначе, чем Дора. Старик Кузнецов должен бы звать зятьком Юхана — это надежнее: Юхан под рукой. Всегда возле Марты. Она тоже работает в минных мастерских. Часто с Дальнего Пальяссаара едет к дому, примостившись на кирзовом сиденье мотовоза рядом с улыбчивым Юханом. Он рослый, похож не на эстонца, а, скорее, на цыгана: волосы темные и вьются, глаза крупные, черносливовые.

Юхан пасмурен в последнее время. В разговоре часто поминает «кура́та», черта по-эстонски. Война тому виной или старшина второй статьи со сторожевого корабля? Конечно, война. Если б ее не было, то и старшина не появлялся бы так часто на Пальяссааре.

Михайло уговаривает Марту идти в Кронштадт с ним на сторожевике. Она молчит. О чем думает? Почему не сводит глаза с зарева таллинского пожара? Может, там в огне сгорает все, чем она жила, на что надеялась, к чему стремилась?

У стенки, рядом со сторожевиком, стоит самоходная баржа-торпедовоз. Кузнецов говорил с мичманом, командиром самоходной, тот обещал взять Марту. Самоходка — судно минно-торпедного отдела. Склады, где работает Марта, находятся в ведении того же отдела. Поэтому договориться было нетрудно. А возьмет ли ее командир сторожевика? Пожалуй, еще подумает: на военном корабле — посторонний человек, да еще женщина?! Но Михайлу кажется, если бы Марта согласилась, он уломал бы своего старлея (так называют на флоте старшего лейтенанта).

Тяжелей всего стоять молча.

Михайло достает ребристый пластмассовый портсигар, разминает длинную, тонкую, точно шпилька, папиросу «Маретт». Марта выдергивает у него изо рта папиросу, подносит к своим губам. Она дымит лихорадочно.

— Ну, как же, Марта?..

— Посмотри. — Она кивает на зарево. — Разве от этого можно уйти?

Затем отталкивается от ветлы, запрокидывает голову, покорно опускает руки.

— Целуй меня, целуй!

Михайло стоит оторопело.

— Целуй!.. Я не знаю... Я хочу... — не то просит, не то приказывает она.

Он медленно кладет руку на плечо Марты, ладонью другой касается ее холодной щеки. Она подалась к нему по-девичьи ладным телом.

2

Сторожевые корабли «Снег», «Буря», «Циклон» моряки называют дивизионом плохой погоды. Иногда вместо «плохой» подыскивают определение покрепче.

Михайло Супрун после учебного отряда попал не на эскадренный миноносец, как того хотел, а на сторожевик «Снег». На сторожевике есть и орудия, и торпедные аппараты, и минное и зенитное вооружение. Но сторожевик все-таки вчерашний день флота. А вот двухтрубные эсминцы серии «С» и однотрубные серии «Г» — день сегодняшний. Михайло видел и завтрашний день: миноносец «О» с прямоточными рамзинскими котлами. Как-то корабль вышел на ходовые испытания, дал «полный». Покатилась такая волна, что сорвало пирс на Ленинградской пристани в Кронштадте.

У «Сметливого» ходик тоже дай бог. На самом «полном», уверяют, он может проскочить заминированный квадрат. Мины будут лопаться позади, на безопасном расстоянии.

А «Снегу» не проскочить: не те дизели. Утешает одно: моряцкая служба долгая, успеем поплавать и на новой «посудине».

28 августа 1941 года перед восходом солнца «Буря» и «Циклон» вышли за бонные ограждения. Они дали самый «полный». За их кормами клубился плотный белый дым. Корабли ставили завесу. На отдаленных высотах сверкнули вспышки. Сзади, спереди сторожевиков взметнулись розовато-серые водяные столбы. Затем долетели хлопки разрывов и только после них — тяжелые орудийные выдохи.

«Снег» ставил завесу в Минной гавани. Он подошел поближе к торпедным мастерским, задымил густо, потянул дымную стенку вдоль причалов. Затем пошел в Купеческую гавань, пронесся мимо стапелей, пакгаузов, длинношеих кранов. С борта Михайло видел теснящихся на бетонных пристанях людей. Разномастный народ: кто в зеленой армейской форме, кто в темной флотской, кто в пестрой гражданской одежде. Люди протягивают руки, просят помощи, грозят оружием. А ты стоишь, смотришь на них и ничего поделать не можешь. Видишь, как в верхних переулках немец устанавливает минометы. Вот уже мины шмякаются в воду, рвутся на самой стенке. А люди — кто куда: кто, свалясь в море, идет ко дну, кто плывет вперед, на что-то уповая, кто метнулся в каменные закоулки, надеясь выбраться подальше за город, в леса...

Нашлись и такие, которые из подворотен, из окон, с чердаков стреляют нашим в затылок. Немало таких. Они косо смотрели на нас, когда мы впервые вышли на берег. Затем, почуяв, в чьи паруса дует ветер, угодливо кланялись нам, лебезили. Нынешним летом ветер пере-

менился. И они переложили рули. На кладбище, что у самой гавани, на улице Теэстузе, патруль на днях взял целую группу: сидели в бетонированной могиле с передатчиком.

Позавчера налетели «юнкерсы-87», кольцом кружили выше дымной тучи, накрывшей город. Отрываясь по одному, ныряли в тучу, безошибочно выходя на крейсер «Киров».

Чья рука наводила?

Радисты засекли передатчик. Через час все было кончено. Крейсерский баркас, дружно взмахнув шестнадцатью веслами, подошел к рыбацкому суденышку. Восемь человек команды вывезены в Пириту, в лес, и расстреляны.

Скажете, жестоко? Без суда, без следствия... А было ли время?

Было ли время разбираться лидеру «Минск», когда в час ночного налета его подсветила лучом прожектора шхуна, стоявшая у Пальяссаара, шхуна, на которую недавно погрузили глубинные бомбы, которая должна была идти с кораблями в Кронштадт?

Лидер накрыл ее залпом кормовых орудий. В ночное небо взлетели огненные ошметки. Вдруг стало темно и тихо.

Такие враги намного страшнее открытых. Истина старая, но справедливая.

Жестяные бочоночки защитного цвета, установленные на корме, дымили вовсю. Изжелта-белые копны дыма мягко ложились на воду, разрастались, прикрывая непроглядной завесой все, что надо было скрыть на рейде. Бочоночки перегревались — краска на них корежилась, рыжела.

Михайло заметил, что брезент, которым была прикрыта крайняя мина, тлеет. По брезенту пробежало легкое пламя. Темно-зеленая краска минного корпуса начала подгорать, пузыриться. Михайло попытался задушить огонь голыми руками. Он мял брезент, рвал его. До слез горячо, а толку никакого. Сорвал с себя бушлат. Черной галкой взлетел бушлат над головой, ударил суконными полами по брезенту. Раз ударил, два — и нету пламени. Михайло накрепко прижал бушлат к тлеющему месту. Делу конец! Только вот полу прожег до подкладки.

— Старшину Супруна к комиссару!..

Михайло метнулся в сторону шкафута. По крашенной суриком палубе цвякали железные набойки его ботинок.

Капитан-лейтенант Гусельников — командир дивизиона сторожевых кораблей — обосновался на «Снеге». Человек он добрый, мягкий, голоса никогда не повысит. В его каюте на койке лежит гитара, сидит пушистый кот-сибиряк. Конечно, кот на корабле, пусть он самой рассибирской породы, не дело. Но что попишешь? Комиссар жить без него не может. Даже на политзанятиях держит кота на коленях. Он и на

гитаре славно играет. «Проскочу, прозвеню бубенцами...» — то и дело доносится из его каюты.

Командир не любит своего начальника. За глаза скоморохом обзывает. Его можно понять. Каждый командир стремится к самостоятельности, желает быть полновластным хозяином на своей железной территории. А вот поселятся у тебя на корабле такие «постояльцы» — и чувствуешь, что спутан по рукам и по ногам! Одного добился старший лейтенант: комиссар зря не торчит на мостике. А если когда и поднимается, то стоит молча.

— Скоро ли угонишь свое стадо рогатое? — сказал он Супруну с притворной строгостью. — Не ровен час, поднимешь всех к богу в рай... Ну что, опекся? — спросил участливо. — На, возьми мыло. Поплюй на ожоги, потри. Во-во, гуще. Что, щиплет? А ты как думал?.. Теперь хвати! — Он налил из термоса в стакан чистого спирта. Поднес к глазам — маловато. Чуток добавил. — Тяни!

Михайло выпил. Дух зашибло.

— Гляди, Супрун, все мы под тобой ходим! Брызнет дождь, сахар в предохранителях растает, что тогда?

— Ничего не случится до самой смерти! — отшутился Михайло. Пускаться в объяснения бесполезно: знал, что в минном деле комиссар, как говорят матросы, ничего «не рубит». — Полный порядок, товарищ комиссар!

Нет, что ни говори, Михайлу Супруну нравится комиссар Гусельников! Чем-то напоминает он далекого Леонтия Леонтьевича, учителя русской литературы.

У нижнего рея фок-мачты показались знаки: «Начать минную постановку!» Приказание повторено с мостика в мегафон. Михайло встал на корме по правому борту, Тимошин — второй минер — по левому. Командир БЧ-3 (третьей боевой части) — между рядами мин, чуть впереди по ходу корабля. Посмотрев на секундомер, он скомандовал:

— Правая!..

Супрун столкнул мину, успев выдернуть чеку свинцового груза. Все устройство тяжело ухнуло в темную воду, образовав глубокую воронку. Стенки ее с треском сомкнулись, поднимая крупные брызги. Рогатая голова выпрыгнула на поверхность и, удаляясь, угрожающе долго покачивалась на белом буруне.

«А что, если не встанет на заданное углубление, не сработает стопор? Тогда пиши пропало! Поле обнаружено...»

В груди у Михайла похолодело. Он один изучал эти мины. Он один их готовил. Он и отвечать будет один.

Но вот лобастое чудище, дернутое снизу стальным тросом — минрепом, наскоро качнуло темной головой и ушло на свое место. Так-то спокойней!

— Левая!..

Тимошин толкнул левую.

После повторной команды «Правая!» — интервал. Затем опять три штуки нырнули в воду. Это называется: постановка банками.

Корабль петлял.

Миновали боны и пошли фарватером.

У острова Найссаар лежали в дрейфе корабли. Исполины светло-сиреневого цвета в утренней дымке казались фантастическими существами. У крейсера, лидеров и новых эсминцев трубы широкие, сдавленные с боков, чуть отклоненные назад. По самому верху обведены черной каймой. У старых миноносцев «Калинин», «Яков Свердлов» трубы прямые, высокие, точно колонны.

Транспорты высятся над морем, как неподвижные громады. Корабли тревожно взвизгивают ревунами, перемигиваются светофорами. На мостиках усиленно жестикулируют сигнальщики. Под самые реи взлетают флаги-знаки: суда ведут краткий, точный, нетерпеливый разговор. Между ними водяными паучками носятся торпедные катера, волоча ярко-белые длинные хвосты бурунов, ползают суденышки вспомогательного флота.

Величественная и печальная картина! Печальная потому, что Финский залив до самого Кронштадта забит минами: тут и акустические, и магнитные, и гальваноударные, и ударномеханические. Одни лежат на грунте, другие болтаются на стеблях-минрепах, третьи свободно плавают «на заданном углублении».

Вы, пожалуй, скажете, что можно выслать вперед тральщики, поставить каждому кораблю параваны — и якорные мины уже не страшны. А магнитные? А подлодки, что давно вышли на позиции? А козлы-торпедоносцы, а «юнкерсы»? А пушки, которые враг успел подтянуть к берегам?

Судам надо точно держаться фарватера. Иначе напорешься, если не на мину, то на каменную банку или наскочишь на мель. Финский залив неглубок, непросторен — в этой луже не сманеврируешь.

Стальные громады в этих условиях не сила, а слабость. Они мишени, очень удобные мишени! Мелким суденышкам проскочить куда легче.

Немец умен, хитер, современен — потому силен. У него подводные лодки, катера, авиация. Вот три кита, на которых он стоит!

В Таллин возврата нет. Впереди — земля обетованная. А как до нее добраться?

И вот началось.

Немецкие пикирующие бомбардировщики зашли с подсолнечной стороны. Зачастили зенитки. В небе разрывы: черные, серые, белые. Рой самолетов загудел над морем. Небо сделалось темным и непривет-

ливым. Корабли в отчаянии подняли кверху башенные стволы, дохнули из главного калибра — посветлело. Иные «юнкерсы» потянули черные хвосты в сторону леса, другие, рассыпавшись в воздухе, упали на воду мелкими обломками.

У «Кирова» на баке взлетело пламя. Но оно бушевало недолго: задушили. Эскадра открыла дымовые баллоны, глубоко утонула в белом тумане маскировка.

На Найссааре так рвануло, что рябь пошла по воде. Там взрывают фортовые орудия, запальные погреба. Вместе с землей и камнями вверх взлетают вековые сосны. Они кажутся легкими перышками. А когда, бывало, Михайло ступал на каменистый берег острова, они так высоко поднимали над ним могучие стволы, что оторопь брала.

На одной из таких сосен Михайло видел зарубку, заплывшую янтарной смолой. Здесь белоэстонцы в гражданскую войну наспех закопали в песок тела убитых матросов с революционных миноносцев «Спартак» и «Автроил». Закопали и место заровняли, чтобы никто и следа не нашел. Но когда белобандиты скрылись, старый рыбак-эстонец секанул тяжелым топором по медному стволу дерева-свидетеля, сделал зарубку на память. Того рыбака давно нет в живых, а зарубка цела. По ней моряки и нашли своих старших братьев балтийцев. Они бережно откопали их останки, уложили в гробы, обтянутые кумачом, поставили гробы на палубу эсминца и в сопровождении почетного эскорта кораблей пошли к Таллину. Там, на возвышенном берегу Марьямяги, захоронили героев навечно, подняв над ними каменное надгробие.

Далеко ушли суда первого и второго караванов. Медленно выстраивались в кильватер транспорты третьего. Михайло видел: справа, стороной, прошла самоходная баржа. Там Марта. Может быть, и лучше, что Марта на барже? Баржа не корабль, за ней самолеты охотиться не станут, и мины ей не страшны: осадка небольшая. Еще лучше деревянным шхунам: ничего им не страшно. Разбрелись по простору, идут вольной дорогой — фарватер им не нужен. Самая дальняя даже паруса поставила — прошлый век, романтика!

Пока лежали в дрейфе, к левому борту прибило самодельный плот — несколько небольших бревен, связанных пеньковым тросом. Подняли на палубу двух парней из береговой обороны. Они тупо глядели на всех, еще не веря в свое спасение. Один из них — высокий, узкоплечий, вислогубый. Лицо белое, точно никогда не видело солнца. Второй — коренастый, нос с горбинкой, лицо смуглое.

Михайло узнал их сразу. Коренастый — Василь Луговой, брат Ларки-козы, сын райисполкомовского конюха. Узкоплечий — Евгений Евсеев, или просто Жека, как его все звали в Белых Водах.

Михайло подошел к землякам, сдерживая дыхание, поздоровался за руку, повел вниз, в кубрик, — сушиться.

Не странно ли, что на палубе сторожевика сошлись три парня из одного села, одного возраста, одного призыва? Но, говорят, гора с горой не сходится, а люди... Да еще в такое время, когда все смешалось.

ГЛАВА 2

1

Закат был легкий, золотистый, предвещал добрую погоду. С заходом солнца «юнкерсы» угомонились. Они улетели в леса, подсвеченные вечерней зарей. На море легла удивительная тишина, будто никакой войны нет на свете. Только белесо-лиловая зябь моря и глухо дышащие дизелями стальные существа. Транспорты, идущие друг за другом, мелкие суденышки, разбросанные слева и справа, составляли единое целое: они были похожи на мирное стадо, бредущее на постой. Верилось: все тяжелое позади. Впереди — Кронштадт, родная земля, которая перебинтует раны, успокоит, не даст в обиду.

Дойдем, конечно же, дойдем!

В душе Михайла жила ненадломленная уверенность. Ни боязни, ни сомнения. Видимо, на них не хватает времени. Поспать даже некогда. Только приткнешься где-нибудь у теплой трубы — вдруг, на́ тебе, звонки тревоги. Бежишь на корму, на свой боевой пост. Бушлатик внакидку. Он короткополый (к портному носил подрезать, а то, не ровен час, братва за салагу примет) и прожженный, значит, видавший виды. Поэтому дорог, цены ему нет, ветерану. На ногах хлябают тяжелые яловые ботинки. Хлябают потому, что сыромятные шнурки не затянуты. Это на тот случай, если за бортом окажешься, легко можно скинуть. В воде иголка пуд весит, а что говорить о ботинках...

Михайло смотрел на все с горячечным интересом. Первые самолеты немцев, появившиеся над рейдом, разглядывал как диковинку: пикируют, нудно воют. А страха нет, только жгучее любопытство.

Однажды стояли у пирса Пальяссаара. Сбитый самолет упал далеко в заливе, а летчик спустился на парашюте. Он приземлился у дома Кузнецовых, пытался бежать. А куда убежишь? Ребята с палубы сыпанули на берег, окружили. Рассматривали своего ворога с удивлением и без ненависти: ее еще не было тогда. Немец и на немца не был похож. Не такой, как их описывали и рисовали в газетах. Самый обыкновенный человек, низенького роста, и не «белокурая бестия», а чернявый. Ни автомата, ни засученных рукавов, ни волосатых рук. Белесая куртка на нем с молнией. Простоволосый. Шлем, видно, сбило или сам сорвал с головы. Стоит насупившись. Юхан заговорил с ним. Плен-

ный оживился. Начал показывать во все стороны, руки кольцом складывал.

Начальник минно-торпедного управления, высокий грузный дядя, капитан третьего ранга, понял, в чем дело (немец показывал: «Вы в кольце, обречены!»). Начальник с размаху врезал ему кулаком в шею. Немец свалился на песок, рывком вскочил на ноги, схватился за пистолет.

Но нет, тут тебе не тюхи-матюхи! Немцу заломили руки. Не брыкайся, милый!

Когда фронт пододвинулся к Таллину, матросы с кораблей пошли добровольцами в морскую пехоту. Михайло тоже подал рапорт. Он просил послать его «туда, где решается судьба города, флота, а то и всей страны». Не забыл упомянуть, что отец и старший брат коммунисты, а он, Михайло, и младший брат — комсомольцы, значит, вся семья коммунистическая. Партия на него смело может положиться.

Капитан-лейтенант Гусельников вызвал к себе. Обнял за плечи.

— Огонь-парень, шут тебя задери! Но разве не понимаешь, что ты на самом «передке», на самом живом месте? Куда тебя тянет, зачем? Сам не знаешь, чего хочешь. Ты и в финскую замучил рапóртами. В лыжные батальоны просился. Какой ты, к шутам, лыжник! Где рос, в Донбассе? Снег три раза в году видел?.. Ты мне, браток, вот как нужен! — Он чиркнул себя ладонью ниже подбородка. — Не хандри!..

Но разговор не успокоил. Ребята творили на берегу чудеса, а тут возишься с этими «горшками» (так он называл мины). Вон Евгений Никонов оставил корабль, ушел в бригаду. Думали, навсегда. Нет, вернулся. Враги сожгли его на костре, как Жанну д'Арк. Привязали к дереву, палили, а он молчал... И вернулся. Навечно вернулся. Ежедневно его выкликают на поверке... Так бы прожить жизнь!

Мать и отец гордились бы своим Михайлом. Дора тоже гордилась бы. Плакала бы и гордилась... Почему она все время перед глазами? Видно, Василь Луговой и Жека своим появлением на корабле напомнили о доме, всколыхнули душу.

Василь говорил без умолку, а Жека молчал. Он сидел на банке у стола, обтянутого линолеумом. Боязливо жмурился, вздыхал незаметно. От каждого стука на палубе, от каждого выстрела над головой вздрагивал. Крупные губы Жеки посинели, даже лиловыми стали. Подменили Жеку, совсем не тот стал! Впрочем, это можно понять: человек впервые на корабле, да еще сразу попал в такую кашу. Ничего, освоится, привыкнет. Не все же родятся героями!

Вот главному старшине-шкиперу — тому прощать не следует. Он уже сверхсрочную службу «рубает», а от медвежьей болезни никак не может избавиться. Беда с ним! Подвязался пробковым поясом, напялил сверху капковый бушлат, уселся на посту сбрасывания, на малых глубинных бомбах. Устроился, дурья голова, на взрывчатке. Михайло шу-

ганул его:

— Уходи, а то и пуговиц от тебя не останется!

Но опасаться нечего. Ночь вызвездилась совсем мирная.

2

Редкая выдалась ночь.

Далеко впереди вспыхнул, как вязанка хвороста, транспорт. Так далеко, что даже взрыва не слышали. Казалось, вспыхнул сам по себе, без всякой причины.

Караван двигался медленно. Спустя долгое время на лоснящейся поверхности залива появились, точно буйки, головы плавающих людей.

«Циклон», шедший намного впереди «Снега», застопорил машины, лег в дрейф, спустил шлюпки на воду, начал подбирать утопающих.

Подводная лодка только и ждала, чтобы ударить по неподвижной цели. Она стояла совсем близко, слева по ходу каравана. Пришла она с финской базы. Темная, длинная, как щука, лодка заняла позицию, выбросив на поверхность хищный глазок перископа. «Циклон» оказался в глазке. Лодка выстрелила мальком-торпедой, точно живородящая рыба.

«Циклон» переломился пополам. Его корма и нос недолго держались на плаву. На воде остались только две шлюпки, плотно набитые спасенными.

Командир «Снега» решил не стопорить ход. Проходя на «малом», бросили концы, подтянули шлюпки к отводам правого и левого бортов, приняли на борт людей. Шлюпки же поставили за кормой на длинные буксиры. В каждой остался матрос на всякий случай.

Транспорт «Верония», еще засветло подбитый немецкими самолетами, тонул медленно. На транспорте — работники штаба флота, штабные бумаги, планы. Тут и офицеры с семьями, тут и жены комсостава боевых кораблей. «Веронии» оторвало нос. Она беспомощно задрала корму кверху, показав крупные винты. Было видно, как столпились на юте люди. Темные фигурки порой срывались, падали в тишину моря.

И вот над кормой, над заливом поднялся «Интернационал» — песня песен! Он гудел в темноте ночи с такой силой, что можно было оглохнуть! Затем пошли вспыхивать желтые огоньки, послышались хлопки пистолетных выстрелов: многие решили умереть от собственной пули. Люди сыпались в воду, словно галька с обрушенного берега.

Михайло когда-то видел такое в кино. Оказывается, так бывает и в жизни.

Залив застонал, завыл нечеловеческим голосом.

Как двигаться кораблю, когда по его курсу столько людских голов?

Михайло, уцепившись за леерную стойку, спустился на отвод правого борта. Одной рукой он держался за дугу, другой дотягивался до

воды, нащупывал скользкие волосы или размокшие, податливые воротники. Рядом стоял Тимошин. А наверху, на палубе, — другие ребята. Они подхватывали бьющиеся, как в лихорадке, тела, тащили их в жилые отсеки. Некоторые из поднятых на борт так были напуганы, так орали, что страшно было за их рассудок.

Михайло совсем выдохся. Его самого подняли на палубу, как утопленника. Не успел встать на ноги — позвали к комиссару. Хорошо, комиссар оказался рядом. Он стоял у торпедного аппарата, поддерживая женщину-офицера. На рукавах ее кителя серебром блеснули новые нашивки: полторы средних на каждом. Она не дала Михайлу опомниться. Точно оглашенная, кинулась на шею, обхватила больно. Еле оторвали ее от Михайла.

— Ну, веди, веди обогреться. Гляди, как ее колотит. Со мной не идет. Кричит: «Где мой спаситель?» Чумовая... Куда же вести? Может, ко мне?..

Михайло и не помнит, чтобы он вытаскивал из воды женщину. Но разве всех упомнишь?

Она была в таком состоянии, когда у человека пропадает всякий стыд. С лихорадочной быстротой содрала с себя одежду. Сверкая молодым телом, натянула на крупную грудь тельняшку комиссара, севшую при стирке, надела его белые сподники. Даже завязки завязала на щиколотках.

Комиссар укрыл ее шерстяным колючим одеялом, затем с Супруном в четыре руки стал выжимать китель и юбку военного врача.

Курить хотелось — даже ныло под ложечкой. А где покуришь? На палубе — строгий запрет: светомаскировка. Втиснулись в гальюн. Стояли нос к носу, дымили друг другу в глаза. В такие минуты не видно нашивок и люди разных званий и положений становятся равными.

— Думал ли ты когда-нибудь, что нас будут топить, как слепых котят в луже? — начал комиссар тихо. — Где наши самолеты?.. Неужели не могут организовать помощь? Ну, выслали бы мелкий флотишко из Кронштадта навстречу, хотя бы плавающих подобрали...

Это было так неожиданно, так ново: никто еще о высоком начальстве не говорил так откровенно.

— Баба на корабле — дурная примета?.. — вдруг спросил комиссар. И снова он стоял перед Михайлом прежний, человек с чудинкой. — Чует мое сердце: дурная... А в тебе что-то есть, Супрун. Все тебе мало, все куда-то тянешься. Думки в тебе бродят. На вид молчаливый, а тут... — Он легонько ткнул Михайла локтем под ложечку. — Тут гудит. По виду на интеллигента смахиваешь, тебе бы в сторонку отойти, сачкануть, а ты подставляешь плечо под самую тяжесть, точно биндюжник какой. Романтики ищешь? Джек Лондон, а?.. Стихи пишешь?

— Писал.

— Ну и как?

— Напечатали раза два.

— И что?

— Сжег.

— Зря. Себя палить ни к чему.

— Мешали. Хотел поступить в академию, военно-воздушную, а стихи, словно гири на ногах... Может, действительно надо было учиться на военного? — добавил он в раздумье.

— Расскажи-ка поподробнее, а? — Комиссар попросил с таким участием, что Михайло впервые за два года открылся, легко доверился другому. Когда Михайло окончил свою «печальную повесть», она показалась ему не такой уж горькой. Полегчало. Точно груз ее поделил на двоих. Он словно вырос. Даже подтрунивать стал над Мишком тех лет.

Гусельников отстегнул на руке белый металлический браслет, снял часы с черным поблескивающим циферблатом и положил их Михайлу в левую руку. Цифры и стрелки в темноте светились. Под цифрой «12» латинские литеры: «Helios». Крышка на винту. На ней не по-русски написано, что часы антимагнитные и не боятся воды, не боятся ударов. Такие часы носят офицеры немецкого флота. Как они попали в руки Гусельникова, один бог ведает.

Михайло посмотрел комиссару в глаза, кивнул, крепко зажал теплый металл в ладони.

Вдоль борта медленно движущегося корабля стоят матросы с шестами, баграми, а то и просто с кусками досок. Опасаясь плавающих мин, взрывающихся буйков-ловушек, они отводят от борта все, что к нему приближается. Михайло длинной четырехгранной рейкой пнул во что-то мягкое. Пригляделся — солдатский вещмешок. А хозяина не видно. Весь под водой. Что его держит? Может, он пробковый пояс успел надеть перед смертью?

Справа по курсу ярко вспыхнула самоходная баржа с торпедами. Дунуло в лицо горячим ветром. Михайло от боли закрыл лицо руками. На барже была Марта, эстонская девушка с льняными волосами. Совсем девчонка. Внучка старика Кузнецова, что родом из Питера. У Марты бабушка эстонка, мать эстонка, отец эстонец, а дедушка русский. У Марты давно нет ни бабушки, ни матери, ни отца. Они умерли в разное время от разных болезней. Есть только дедушка, который остался в Таллине, который просил Михайла Супруна, старшину со «Снега»: «Приходи!» Марте, расставаясь, сказал: «Прощай, внучка, увидимся!» И зарыл ее лицо в своей белой бороде, как в сугробе.

Кузнецов — старик, каких поискать. Балагур, шутник. Анекдоты такие рассказывал, что матросы за коленки хватались. Где ты, белая борода? Живой ли? Вздрогнуло ли твое чуткое сердце? Твоя внучка

хотела увидеть Ленинград, увидеть Россию — землю дедушки. В мирные годы не успела, а в войну, видишь, шла, да не дошла.

Михайло, почему же ты стоишь каменюкой? Бери шлюпку, греби во все весла к тому месту, где находилась самоходка, найди Марту, спаси ее, если жива!

Нет, после такого огня ничего не остается.

3

Эсминец «Яков Свердлов» вместе с другими кораблями охранял флагман флота крейсер «Киров».

Потянуло свежим ветром. Море взлохматилось, видимость ухудшилась. Вдоль бортов дополнительно поставлены впередсмотрящие.

С сигнального мостика доложили:

— Слева по курсу вижу след торпеды!

Оставляя на поверхности еле заметный бурунок, торпеда стремилась к крейсеру. Могучий, горячо дыша двигателями, низко вдавив корму в воду, он шел на «полный». Вот сейчас холодная и неумолимая торпеда встретится с ним в точке пересечения их курсов и резанет тротиловым огнем по его живому телу. Тотчас же фотопленки «юнкерсов» зафиксируют попадание, подтвердят гибель русского флагмана. Немецкое радио сообщит миру:

— «Киров» пущен ко дну. Балтийского флота не существует!

Командир эсминца решил:

— Принимаю удар на себя!

Другого выбора не было. Это видели все: от комиссара корабля до комендора по первому году службы.

Командир нажал ручки телеграфа до отказа, крикнул в переговорную трубу, соединяющую его с машинным отделением:

— Самый «полный»!..

Он успел перехватить торпеду, подставив ей свой борт. Так боец прикрывает собой командира.

Весть о гибели «Якова Свердлова» облетела весь флот. Корабли приспустили флаги. «Морские охотники» кинулись на поиск подлодки, пославшей торпеду. Глухо застучали под водой взрывы глубинных бомб.

«Снег» тоже приготовился к бомбометанию.

Михайло во все глаза следил за мостиком. Когда получил приказ, взял на себя рычаг, и большая глубинная черным бочонком скатилась за борт. Он повернулся к стеллажу с малыми бомбами, руками взялся за металлические дужки, метнул бомбы через леера ограждения. Вода от взрыва вздрогнула, ударила снизу по корпусу. Над местом взрыва сначала вскочил небольшой бугорок. Чуть встряхнуло поверхность моря, затем со свистом медленно вырос могучий белый курган. Неподалеку еще два пузыря, поменьше. Затем все снова повторилось.

Утопили немецкую лодку? Кто знает! Будь иная обстановка, легли бы обратным курсом. Осмотрели бы квадрат. Может, на поверхности увидели бы радужные пятна мазута. Может, обнаружилась бы мутноватая вода со следами ржавчины. Тогда боцман взмахнул бы ведром, посаженным на длинный линь. Поднял бы его на борт: неоспоримое доказательство. А так — поди проверь.

Командир считает, что потопили. Он возбужден до крайности. Его карие глаза горячечно блестят из-под черного лакированного козырька фуражки. Вестовой то и дело носит ему термос с крепко заваренным кофе.

Торпедные катера, обошедшие «Снег» слева, сообщили, что на минах у Найссаара подорвалось немецкое судно. Нетерпеливые, черти! Лезут напролом. Так им!..

— Супруна, стервеца, к ордену представлю!

Старлей любит выражаться лихо: под Чапаева работает.

Михайлу передали слова командира. Но они его не взбудоражили: отупел, оглох. От частых взрывов, что ли?

На орудиях сначала обгорела краска. Затем стволы, накаляясь, стали малиновыми. Снаряды не шли в цель, плюхались в воду за бортом. Пулеметы не стреляли, а кашляли.

«Юнкерсы», словно зная все это, осмелели, спускались ниже, высматривали цель, били безошибочно.

Михайло видел, как от брюха самолета оторвались три черные капли. Капли росли. Столько прошло времени, а они все не падают. Растут, воют, а не падают!

Бомбы шли на цель точно. Куда от них денешься? Дашь «полный вперед» — врежешься в корму впереди идущего судна; сработаешь «задний» — сам получишь пинок в корму. Кто-то не выдержал — сиганул за борт. Но там тоже нет спасения.

Старлей, дернув себя за козырек, металлически-спокойным голосом скомандовал:

— Лево руля!.. Стоп машины!..

Мина, ударившая кораблю в скулу, и бомбы, легшие справа по борту, рванули одновременно.

Когда Михайло очнулся, его поразил вид корабля. Впереди он привык видеть мостик, фок-мачту. Теперь там была пустота — кусок голубого, чистого неба. Взору открылось море, горизонт. Тихо вокруг. Только и слышно, как тарахтят в отдалении шхуны.

Ни кораблей, ни людей.

Корма задиралась вверх. Стоять было трудно. Михайло слышал, что тонущий корабль образует воронку. Окажешься поблизости — засосет. Надо прыгнуть за борт, отплыть подальше.

А почему такая тяжелая голова?

Он провел рукой по волосам ото лба до шеи, глянул на ладонь,

удивился: на ней дрожал черный кровяной сгусток. На затылке, у левого уха, начало саднить. Воротник бушлата весь в слизистой крови.

Надо торопиться! Надо отплыть подальше!

Едва пригнулся, чтобы пролезть между леерами, как услышал голос боцмана:

— Спасай комиссара!

Боцман поднес деревянные сходни, сунул их за низко осевший борт. Гусельников лег на сходни. Михайло и боцман навалились на другой конец, перевесили, подтянули.

Комиссара посадили на стеллаж с малыми бомбами. Сибирский кот со слипшейся шерстью вспрыгнул на стеллаж, отряхнулся так, что пыль водяная поднялась, прижался к боку хозяина. Голова Гусельникова была окровавлена. Казалось, он надел ярко-алый берет. Но то был не берет, а вывернутая наизнанку кожа: подсечена слева, около уха, и сдернута далеко вправо. Комиссар вынул из кармана серый от воды платок и попытался снять с бровей загустевшую кровь: она мешала смотреть. Затем тихим голосом приказал:

— Корабль не оставлять. Сейчас подойдут катера. Они нас снимут. Да, да, командующий выслал катера!..

И Михайло и боцман знали: никаких катеров нет и не будет ни сейчас, ни завтра. Знали, что корма скоро уйдет под воду. Но приказ нарушать не собирались.

Михайло мало виделся с боцманом, не хватало для этого времени. У Михайла свои дела, у боцмана свои заботы. А сейчас времени много. Стой и смотри. Можешь смотреть прямо в рыжеватые глаза боцмана (он мичман по званию). Можешь глядеть на его соломенные усы, точь-в-точь такие, как носят в южных селах. Фуражку (или, как ее называют, мичманку) боцман потерял, стоит простоволосый. На голове белеет реденький чуб. Ближе ко лбу остался только пушок. Видно, не по первому сроку служит боцман на флоте, не один год, как говорят матросы, «огребает полундру».

Невдалеке застучала машинами тяжело осевшая «Буря». Она медленно, чуть не черпая бортами воду, проходила мимо. Комиссар, вскочив на ноги, закричал:

— Командиру приказываю подойти к борту, снять команду!

Он держал у лба кровяной платок. Правой, свободной, рукой достал из кармана кителя пистолет. С «Бури» в мегафон ответили:

— Подойти не могу. Еле держусь на плаву!

Комиссар был неумолим. Он повторил приказ, глядя вперед пьяными, помутневшими глазами. Затем предупредил:

— Буду стрелять!

Слабо щелкнул курок. Но выстрела не последовало. Комиссар беспомощно нажимал на спуск, но даже щелчка не было слышно: совсем заело.

Гусельников сел, потом лег на бок, выронив пистолет на палубу.

Михайло посмотрел на дареные часы с черным циферблатом. Белые стрелки показывали тринадцать. Он медленно снял подпаленный бушлатик, накрыл им лицо своего комиссара капитан-лейтенанта Гусельникова. Подойдя к борту, легко стряхнул с ног ботинки и прыгнул вниз головой.

Когда отплыл подальше, оглянулся. Корма была высоко задрана. Она быстро начала укорачиваться и с тяжелым выдохом, поднявшим высокие пузыри, пошла вниз. Боцмана не увидел.

Плыл долго. Сам не знал куда. Ему казалось, в сторону южного берега. Хотя вокруг — никаких берегов. Только спокойное море. Коегде дымки судов.

Невдалеке показалась шлюпка. Она шла к Михайлу. Он поплыл навстречу ей саженками. Ожесточенно замахал деревянными руками. И вот шлюпка, услышав окрик со своего судна, начала разворачиваться. До ушей Михайла донеслось знакомое:

— Правая, табань, левая, на воду!

Как же так? Куда уходят?! Михайло закричал. Получился не крик, а вой, от которого стягивает кожу на висках. Пока шлюпка разворачивалась, успел немного приблизиться к ней. Еще бы с десяток метров! Но жестокие весла толкнули ее вперед. Шлюпка была так перегружена народом, что, казалось, малая соломинка способна ее потопить! На ней не было места для Михайла.

Но, видать, его звезда еще не упала, еще не сгорела.

Старшина, сидевший на руле, умело кинул конец за корму. Кольцо троса размоталось. У самого лица Михайла плюхнулся крупный концевой узел. Михайло подхватил его правой рукой, зажал намертво.

4

У Гогланда, положив кили на сушу, догорают транспорты. Пламя встает вертикально. Дым убегает в небо споро, как при самой хорошей тяге.

Сидя на вытертой до белизны металлической палубе, Михайло смотрит на остров. Голова его в бинтах и тяжела, словно колода. Он прислонился спиной к машинному люку. Оттуда доносятся перестуки клапанов, тянет теплым запахом пережженного масла.

То жаром, то холодом обдает его при мысли: «Неужели все пропало?.. Где «Киров»? Где миноносцы? Неужели горящие у Гогланда транспорты да мелкие суденышки, разбросанные по заливу, — это все, что осталось от флота? Как же так? Где Кронштадт? Почему он не приходит на помощь? Может, лежит весь в развалинах? Может, фашисты уже подходят к самому Ленинграду?..»

Перед глазами встает фриц, сбитый над Пальяссааром, его всклокоченный чуб, расстегнутая молния куртки. «Что ему надо? Зачем он к нам лезет? Разве мы его трогали?»

Вспомнилось, как начальник минно-торпедного управления свалил фрица ударом в шею. Тогда Михайло осуждал начальника: «Не велика отвага бить сбитого!» А теперь?.. Ух, с какой бы силой он влепил кулак в самую его рожу, в самые глаза, наглые, ненавистные!.. Этот фашист спутал все на свете. Скомкал, испоганил, взорвал то дорогое, чем жили, на что надеялись... А сколько погубил людей!.. Как вместить в своем сердце всех, кто остался в заливе? Не сотни — тысячи остались там. Много тысяч! Не от крови ли человеческой порозовело море?..

К Михайлу подполз Тимошин. Михайло удивился: какими судьбами? Тимошин задрал тельняшку выше лопаток, показал спину. Поперек смугловатой спины бугрилась лилово-темная полоса — след удара. Говорит, его стукнуло так, что свалился за корму.

А как же ранило Михайла? Он стоял к взрыву лицом, почему же удар пришелся в затылок? Может, в ту минуту оглянулся? Может, осколок срикошетил?..

Михайло почувствовал: что-то пушистое трется о его руку. Да это же он, дымчатый кот-сибиряк, любимец комиссара Гусельникова! «Как же ты выбрался из такой кутерьмы, как спасся, любый?» Михайло запустил пальцы обеих рук в глубокую шерсть, прижал кота к груди, как это делал комиссар. Теплый комочек замурлыкал славно, по-домашнему — можно задохнуться от нахлынувшего чувства!

Кто еще уцелел?

Тимошин видел троих матросов и командира БЧ-5. Больше никого.

На залив легли сумерки. Работяга-винт гнал по телу суденышка постоянную дрожь. Впереди ночь. Какой она выдастся? Дойдем ли?..

В памяти всплыло такое.

...Большое, уставшее за день солнце присело на самом краю мелового кряжа. Посидело немного и скатилось за кряж. На долину упала синяя тень. Над рекой повис белесый туманец. Уморенные кони пахли потом, лениво пофыркивали, позвякивали удилами.

Отец и мать сидели лицом к закату, упираясь ногами в передок тряской брички. Мать молчала, а отец то и дело почмокивал, подергивал легонько вожжи, понукал ласково:

— Но-о-о, пошли, детки!..

Жеребенок постепенно отставал от брички. Вот он почти скрылся из виду. Степь завечерела. Вдруг кобылица встревоженно подняла голову, призывно заржала. Ей издалека ответил тоненький-тоненький, почти детский голосок жеребенка. Послышался дробный стук копытец. И вот запыхавшийся высоконогий малец со светлой звездочкой на лбу, вздрагивая всей кожей, трется у тела матери.

Мишку передалось волнение. Он притиснулся к отцу и матери, ощутил их тепло. Как и жеребенок, он боялся затеряться в вечерней степи, боялся остаться наедине с глубоким, рябым от холодных звезд небом...

ГЛАВА 3

1

Стенки канала выложены каменными квадратами. Через канал переброшен небольшой мост. Он называется Поцелуевым мостом. На той стороне краснокирпичное здание казарменного вида. Это — Балтийский флотский экипаж.

Впервые Михайло был здесь в мае тридцать девятого года. Он топал тяжелыми, коваными ботинками по булыжнику закрытого двора. На Михайле топорщилась жесткая изжелта-серая роба, пахнущая пенькой. Над бровями торчал высокий каркас бескозырки с белым наглаженным чехлом. Бескозырка без ленточки — словно ты на «губе», под арестом находишься. У тельняшки вырез малый, даже горло давит. Форменный воротничок, гюйс, синий до темноты, сразу видно: салага! У старослужащих все по-другому. Взять тот же воротник. Как только получат, кладут в раствор хлорки, поэтому он у них белесый, мягкий, точно побывал под ветрами сорока морей!

Несколько дней Михайло чистил картошку на камбузе, был хлеборезом, разносил медные бачки по длинным столам; надев клеенчатый передник, задыхался в пару судомойки.

Флотская служба тогда показалась серой.

Затем пошли комиссии: медицинская, мандатная, техническая. Спросили: «Кем хочешь?» Ответил: «Минером!» Удивились. С десятилеткой самое подходящее — дальномерщиком. Но они же не знали, что земляк Михайла, Лешка Марченко, попал в минеры. Не хотелось отрываться от земляка: вдвоем с ним остались. Василя Лугового и Жеку Евсеева списали в береговую: оденут их во все зеленое, винтовку в руки — и стой в карауле, пока не посинеешь. Тоже, служба!..

И вот опять флотский экипаж. Все дороги ведут к нему. Иначе нельзя. Если тебя потопили — иди в экипаж. Если твою часть разбили — тоже иди в экипаж. Всегда танцуй от печки.

Двадцать дней Михайла держали в клинике Военно-морской медицинской академии. Чуб сняли, потихоньку подбривая со всех сторон. По-другому было невозможно. Когда Михайло прыгнул за борт, точнее, когда вынырнул, он прошел головой через слой мазута. Мазут загустел, волосы слиплись. Их пытались промыть — бесполезно. Пустили в ход бритву. После этого вынимали меленькие осколки, смазывали рану едко пахнущим раствором, пеленали бинтами. Забинтованным и в экипаж

явился. Но тут этим не удивишь. Тут всякие: и стреляные, и рваные, и горелые. Сбежалось бесчисленное множество народу, повидавшего виды. Людей наскоро собирали во взводы, роты, батальоны, бригады. Наспех испеченными подразделениями затыкали дыры фронта.

Немцы окружали Ленинград. Вот-вот им удастся сжать железные пальцы вокруг горла великого города — и тогда город задохнется.

Двадцать третьего сентября над Ленинградом и Кронштадтом появилось невиданное скопище самолетов. Небо почернело. Казалось, весь воздушный флот Германии повис над заливом. Бомбы сыпали куда попало: куда-нибудь да попадут! Вместе с бомбами на землю летели листовки. В них грозили: «Сровняем Ленинград с землей, а Кронштадт с водой!»

По двору Балтийского экипажа очумело метался человек в солдатской одежде. Под расстегнутой гимнастеркой темнели полосы тельняшки. Парень был хмельной. Видно, опрокинул в себя флакона два одеколона. Он выкрикивал слова, за которые ставят к стенке. Чудом оказавшийся здесь командир экипажа выхватил из кобуры наган. Приказал:

— Отставить!

— Что «отставить»? Крыса тыловая! Зарылся в камни. Туда бы тебя — под Гатчину, под Детское Село!

— Буду стрелять! — холодно предупредил командир.

— Стреляй, стреляй, сука! — кричал рядовой, очумело выкатив глаза. — На! Один конец! Завтра немцы в Питер ворвутся!..

Видно: он матрос. Но не по тельняшке видно. А по тому, что Ленинград он назвал Питером. У матросов вошло в привычку называть Кронштадт — Краковом, Ораниенбаум — Рамбовом...

Но кто сеет панику, тот паникер. А с паникерами разговор один — пуля. Поэтому никто не осуждал командира экипажа, поднимавшего оружие.

Щелкнул пистолет, а показалось: грохнул орудийный выстрел. Затем еще и еще раз. Боец раскрыл рот, точно хотел что-то сказать, да не успел. Он мягко лег на булыжник...

Новая морская бригада повзводно покидала двор экипажа.

Михайло Супрун попал в третий взвод. За плечами — зеленый солдатский «сидор» и трехлинейка на ремне. Старая трехлинейка, вся в арсенальской смазке. Может, с ней ходили на штурм Зимнего? Но и это добро. Некоторые идут с голыми руками: не хватает оружия. Говорят, в бою добудете.

Все непривычно, неподогнано. Воротник гимнастерки давит шею. Брюки в поясе — впору на двоих. Пилотка мала, на голове не держится, то и дело поправляй ее. А горше всего обмотки, водяной их за-

бери. Мотаешь, мотаешь их, виток за витком, приговаривая: «Январь — февраль, январь — февраль». Плюнуть охота! Не успеешь пройти квартал, смотришь, уже развилась гадюкой. Сосед наступит на нее — и ткнешься носом в вещмешок впереди идущего.

Непривычное дело нести солдатскую службу, трудное. Сунут тебя в окоп — сыро, неуютно. То ли дело на корабле! Тепло, светло и, главное, камбуз рядом! Сходил в дозор или на минную постановку, вернулся на базу — снова дома. Даже в матросский клуб можешь сбегать, кино посмотреть или концерт послушать. В окопах тебе другие картины крутить будут! Стой в жиже по колена или на морозе зубами лязгай. А засвистят снаряды — куда деваться? Не крот, в землю не зароешься. На корабле любая переборка броней служит. Если тонет твоя «посудина», тоже не страшно: садись в шлюпку или подвяжи пробковый пояс, или надень круг под грудь. Не так-то просто утопить человека... Если бы вернуться на корабль! Пусть на самый захудалый, пусть даже на какое-нибудь вспомогательное суденышко, которое раньше называл ты «старой калошиной» или «дырчатым лаптем». Если бы...

А вот солдаты — те мыслят по-другому. Довелось видеть, как они ошалело носились по палубе, как жадно глядели на берег. Помнишь, как после кронштадтского эвакогоспиталя отправляли раненых в Ленинград? Сколько с ними было мороки! Не идут на корабль — и все. Приходилось подхватывать под мышки, под коленки и тащить на палубу силой. Орали, точно поросята недорезанные. Напуганные переходом, пуще огня боялись водички. Кто из них хлебнул солененькой, того на корабль калачом не заманишь. А матросу на «коробку» — значит домой. Зачем ему окопы, траншеи, землянки, что он там забыл?!

На ночь расположились в разбитом цехе завода. Почти всю крышу бомбой снесло. Но стены остались. Хорошо, когда есть стена. Можно прислониться плечом, приткнуться головой — все-таки защита.

Ни одного знакомого лица. Кругом чужой народ, слова сказать некому. Правда, если где-нибудь на отдаленном берегу встречаешь незнакомого морячка — радуешься, точно брату. Там, среди сухопутного люда, матросы — родные. А здесь все моряки, значит, все чужие. Вот только Коля и Ваня, мотористы с линкора «Петропавловск», те знакомые. Они часто выступали в Доме флота в концертах самодеятельности. У них есть такой номер: высоченного роста Ваня выходит на сцену с чемоданом, стреляет замками, открывает крышку. Все ждут: что же дальше? А дальше совсем необыкновенное: могучая рука Вани вытаскивает из черного фанерного чемодана щупленького Колю и, подняв его сзади — за брюки, показывает народу. Коля висит лягушкой. Лицо глупейшее. Народ со смеху вповалку ложится. Матросы гудят,

бьют в пол каблуками, требуют повторить все сначала. Затем Ваня с Колей отстукивают танец кочегаров.

Их «Петропавловск» сейчас на приколе у кронштадтской Усть-рогатки: нос оторван. Бомба угодила в запальный погреб. Стоит, точно форт, ворочает двенадцатидюймовыми стволами, кидает четырехсотсемидесятикилограммовые штуки на немецкие головы.

Под черным небом не уснешь спокойно. Оно тревожное. По нему елозят синевато-холодные лучи. Они скрещиваются, точно шпаги. Кажется, даже слышен металлический скрежет. Вот высветили что-то выпуклое. Самолет? Нет, аэростат заграждения. Их много в городе. Днем они отдыхают в скверах, ночью несут вахту в небе.

В пролом стены видно зарево. Всюду зарева. Они преследуют тебя от самого Таллина.

Супрун — командир отделения. Одиннадцать бойцов. За каждого в ответе. Хорошо, когда есть у тебя забота: о себе меньше печешься и не так страшно.

Завтра в бой. Прямо с ходу в огонь. Осмотреться не дадут. Говорят, некогда осматриваться. Немец уже занял окраины завода. Надо оттеснить, чего бы это ни стоило! Завтра, обещают, приедет маршал, командующий Северо-Западным направлением, будет говорить с матросами.

Трехлинейка у Михайла под боком, дотронулся до ее стылого металла. Не подведет ли?.. Михайло стреляет метко. Когда-то Плахотя — спасибо ему! — научил, красный партизан, герой гражданской войны, кавалер боевого ордена.

2

Небо серело. Из разбитых цехов бойцы выбирались на окраину завода. За отвалами шлака начиналось картофельное поле. Мягкая земля, рыхленая. На такую упадешь — действительно будет пухом. А вот бежать по ней тяжело. Командир взвода, мичман, то и дело покрикивает:

— Подгребай, братва, подгребай!

Мичман до пояса моряк, ниже пояса — пехота. На нем черная фуражка-мичманка с блестящим козырьком, черный бушлат, защитные брюки, сапоги. Гибрид какой-то!

Моросил тревожный дождишко. А когда видимость плохая, всегда не по себе. Поди узнай, что там, за пеленой? Может, тыщи танков на тебя нацелились, может, там дзоты-пулеметы, может, проволока шипастая. Некоторые говорят, ничего особенного там нет. Немец не успел укрепиться, потому надо выбивать его поскорее.

Стягивались в ложбину, скучивались. На затравеневшей бросовой дороге показалась черная «эмка». Из нее вышли трое. Торопливо пошли в сторону бригады.

Маршала положено встречать со всеми почестями. Надо бы замереть в строю, гаркнуть во все глотки: «Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза!» Но сейчас не до этого. И вообще, чем тревожнее обстановка, чем она труднее, тем меньше люди думают о всяких условностях.

Командующий направлением подошел, поздоровался по-домашнему просто, даже руку подал тем, кто стоял впереди.

Михайло смотрел во все глаза: такое не часто встретишь. Маршала видел в кино и на картинах, а чтобы вот так близко — не приходилось. В жизни он и ростом пониже и не такой недоступный. Только старый, белый весь: и усы и виски. На картинах этого не показывают. Там он остался таким, каким был в гражданскую. А время-то идет! Разговор у маршала тоже какой-то из тех времен: «Смотри у меня, ребятки, чтоб все было на ять!» Маршал почти ничего не сказал. Он сослался на то, что произносить речей не умеет, да и время не позволяет. Сказал одно: врага надо оттеснить. Сказал, что сам пойдет впереди, и надеется — морячки не подведут старика.

После этих слов точно высокий бурун прокатился по бригаде. Каждый напрягся до того, что дышать стало трудно.

Когда маршал молодцевато сбросил шинель, поднял вверх наган и крикнул: «За мной, матросики!», — ребята совсем ошалели. На многих оказались бушлаты, бескозырки. У Михайла нет бушлата, остался на «Снеге», прикрыл им лицо комиссара.

Впереди простучал пулемет, точно палка по планкам забора. Заспешили автоматы. Бригада ложбиной обошла немцев с фланга и накрыла их наспех вырытые окопы. Ударила немецкая артиллерия, ударила по своим. Потому что на позициях все перемешалось: и свои и чужие.

Маршал молодцевато перепрыгнул окопчик, свалил двоих выстрелом в упор. Хлопнувший неподалеку разрыв обдал его землей и черным приторным дымком. Он споткнулся, но упасть не успел: матросские руки подхватили его, матросские глотки заорали на весь белый свет:

— Маршала ранили!..

Командующего на руках отнесли к машине: осколок снаряда угодил ему в колено. «Эмка», дав самый полный, умчалась в сторону города.

Бой только начинался. Те, кто был без винтовок, пустили в ход другое оружие: они оравой налетали на ополоумевших немецких солдат, кидали им на головы бушлаты, садились сверху, приканчивали ножами или же, выдернув автомат, давали короткую очередь в живот.

Уже думали, что дело кончено, но оказалось, еще бежать да бежать. За первой линией окопов обнаружилась вторая. Из укрытий, как цепные собаки, загавкали пулеметы. Они захлебывались от бешенства. А как ты их возьмешь? Танком раздавишь? Или гранатами заброса-

ешь? Гранат нет — те, что были, уже сплыли. Ну, а своих танков и в глаза не видали. Бежать на пулеметы приходилось в открытую. Люди совсем озверели. И всему виной маршал: сам не гнулся под пулями и другим не велел.

Михайло Супрун растерял своих бойцов. Все тело взмокло, на губах соль запеклась. Голос надорвал, орал вместе со всеми, а что — сам не помнил. Бежать было легко. Видно, открылось второе дыхание, как это случалось на тысячеметровке. Винтовка не тяжелее перышка, ловко взлетает в руках. Приловчился стрелять на бегу.

Сильно поредевшая бригада прорвалась за вторую линию.

Михайло гнался за немцем. Немец лихорадочно поворачивал дуло автомата назад, строчил. И вот он совсем выдохся. Михайло наступал ему на пятки. Приблизился настолько, что улавливал кисловатый запах пота, смешанный с запахом нового обмундирования. Убегающий подвернул ступню и запрыгал на одной ноге. Хотел юркнуть в кусты, но не успел. Михайло замахнулся, пырнул, почти падая вперед. Штык вошел тяжело. Убегавший коротко ойкнул, завыл одичало. Стал на четвереньки. Затем руки подломились. Боднул каской землю. Лег лицом в сырую траву.

Михайло впервые убил человека. Странное, недоброе чувство охватило его. Такого он еще не испытывал. Он ставил мины. Но как умирали на его минах, не знал. Он метал бомбы. Но как от них гибли в подлодках, не видел. То было на расстоянии, как бы условно, а здесь — лицом к лицу. Горячее, вздрагивающее тело, слепо выпученные глаза, открытый рот...

Немцев отогнали километров на семь. Но как теперь удержаться? Людей — раз, два и обчелся. Покошен народ. Почти вся бригада полегла под немецкими пулями.

Комбриг, капитан третьего ранга, весь в ремнях поверх кителя, появился на самом «передке». Просил укрыться и продержаться до ночи. Ночью придут солдаты, займут оборону. А куда моряков? Видно, опять кинут на горячее дело?

Отчаянный народ матросы, железный народ. Потому и кидают их туда, где потруднее.

Комбриг приказал переписать всех оставшихся в живых. Обещал положить список на стол командующему. Уверял, все будут с орденами. Такое же совершили! Завод спасли! Теперь восстановят цехи. Металл найдется: на стапелях вон сколько заложено крупных кораблей. Они теперь без нужды. Снимай броню! Сейчас танки нужны, катера...

3

Остатки бригады влились в новую. Она разместилась в здании финансово-экономического института на канале Грибоедова. Михайло вошел в аудиторию.

Институты, академии, университеты... Так и не довелось посидеть в благословенной тишине аудиторий, подышать воздухом науки, услышать трепетное звучание музыки, стиха, увидеть буйство красок на великих полотнах. Где все это? Воскреснет ли когда-нибудь или навеки сгорит в военных пожарах?..

Мичман, которого Михайло видел перед атакой, показался в дверях. Рука его на перевязи. Излишне громко он позвал:

— Старшина второй статьи Супрун, с вещами на выход!

Михайло подхватил «сидор» за лямку и лихо, как по корабельному трапу, простучал по ступенькам широкой лестницы на первый этаж. Сердце толкнулось в радостном предчувствии: «На корабль!»

Но получилось не совсем так. Его списали в распоряжение командира порта.

Порт — склады и управление — находится около экипажа. Он опоясан каналом. Поэтому его зовут Новой Голландией.

Войдя в кабинет, Михайло увидел плотного крупнолицего капитана первого ранга. Доложил о прибытии. Каперанг подал руку, попросил сесть. Поставил задачу. Задача такова. Супрун назначается командиром подрывной команды. В его распоряжение поступают семь минеров. Народ надежный, из корабельного состава. Подрывная команда неотлучно будет находиться на территории военного порта. Приказано заложить под стены складов большие глубинные бомбы. Соединить их шнурами. Шнуры вывести далеко за склады. Все подрывные машинки должны сработать безотказно, чтобы все бомбы взорвались, разнесли краснокирпичные склады. Все добро — продукты, обувь, обмундирование, лаки, краски, такелаж, инвентарь — должно быть похоронено или развеяно в прах.

Это на случай отхода.

— Ясна задача?

— Понимаю... Но неужели?..

— Я подчеркиваю: на случай... — Капитан первого ранга недоговорил, он только замкнул руки кольцом.

Как странно! Михайло слышит одно и то же от третьего человека. И у каждого оно звучит по-разному. У пилота-немца на Пальяссааре по-одному, у матроса, буйствовавшего в экипаже, по-другому. У командира порта по-третьему. Все говорили правду — и у всех она разная.

Внутри двора среди осанистых складов возвышается здание новой, современной кладки. Высокое, легкое. Подрывников разместили на первом этаже. В большой комнате поставили восемь добротных кроватей, положили на каждую по два волосяных матраца, выдали простыни, наволочки, пахнущие новой материей, выдали по два одеяла: одно байковое, другое шерстяное. Матросов одели во все новое, с иголочки. Берите, мол, не жалко, все равно может пропасть.

Михайло радовался: ребята свои, знакомые. Только Люсинов, или попросту Люсик, не знаком. Андрианов Сашка — старший матрос — плавал на вспомогательном судне «МТ-3», с ним Михайло встречался. Сашка — ленинградец, с Васильевского острова. Белобрысый такой, остроносый, смеется, как гусак: «Го-го-го!» Рубаха-парень! Он не минер — торпедист. Но это неважно. Мина терпеде — сестра, минер торпедисту — брат.

Перкусов тоже торпедист. Длинный, худой, лицо рябое, все в ямках: оспой болел в детстве. Перкусова ребята зовут Перкой. «Перка» звучит как-то ласковее. Он родом из Серпухова, а рекомендуется москвичом. На флоте все ребята из близлежащих к Москве городов, включая Рязань, считают себя москвичами.

А вот Кульков и Сверчков — те ивановские. Не из самого Иванова, из деревни. Оба они не только минеры, но и плотники. Оба Семены. Кульков называет Сверчкова Сеньтя, а Сверчков Кулькова — Семькя. Оба на гармошке играют. Опять же каждый по-своему: Кульков ложится на нее всей щекой, а Сверчков — ставит только подбородок.

Ближе всех Михайлу Степан Лебедь и Витька Брийборода. Не потому, конечно, что оба земляки-украинцы (хотя и от такого родства он не открещивается), а потому, что по пути от Харькова до Ленинграда в одном эшелоне мерзли в мае памятного года, в одно время были в учебном отряде, в одной роте, в одном кубрике, на одинаковых двухэтажных топчанах спали.

Легко с человеком, с которым ты прошел один путь или побывал в одном деле. С таким посидишь минуту молча, а кажется, что поговорил о многом.

Помнит Михайло, как ездил с Лебедем и Брийбородой в Петергоф. Насмотрелись разных красот. Там фонтанов столько, что всех и не запомнишь: римские, каскадные, фонтан-шутка, фонтан-солнце. Ярче всех в памяти Самсон. Он разодрал пасть льву, а оттуда, вместо крови, брызжет вода. Высоко бьет, на много метров столбом поднимается. У Самсона сфотографировались втроем. На карточке и Самсон, и лев, и дворец, что стоит повыше, — все уместилось.

Сейчас в Петергофе немцы. Дворец, говорят, выгорел внутри, крыша провалилась. Одни стены стоят в черных подпалах. Из Петергофа немец и по Кронштадту и по Ленинграду пуляет. Орудия врыты в верхнем парке, на том месте, где были цветники.

Думал ли кто, что дойдет до этого?!

Ребята катали бомбы, как бочонки. Гражданский народ, работавший в складах, шарахался в стороны. Тетки кричали:

— Осторожней, черти водяные!..

А матросы задавались, стукали бомбой о бомбу или бухали их об

камни. Женщины даже лица закрывали руками. А дело-то безопасное: бомбы так запросто не взрываются.

В углах, у оснований арок, у крупных перекрытий ломами долбили стены, делали ниши. В них закатывали черные тяжелые бочонки по одному, а то и по два. Совсем как связисты, тянули провода, зачищали концы. В горловины бомб вместо гидровзрывателей, тонких, дорогих механизмов, ставили толовые шашки с электрическими запалами.

Когда все было готово, Михайло будто в шутку спросил:

— Ну что, мореманы, будем драпать? Склады на воздух, а сами наутек?

Но шутки не получилось. Ребята повесили носы, опустили глаза. Брийборода, парень горячий, казачьих кровей, вскинул густые черные брови.

— Ни, братику, бижать никуды! Як що городу смерть, так нам тоже смерть. Сяду на бомбу, обниму ногами и крутну машинку.

Молчаливый Лебедь подтвердил:

— Це так!

Сеньтя и Семькя переглянулись, уточнили свою позицию:

— Как все... Как все...

Андрианов развел руками:

— Что за вопрос!..

Люсик поморщился, ничего не сказал. А Перка улыбнулся, постарался сбить тон:

— Полно, полно, в самом деле! Как закатили, так и выкатим. Вот чудаки. Ну что смертников разыгрывать! Японцы, что ли? Там есть такие: садятся в торпеду, управляют ею и вместе с ней — тюф! — на воздух.

Перке удалось поднять настроение, повернуть разговор, но ненадолго: каждый думал о худшем. Моряки с кораблей, что стоят на Неве, часто бывают в складах порта. Передают, что у них тоже все «на товьсь!». Да это и слепому видно: немецкие снаряды грохаются на трамвайных остановках — людей падает замертво не меньше чем на переднем крае.

Идет зима. Чем фронт кормить, чем флот снабжать, чем город поддерживать? Бадаевские продовольственные склады горели несколько дней, подожженные бомбами. А там запасов было не на один месяц. Знал враг, куда бить!

Если бы можно весь город обшить досками и засыпать песком, как Медного всадника засыпали! Но не хватит ни песку, ни досок.

Днем летят снаряды, ночью бомбы сыплются с неба. Воют сирены, взвинчивая нервы до крайности. Начальство гонит в убежища. Но разве это занятие? Нужно настоящее дело. Тяжело без дела.

Появились карты. Когда высокий дом качнется от взрыва, лучше всего сидеть на кровати, поджав по-турецки ноги, и прикупать очки до

нужного количества. Все восемь человек сидят кру́гом. Андрианов Сашка (хитрые белесые глазки в желтых ресницах) банкует. Глазки он щурит то ли от дыма цигарки, что висит на губе, то ли от волнения. Посредине круга гора бумажных денег. Тратить их не на что. В магазинах ничего не купишь. Но бумажная гора все равно притягивает, вводит в азарт.

Сеньтя Сверчков даже побелел. Его мучает вопрос: брать или не брать?

— А, была не была! Или покойник, или полковник. Дай-ка маленькую.

Сверчку нужна пятерка. Тогда он загребет своими коротколапыми лапами весь банк. Он взял карту и не глядя положил ее под низ. Затем начал потихоньку выдвигать. И даже дышать перестал.

— Эх, мать честна, топорик!..

Сверчок растерянно обвел всех глазами. Как же так: прикупил к шестнадцати, думал, дело верное, а оказалось — перебор, подвернулась семерка.

Семькя Кульков протянул, упирая на «о»:

— Го-во-рил ведь го-ло-ве!..

Хотя никто никому ничего не говорил и не мог говорить: в картах каждый погибает в одиночку.

Брийборода тоже рискнул. Усмехаясь, шевельнул короткими усами, погладил их левой рукой, правую протянул Сашке.

— А ну, шо воно за вареники? Положи один на долоню, покуштуем, чи смачни, чи ни!

Взглянув на карту, притих обрадованно. Он уже чувствовал себя на коне: у него двадцать. Андрианов спокойно спросил:

— Еще?

Брийборода махнул рукой:

— Своя!

Андрианов вынул из колоды, как саблю из ножен, туза, приложил к нему свою коренную десятку бубей и хлестнул ими по банку.

— Извольте бриться! Го-го-го-го!..

Он наиндючился, кадык выставил, острый нос задрал кверху. Его распирало от удачи.

Михайла задело.

— Шельмуешь, черт! — сказал он с досадой.

— Го-го-го! — ответил счастливчик.

У Михайла больше ни копья, хоть выверни карманы. А ночь только начинается.

«Неужели придется нести вахтеру новые шкары? Хороши шкарята, а на кой они мне? В Сашкин театр ходить в них, что ли? Так он же эвакуирован...»

Матросы, как и поэты, любят выражаться по-своему. Брюки у них —

«шкары», на корабле они не служат, а «огребают полундру»; остаться на флоте пожизненно на их языке означает «трубить до деревянного бушлата». Простим им эту вольность!

Михайло сунул брюки под мышку, подался к проходной. Вахтер долго рассматривал брюки и через очки и невооруженным глазом. Мял, пробовал на разрыв. Даже принюхался.

— Может, на язык положишь?

— Э, мил человек! Бываат, с виду новые, понюхаешь — лежалые, сукнецо подопрело. — Он снял кожаную офицерскую шапку-ушанку, большим негнущимся пальцем той же руки, в которой держал шапку, поскреб лысину, сказал, точно сделал одолжение: — Хорошего человека как не выручить? Держи целенькую! — И сунул Михайлу сотню.

— Не густо!

— Да ить не хлеб покупаю. С барахла, сам знаашь, сыту не быть.

«Ну, черт с тобой!» — подумал Михайло, а вслух пожелал:

— Носи на здоровье!

Так вот, оказывается, почему пол-Ленинграда в матросских брюках ходит: дешево достаются! Однажды на площади Труда попа встретил. Из-под рясы брюки-клеш виднеются. И божьи слуги туда же?!

Всю ночь везло Сашке Андрианову.

Всю ночь грохали бомбы.

ГЛАВА 4

1

Неправда, Ленинград не суровый город, каким привыкли считать его южане. Черты его светлы, легки и радостны. Посмотрите, как мягко приходит зима. Лапчатыми снежинками неслышно ложится она на землю, и земля белеет так ослепительно, что глазам больно. Вода в каналах делается густой, точно смола. Просторные площади хорошеют, дома, отороченные заснеженными карнизами, глядят веселее.

А сколько мостов в Ленинграде! Михайлу запомнилась цифра «257». Где он ее слышал? Впрочем, может, их и не столько. Но все равно очень много. И первый из них — мост Лейтенанта Шмидта. Он такой длинный, что запыхаешься, пока дойдешь до середины. Зато какой простор открывается глазу! Под тобой — «Невы державное течение...». Увесистое слово — «державное». Оно впору Неве. Она быстра, бывает даже гневной, но никогда — суетной. Все в ней крупное: и ширина и глубина. И струи гонит могучие. В ней есть что-то океанское. Когда стоишь на мосту, ветер пробирается в рукава шинели и тебя охватывает торжественный трепет.

Справа, над крышами домов, возвышается темный купол Исаакия.

Выше по течению Дворцовый мост. За ним темно-голубой дворец. Зимний. По нему била «Аврора»; оглянись назад — вон оттуда. Там место вечного прикола крейсера, ставшего историей. Но «Авроры» нет у стенки. Ее отвели в безопасное место, обшили деревом. Ее надо сохранить как самый великий памятник.

Третий мост — Кировский. Его почти не видать в туманной пелене. Левее заметен шпиль Петропавловской крепости. За крепостью на проспекте стоит пестрая мечеть. Головка минарета ядовито-яркая. Посмотришь на нее — и дохнет в лицо нестерпимым зноем Востока.

Нет, Ленинград не суровый город. Он светлый, легкий, радостный, как сама Пальмира!

А слева, совсем близко, возвышается изжелта-серое здание Академии художеств. Там учился Тарас, там он писал своим горем и кровью омытые вирши. Когда Нева в гневе била свинцовыми кулаками в каменные берега, когда она, как старая мать, потерявшая «единого сина, едину надію», посылала проклятия палачу, она была так близка, так понятна Тарасу. На ее берегах родились строки:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитый вітер завива.

Стоя на ее берегу, Тарас обращался к своим думам:

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами...

Отсюда он посылал их, «своих детей», на Украину...

Как далека ты, Украина! Может быть, сейчас намного дальше, чем в Тарасовы времена. Тогда можно было неделю скакать на перекладных и все-таки достичь родной земли. Теперь же, в век паровозов, автомобилей, самолетов, ты недостижима. Тебя накрыла черная немецкая хмара, сквозь которую не пробиться.

Михайло всегда жадно слушал сводки Информбюро. Диктор металлическим голосом перечислял потерянные города — точно гвозди вбивал в сердце. Одна тайная радость грела Михайла: Ворошиловград не сдали, Ворошиловград живет. А раз он жив, значит, Белые Воды тоже зеленеют под солнцем, прислонившись к меловой стене. Значит, ходит по высокому подворью Дора. Может, глядит она на север, вспоминает своего Михайла. Отец и мать тоже вспоминают...

Но нет писем ни от Доры, ни из дому. Все дороги перерезаны. Не пробиться крохотному листику сквозь огни и воды! Если слушают родные радио, то знают: не покачнулся Ленинград, держится, значит, и Михайло стоит при нем...

Спокойный снег сел на сучья — и сады стали пышными, нарядными, точно в цвету. За мостом, ниже по течению, стоит «Киров». Его мачты, реи, антенны резко очерчены сизым инеем.

Вспомнилось первое декабря тридцать четвертого года...

Утром Мишко выскочил за порог и оторопело остановился. Деревья, еще вчера скучные, нагие, сегодня стояли перед ним в мохнатом инее. Телеграфные провода с одной стороны улицы и электрические — с другой низко провисали под тяжестью белой бахромы. Иней обозначил стрехи, оторочил заборы, густо облепил каждый комочек, каждую травяную былочку, края луж, остекленных морозом. Земля глядела светло и радостно, точно под первым снегом. На кусты терна, на заросли дерезы, на густые прибрежные ивняки словно кто-то набросил иссиня-белые кружева. Над тяжелой водой реки поднимался теплый парок. В посветлевшем небе клубились туманы. Сквозь них проглядывало слабое солнце, похожее на желтоватую галушку.

Перейдя мост, Мишко увидел над крыльцом райкома повисший в безветрии флаг. Почему флаг? Может, праздник? Какое сегодня число? Не бывает праздников в эту пору.

Подойдя ближе, увидел ленту, стекающую вниз по кумачовому полю черным ручейком. Красота утра поблекла. Вместо радости заступила тревога.

Убит Киров...

Вся школа — класс за классом — выходила на центральную площадь. Впереди — директор Карп Степанович и завхоз Плахотин. Директор мял в руках шапку из сивого барашка, на левом рукаве пальто — траурная повязка. Он беспокойно бегал взад-вперед. Завхоз Плахотин, всегда вспыльчивый и суетливый, на сей раз поражал своей выдержкой. Он шел в голове колонны. На нем была серая шинель, буденновский шлем с острым шишаком и выцветшей до белизны крупной звездой. Поверх шинели — широкий, потемневший от времени ремень, через правое плечо перекинута портупея, у левого бока выгибалась, как месяц-молодик, кавалерийская сабля в вытертых до белого металла ножнах. На левой стороне груди в алой окантовке светил орден Красного Знамени.

Колонны прибывали, пока не заполнили всю площадь. Посреди людских толп — свежевыструганная трибуна. Видна крупная голова секретаря райкома Торбины. Трибуна маленькая. Поэтому все, кому следовало бы стоять на возвышении, остались внизу. Среди них Мишко заметил отца.

Когда Торбина начал говорить, Плахотин с холодным скрежетом обнажил саблю и вскинул ее к правому плечу.

Ряды скучились, школьники стояли плотной массой. Мишко затылком ощутил чье-то прерывистое дыхание. Он уловил в морозном воздухе кисловатый запах овчины. «От Расиного кожушка», — подумалось ему. И верно, за его спиной стоял Рася, первый и вернейший друг.

Время было тревожным. Об этом Мишку ежедневно сообщала темная тарелка репродуктора, висевшая в хате. Об этом писала газета,

которую по вечерам приносил отец. Об этом говорил на школьных митингах Карп Степанович, директор. Запомнились его слова:

«Поднимаем индустрию, куем колхозы, крепим оборону! Иначе нельзя. Кругом вороги. Одна-однисенька держава рабочих и селян, как остров в море зла и кривды».

По знаку капельмейстера духовой оркестр ударил «Интернационал». Все выпрямились. Потянул ветерок, флаги ожили, послышались глухие выстрелы кумачовых полотнищ.

Когда капельмейстер после долгой концевой ноты оторвал от губ чубук кларнета, Плахотин с резким щелчком вогнал саблю в ножны и этим как бы поставил точку. Затем он зычно скомандовал с начальственной хрипотцой в голосе:

— Ша-а-аго-о... мы́рш!

Убит Киров.

Здесь, в этом городе, убит!.. Прошло всего семь лет, а кажется — прошумело столетие.

Кирова нет...

Но оглянись назад. Над темной водой державной реки возвышается исполин «Киров». Имя Кирова заново родилось в броне. Теперь его никакая пуля не возьмет. Помнишь, как бесились немецкие самолеты во время перехода из Таллина в Кронштадт, как им хотелось пустить его ко дну? Но он стволами главного калибра сметал их с неба. Он живой, значит, жив флот. Сухой треск его тяжелых орудий — лучшая музыка для ленинградцев.

Кто сказал, что Киров убит? Неправда, он здесь, рядом!

Нестарая женщина с отечным лицом и голодными синяками у глаз шла по мосту, придерживаясь за перила. Она боялась оступиться, упасть. Серый пуховый платок плотно охватывал ее голову, перекрещивался на груди. Концы платка на спине стянуты узлом. Женщина оттолкнулась от опоры, по-пьяному переступая, пошла через трамвайную линию.

Смотри, Михайло, смотри во все очи, не отворачивайся, не закрывай лицо руками. Вот она, правда. От нее спазмы в горле. Эта женщина отдала тебе свой хлеб. Тебя кормят и одевают за ее счет. А она завтра упадет у станка, умрет с голоду, не помыслив ни о славе, ни о награде. Тихо, скромно упадет, как падают настоящие люди. А ты, признайся, горюешь, что дважды обещали дать орден и не дали ни разу, ты тоскуешь по громкому подвигу. Ты хочешь умереть красиво. Если бы увидел тебя комиссар Гусельников, он сказал бы: «Ты щенок, Супрун!»

Погляди теперь, суровый ли город Ленинград!

Суровый город!

Сады его изрыты солдатскими лопатами: там огневые позиции артиллеристов. На крышах домов зенитные гнезда. Стекла окон перекрещены белыми наклейками, точно грудь матроса-фронтовика пулеметными лентами.

Почему не светит золотом шпиль Петропавловки? Потому, что на него надели чехол, как маскировочный халат на солдата!

Ты видел, как в ночной темноте разводятся мосты, как они заламывают свои узловатые руки? Не пощады просят те руки. Они грозят раздавить каждого, кто сунется сюда непрошено!

2

Неужели придется крутнуть ручку взрывателя?!

Вокруг белым-бело. И на Балтике, и под Москвой, и на Украине. И везде они — фашисты, враги, черные на белом снегу. Как они пришли сюда? Как ворвались в нашу жизнь? Почему?

Нам говорили:

— Чужой земли мы не хотим, но и своей ни пяди не отдадим врагу! Воевать будем на чужой территории!

Мы пели:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!

Мы видели фильмы о том, как воздушные армады с красными звездами на плоскостях в прах стирают вражеские базы, душат войну в самом ее зародыше.

Мы верили:

граница на замке!..

Воевать малой кровью!

А за крохотный кусочек земли мы положили морскую бригаду...

Почему, почему?..

Перкусов как-то в споре заявил:

— Мы отступаем для того, чтобы измотать их. Кутузов делал так же. Москву отдал, не побоялся!..

Милый Перка, золотая наивность! Видно, не от хорошей жизни отступал фельдмаршал. Неужели ты думаешь, что он хотел согреть свое старое сердце на московских пожарах?.. Изматывают врага, когда нет другого выхода. А если ты могуч — сокрушай, бей, разноси в пух и прах, не давай врагу опомниться!

Кажется, так учил Суворов?..

Михайла все время мучает мысль: как могло случиться, что Германия, далекая от нас Германия, стоит у ворот нашей столицы, бьет нас от моря и до моря?!

Неужели все, чем жил, рухнет, пропадет?!

Морская служба долгая. Пять лет, и ни дня меньше. Есть в этой службе два светлых зазора — два отпуска: один на втором, другой на четвертом году.

Прошлогодним летом Михайло был дома. На станции Чертково его встречали братья Иван и Петько, студенты университета. Михайло пошутил:

— Два брата умных, а третий матрос!

Шутка была с горчинкой. Но встреча — радостной. Пикапчик директора МТС быстро домчал братьев до Бороновки. Хорошо дома. Но больше двух дней не высидел. На машине, груженной зерном, мотнул в Белые Воды.

Дора просила не говорить по-городскому (в городах Украины говорят обычно по-русски), просила забыть на это время, что он старшина второй статьи.

Вместе ехали до Харькова. Дора онемела от радости. Только вздыхала и боязливо притрагивалась к выбеленному гюйсу, что так славно обнимал его плечи; притрагивалась к золотой звездочке с красной сердцевинкой, что нашита на рукаве, чуть выше двух полосок желтого галуна. Полоски должны быть узкими, как положено младшему командиру. Но кто же будет сам себя обкрадывать? Нашил пошире. Некоторые офицеры на харьковских улицах, завидев такие нашивки, первыми тянули руку к козырьку. Михайло, отпуская локоть Доры, отвечал им тем же, но с некоторой небрежностью, по-морски. Дора спрашивала:

— Любый, тебе неудобно со мною?..

Почему Дора пошла в педагогический?

Побоялась провалиться в медицинском! Аттестата отличника она не получила. Физик поставил четверку. Мстил за Михайла.

В опере смотрели «Лебединое озеро». Черный коршун бил крыльями, кружился вокруг беззащитного лебедя. Михайлу казалось, что ненавистный физик над Дорой измывается. И крепче прижимал ее локоть к своему боку.

Провожали Михайла Иван и Дора. Ивану только руку пожал, а с Дорой простился по-настоящему. Полдень был солнечный. Иван и Дора остались на перроне, они все уменьшались, уменьшались, пока совсем не скрылись из виду.

От Доры последнее письмо было в августе. Получил в Таллине. Писала, что в институт не вернется. Разве теперь до учения? Иван

тоже писал в Таллин. Известил, что идет добровольцем в студенческий батальон. Не пускали, предлагали эвакуироваться вместе с университетом, просили не бросать научную работу. Все равно пошел. Иначе не мог.

А где Петько?..

За окном мельтешит нетерпеливый снег. В кубрике (для моряка любая комната — кубрик) не топлено. Воздух прогорк от табака. Михайло лежит на койке одетый. Шинель туго-натуго затянута широким ремнем: так теплее. Потолок белый, снег за окном белый. Белым-бело кругом. И на белом — черные фигурки людей. Бегут, бегут. И черные взрывы, и черные танки... В складах порта стены тоже белые. И у белых стен смоляно-черные бомбы.

Неужели придется крутнуть ручку взрывателя?

3

Супрун ввел вахту. Каждый из семи поочередно обходил все установки, осматривал бомбы, детонаторы, проверял проводку. Перед бойцом, который нес вахту, открывались все входы-выходы. Он мог часами торчать на складе, никто ему ни слова: подрывное дело не шуточное.

Через некоторое время стали замечать недостачу. Пошли разговоры. Доложили командиру порта. И на складах опять сходились концы с концами.

А под матрацем у Сашки Андрианова, чудо-парня, обнаружились новые сапоги с белыми подковками на каблуках. Добротные яловые сапоги, не чета эрзацам с кирзовыми голенищами и свиными передками.

Брийборода помял высокие голенища в руках, заключил:

— Гарни халявки!

Михайло почувствовал, как задергалась жилка над виском. Шрам за ухом налился кровью, даже запекло.

— Мародеришь, гадюка ядовитая?!

Он выхватил у Брийбороды сапог и наотмашь секанул им Андрианова по голове. Спасла черная шапка-ушанка с суконным верхом. Кованый каблук рассек сукно, ватную подкладку, чиркнул по коже. Андрианов отшатнулся к стене, снял шапку, приложил руку к темени. Затем долго рассматривал ладонь. Вишневое пятно расходилось по ее глубоким бороздкам.

Заметив кровь, все притихли. Послышался изменившийся голос Андрианова. Тихо, с выдохом, он посулил:

— Мы еще встретимся, старшина!..

Капитан первого ранга на этот раз не приглашал садиться. Он вскочил с обтянутого коричневой кожей кресла.

— Кавардак развел!.. Воровство, картежные игры!.. Спишу на передний край, суну в самое пекло!..

У Михайла пошли круги перед глазами. Показалось, будто его приподняло волной, качнуло. Он готов был взорваться. Но ответил, сам поражаясь своему спокойствию:

— Та воно не дуже страшно. Ниже рядового не разжалуют, дальше фронта не пошлют. А смерть бачили. Не так страшна, як ее малюют. Можно привыкнуть.

Командир порта вдруг заговорил по-мирному, совсем обезоружив Михайла:

— Брюки-то как пообтрепал. Колокола носишь? Гляди, клинья-то выцвели, выделяются. Портной, пройдоха, надул: не то сукно поставил... Что бирюком глядишь? Или я матросом не был? В кителе родился? — Он сел, взял карандаш. — А пуговицы зацветут скоро. Подраил бы. Бляха тоже пасты просит. Плавсостав же ты, черт возьми, не береговик! Где гордость? Хватит вам бездельничать. Будете ходить в мастерские, готовить боезапас. Война только начинается. Много еще мин перекатать придется. С Андрианова сдери лычки. Сведи в комендантское управление. Там формируют роту штрафников. За все недостачи ответит.

Поверх черной шинели Михайло туго затянул армейский ремень. На ремне низко болтается кобура с наганом.

Андрианов закатал подушку в шерстяное одеяло, взял под мышку. Хотел было с каждым проститься за руку, но побоялся, что не подадут руки, окинул кубрик белесыми глазками и, бодрясь, сказал:

— Пока, матросы. Встретимся на спардеке!

Спардек — надстройка в средней части корабля. Там стоят шлюпки. Туда братва часто лазит «загорать».

Моряки — народ простой, отходчивый. В горячке могут зашибить до смерти, а когда увидят твою подавленность, твою беду — обязательно подадут руку.

— Ну, бывай, бывай. После первого же огня могут освободить! Это точно! — сказал Перка.

Степан Лебедь сунул ему большую ладонь и улыбнулся. Сам он вон какой верзила, а лицо мелкое, застенчивое. И плечи неширокие, покатые. Ходит короткими шажками, поводя боками,— уточкой ходит.

— Вон куда повело-то! — заметил Сверчков.

Кульков протянул:

— Быва-а-ат.

Люсинов обычно молчит или нерешительно поводит плечами. А тут оживился:

— Бумажки с собой, что ли, потащишь?

— А то, может, сдам тебе на хранение? Подставляй карманы! Бумажки дома, на Васильевском, седьмая линия. У меня отец. Кормить надо старика. Я не безродный вроде тебя!

Ну, это уже лишнее. Все знают: Андрианов не любит Люсика, но зачем в последнюю минуту такие слова?

— Держи! — Брийборода подал руку последним.

Сколько снегу понамело! Завалы! Кому расчищать!.. Белый город. Белая тишина. Кажется, только две живые души во всем мире: Супрун и Андрианов. Ледяной ветер обжег шеи. Пришлось поднять воротники. Андрианов, наклонясь к самому лицу Михайла, попросил:

— Старшина, отпустил бы, а?

— Як так, як так?!

— Ну, заладил! Перка говорит, что ты чумной. Чумной и есть!

— Куда подашься? К фрицу?

— Чудак! На кой он мне? В экипаж! Прибегу, как другие. Прорвался, мол, из окружения.

— Так и поверят!

— А то нет? До сих пор, сказывают, пробиваются таллинские ребята.

— А дознаются?

— Ребята и фамилии свои меняют и год рождения. Кто проверит? Что к месту, то и говорят. Даже звания сами себе дают, если нужно.

— Все равно одна дорога — на фронт.

— А может, и на «коробку»? Если на «передок», то не в штрафную же, не к смертникам.

— Боишься? — спросил почти участливо.

— Боюсь, старшина.

— Зря. Везде люди. Привыкнешь.

На обратном пути решил навестить Михайлину, сестру двоюродную. Ее семья где-то в Болгарии, а она — здесь. После Мариупольского техникума Михайлину послали в Ленинград, в политехнический институт. Наверное, уже на четвертом курсе. Михайло тоже был бы на четвертом...

Дерптский переулок узкий, весь завален снегом. Глубокая, как траншея, тропка протоптана у самых домов. Видно, люди ходят (которые еще могут ходить), держась за стены. В переулке общежитие. Дело к вечеру. Должна быть дома.

Какая она, Михайлина? Давным-давно не видел ее Михайло. Отец, Матвей Семенович, еще будучи председателем коммуны, часто ездил

в Мариуполь. Однажды прихватил с собой и Мишка, растолкав сонного на зорьке. Остановились у тети. Михайло помнит: дом на горе, на самой окраине. Сад, кусты крыжовника, крупные кровянисто-лиловые ягоды малины, похожие на крохотные стоячие шапки. Тетя принесла на веранду полное сито ягод. Сперва пили чай, давили их ложечкой в стакане. Затем тетя сказала:

— Нехай детки побалуются! — И разрешила брать горстями...

При одном воспоминании об этом по-голодному затошнило. Во рту полно слюны. Казалось, снег пахнет малиной. И всюду густой запах малины. Голова кружится, точно на карусели катаешься.

Слаб ты, Михайло. Никудышный. Одна форма на тебе морская, а сам уже не моряк. Глядел на себя в бане? Скелет скелетом. Это с трехсот граммов хлеба. А как же тем, кто по сто двадцать пять получает!.. Михайлину ты видел девочкой — лицо круглое, розовощекое. Теперь, если пальцем не укажут, ни за что не узнаешь.

Долго стучал в парадное — не открывают. Из подворотни выглянул бородатый старик, закутанный в женский платок.

— Понапрасну тревожитесь. Давно уехали. Ищите в Казани.

И сразу стало радостно. За сестру порадовался: в Казани спокойнее и хлеба, наверно, дают побольше.

Будь здорова, Михайлина! Учись. Потом выйдешь замуж, пойдут дети. Ты потеряла семью — найдешь новую. А горе, оно забывчиво. Доброй тебе ночи, Михайлина!

ГЛАВА 5

1

Петр I, как известно, прорубил окно в Европу. Но не всегда в доме окна настежь. Иногда и закрывать приходится, чтобы кто злого умысла не учинил. Для большей надежности окна прикрывают ставнями, перехватывают поперек железной шиной.

Петр Алексеевич на императорском боте обошел вокруг острова, собственноручно промерил глубину. Северная часть оказалась зело непригодной: мели. Южная — поглубже, и берег для стоянок удобнее. Имя острову — Котлин. Уверяют, это значит: котел. Добро, название со значением! Соорудили причалы, воздвигли склады, опоясав их каналами, как в Петербурге. Вдоль северного берега возвели казармы в два этажа, со сводчатыми потолками. Стены такой толщины, что ядром не прошибить. При казармах зело необходимые госпиталь и гауптвахта.

Так начал расти Кронштадт, город-крепость. Он был ставнями петровского окна. Железной шиной служили форты: насыпные островки

на отмелях западнее Котлина. Они залиты бетоном, на них установлены тяжелые орудия.

Петр изрек:

— Оборону форта и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело!

С тех пор ни разу нога завоевателя не ступала на камни Кронштадта. Ни одному вражескому судну не удавалось приблизиться на расстояние видимости. Только однажды, в годы гражданской войны, торпедные катера Британского королевского флота проникли на Большой рейд и тут же были в щепы разнесены снайперскими ударами корабельных комендоров.

Великие заветы моряки выполняют свято.

Сейчас стоит Петр в саду своего имени, на высоком камне, в ботфортах, опершись на шпагу. Перед ним военная гавань, корабли — кормами к стенке.

Неужели тяжелому германскому ботинку удастся ступить на остров?..

Портовый буксир дышит, как загнанный конь. Из отверстия у самой ватерлинии со свистом вырывается пар. Когда отверстие при бортовом наклоне погружается в воду, буксир, словно утопающий, пускает яростные пузыри. Суденышко тащит за собой на стальном тросе баржу. Баржа огромная, буксир махонький. Если посмотришь со стороны, покажется, что моська ведет на привязи слона.

Люки баржи плотно закрыты лючинами и обтянуты брезентом. В трюмах снаряды. Впереди полтора десятка миль голой воды. Хотя бы туман, хотя бы дождь прикрыл серой пеленой. Нет же. Солнце светит во все лопатки. Штиль, вода не колыхнется. Цель как на ладони. Наводи с Петергофского высокого берега и не торопясь расстреливай!..

Буксир идет из Ленинграда в Кронштадт. Канал кончился. На траверзе Петергоф. Шеи у всех становятся короче, затылки плотно прижимаются к плечам. Вот сейчас саданет!

Жестяно прошелестел первый снаряд и упал по правому борту. Далеко пронесло, даже брызгами не обдал. Второй лопнул слева.

— В вилку берет, гадюка! — не выдержал Михайло. — Третий угодит в трубу.

Следующий снаряд упал впереди по ходу. Затем белый столб вырос у кормы баржи.

— Перехристив. Чи ты бачив такого? От яки вареники! — Брийборода храбрится. А коленки, поди, подрагивают.

На буксире и Лебедь, и Перкусов, и оба Сеньки: Сверчков и Кульков. Перка и Лебедь боязливо улыбаются. У Сеньки Кулькова при

взрыве чуть передергивается рот. А его тезка Сверчков только луп-луп крохотными глазками.

— Вона, как причесыва-ат!..

Минеры тесно сбились по правому борту, за ходовой рубкой. Как-никак защита. В Ленинграде привыкли ходить с той стороны улицы, откуда бьют орудия, с «подснарядной» стороны. Привычка.

Нет только двоих: Андрианова и Люсинова. Первого кинули в штрафную, точно камень в залив, и никто о нем ничего не слышал. Второго недавно списали на «морской охотник». Люсику завидовали: повезло парню. А им, видно, опять придется «горшки» катать в минных хранилищах.

— Эх, шут с ними, с «горшками», дойти бы до Кракова!..

Три года назад все было по-иному. Шел Михайло Супрун на белом пароходе, не думал ни о каких снарядах, ни о каких самолетах, ни о каких немцах. Германия тогда была далеко, за тридевять земель. Впереди, подставив майскому солнцу огромную голову морского собора, покачивался Кронштадт. Он казался дредноутом, стоящим на якоре. Дымили высокие трубы морского завода. Вонзалась в него громадная радиомачта. Резко взвизгивали ревуны. Позванивали судовые колокола, отбивающие склянки.

Теперь все проще. Сказочный дредноут уплыл в прошлое. Остался обыкновенный остров, и на нем город — голодный, усталый, в ранах разрушений. Вокруг города-острова два непроходимых пояса: пояс воды и пояс огня.

Из Таллина можно было уйти на восток морем. Из Ленинграда можно пробиться по ледяной Ладожской дороге. Из Кронштадта отступать некуда!..

2

В мае тридцать девятого года Михайло Супрун попал в школу оружия, которая готовит для кораблей минеров, торпедистов и комендоров. После месячного карантина объявили увольнение «на берег». Растерялся. Что делать там, «на берегу»? Отвык от свободы. Первые дни так тосковал по воле, как ни один арестант не тоскует. А тут растерялся. Чуть ли не силой вытолкнули.

Побывал в переулке Надсона, поглядел домишко деревянный, в котором жил поэт. Затем ушел за городские ворота, на кладбище. Там тихие сосны, стволы желтизной отсвечивают. Разыскал мраморное надгробье. Под ним покоится Лидия Койдула, эстонская поэтесса. Тоже в Кронштадте жила.

Почему потянуло к поэтам? Неужто опять вернется к стихам? Нет, все мосты сожжены...

Когда пришла первая посылка из дому, яблоки и самодельные пряники показались до того славными, что слезы на глазах выступили.

Но для всего свое время. Не успел еще отрасти белесый чубчик, как Михайло (да и все так!) стал корчить из себя старого морского волка: «Вся корма в ракушках». Правда, в это никто не верил. Особенно девчата. У них глаз наметанный. Салагу за милю видят. Избалованный народ—кронштадтские девчата! Мало их на острове, а матросов вон сколько! Хлынут морячки в увольнение — кажется, море из берегов вышло. Выбирай, кого душа пожелает.

Не хочешь матроса — бери офицера. Посмотри, сколько лейтенантов из училища прибыло. Молоденькие, точно цыплята из инкубатора. Сами «пришвартуются», только гляди поулыбчивей.

Избалованы кронштадтские девчата. На материке другое дело. Там матрос в цене!

Повидался Михайло со своими земляками Василием Луговым и Жекой Евсеевым. Оба они одеты в солдатское. В береговой части служат, что стоит на мысе у Толбухина маяка. Говорят, горе, а не служба, одна насмешка: вокруг море, а ты не моряк. Даже домой писать стыдно. В увольнение выйдешь — кругом форменки да бескозырки. Ходишь среди этой белизны зеленой пичугой. Одно утешает: есть слух, что переобмундируют в морскую одежу.

Но слух слухом, а дело делом. Жека Евсеев человек нетерпеливый, долго ждать не любит. По сходной цене сторговал себе не очень поношенные флотские «шмутки», держал их на квартире у знакомых. При увольнении переодевался и разгуливал по городу как равноправный мореман. Жека скор на выдумки. За то и на «губе» успел попариться.

Кому что. Одному форму матросскую, другому целый корабль подавай! Откуда у Михайла такая страсть? Он может часами простаивать, глядя на корабли. Вот они приткнулись к стенке узкими кормами. На срезе кормы Герб СССР. На невысоком флагштоке белое полотнище с алой звездой, с серпом и молотом, снизу полотнища — голубая полоса. Под флагом стоит вахтенный с винтовкой. С палубы на стенку переброшены сходни. Корабли дышат белесым паром, обдают теплом, запахом солярки, олифы, вкусным камбузным духом. Ребята запросто расхаживают по палубе. А когда подойдет портовая машина с продуктами, они катают по сходням деревянные бочонки с топленым салом, носят ящики со сливочным маслом, мешки с крупой и сахаром, бараньи туши в белых пятнах жира. На ленточках у ребят золотится название корабля. Не то что у Михайла — общее, ничего не значащее: «Краснознам. Балт. флот». По такой ленточке сразу видно: парень на бережку «отталкивается». Люблю, мол, море с берега, а корабль на картинке. Так все и думают. Попробуй разубеди!

Когда смотришь на линкор, начинаешь задыхаться. О нем и мечтать нечего. На линейный корабль минеры не требуются. Линкор мин не

носит. Дернул же черт пойти на минера! Надо было в дальномерщики проситься. Сидел бы вон там, на надстройке, прикладывался бы к глазкам аппарата. Выше дальномерщика уже ничего нет. Одно ясное небо. Высота-то какая! Говорят, Финляндию видать.

Линкор — это целый город. На нем столько народу, что за долгую службу не с каждым встретишься. Линкор — громадина. Если его раскачает в походе, то потом, говорят, он целую неделю покачивается, стоя на рейде, даже при штиле. Линкор вырабатывает столько электроэнергии, что может осветить весь Ленинград!

Заглавный корабль Балтийского флота — линкор «Петропавловск». Два года назад он ходил в Англию на коронацию Георга VI. На матросах, конечно, все с иголочки. Худших по такому случаю списали в иные места, а лучших с других кораблей на линкор взяли. Орлы подобрались! Перед первой морской державой не ударили лицом в грязь. Стали на якорь в два раза быстрее положенного. И глядели все молодец к молодцу, все на них пригнано, комар носа не подточит!

Британские власти кораблям всех наций выделяли места для содержания провинившихся под арестом. Командир нашего линкора сказал:

— Для советских моряков гауптвахты не потребуется!

Так и вышло. Ни одного нарушения, ни одного ареста. А вот немцы, — те, рассказывают, разодрались в дым. Пришлось им уйти раньше срока, не повидав церемонии.

Мечтал о кораблях, а жил в казарме, спал не на подвесной койке, а на деревянном двухэтажном топчане. Мечтал о кораблях, а бегал на строевые занятия, стоял в карауле. Когда шел в минные классы, не сводил глаз с бронзового Макарова, что возвышается на Якорной площади.

Адмирал стоит на гранитной глыбе. Борода развевается на ветру. У самых ног — бронзовые волны. Внизу — якоря перекрещенные. Хороший был старик, говорят, умный. Это по его проекту ледокол «Ермак» построен. Адмирал простер бронзовую руку к северо-западу. Ребята шутят: на козье болото показывает, туда, где рынок. Несите, мол, братцы, свои бушлаты на барахолку.

Так шутят ребята. Но это неправда. Адмирал Макаров строг был по части порядка. Умел и поощрять, умел и взыскивать. Кронштадтские старожилы рассказывают: разодрались как-то матросы «Осляби» крейсер такой был) с солдатами гарнизона. Два дня сражение длилось. Из винтовок палили, из окон второго этажа северных казарм вниз головой турляли друг друга. Вызвал адмирал пожарные команды, комендантские взводы подтянул. Усмирил.

Другой после такого дела в Сибирь отправил бы многих, а Макаров нет. Он приказал: каждому матросу пришить на шинель по серому армейскому рукаву, каждому солдату — по черному, матросскому. Пусть

приглядываются, привыкают. И приучил. Матросы любили его пуще отца родного.

Погиб адмирал в русско-японскую. На мине подорвался, утонул. Стоит теперь высоко в бронзе. А мимо него, точно валы морские, — поколение за поколением — матросы проходят.

3

Минно-торпедная команда размещается в Северной казарме. Наверху жилые помещения, внизу камбуз, столовая и продовольственный склад.

Михайло Супрун повел свою братву в столовку.

— Эй, чумичка, тащи-ка чего-нибудь порубать! — крикнул он коку.

— Что за рубаки? — недовольно буркнули из камбуза. — На вас не получено. Аттестаты сдали?

— А то как же?

— Пускай Андрианов сухим выдаст.

— Да ты хоть покажись, моржовая голова!

Из раздаточного окна показалось на редкость тощее лицо.

— Вона какими бывают коки! — удивился Сверчков.

Кульков считает своим долгом всегда откликнуться на замечания тезки:

— Быва-ат. У меня приятель на «Грозящем» во какой. — Он показал мизинец. — Не поверишь, что у плиты воюет.

Когда кок назвал фамилию кладовщика, никто не удивился: мало ли Андриановых на белом свете! Но когда кладовщик показался в столовой, когда он развел руками, закинул нос кверху, выставил кадык и протянул свое «го-го-го», все оторопели.

— Гляди-ко, смертник объявился!

— Оце вареники!

— Что, Минька, я же говорил! — кинул Перка Михайлу, будто подводя итог спору. Затем, пожимая большую ладонь Андрианова, добавил: — Герой!

— От черт, га! — Так Степан Лебедь выразил свое восхищение.

Михайло помнил о деле:

— Санька, покормишь, а?

— Что за вопрос? Го-го-го-го!..

Он принес медный бачок с рыбьей мелочью.

— Экстра! Вчера матросы взрывали толовые шашки у форта «Петр», набрали. Мы ее на олифе поджарили.

— Це тавот, а не олифа. Хиба запаху не чуешь?

— Какая тебе разница? Тавот тоже смазочный материал.

Горчило во рту, подташнивало. Но рыбу всю умяли.

Сеньтя Сверчков заметил, что его желудок долото может переварить. Степан Лебедь сказал:

— Хочь вовна, абы кишка повна!

Вовна — шерсть по-украински.

Сашка Андрианов, довольный, спросил Михайла:

— Ну как, старшина?

Михайло ответил шуткой:

— Перекусив, як собака мухою!

В окно столовой видна улица, выстеленная булыжником. На той стороне стоит краснокирпичное здание. Стены тоже глухие. Сбоку небольшая дверь. Что здесь было раньше, никто не знает. Теперь сюда свозят покойников. Зимой на саночках возили. Сейчас стали класть на тележки. Часто даже дверь путают: вместо покойницкой везут к подъезду казармы, просят вахтенного:

— Матросик, принимай, сил больше нет!..

И все так просто, без слез. Видно, блокада все слезы выпила.

Ночью Михайло проснулся. Ему показалось, кто-то на нем топчется. Так и есть. Кто-то сидит на животе. Пригляделся — крыса. Громадный грызун смотрит поблескивающими глазками, шевелит волосинками усов. Дернул одеяло — крыса перелетела на соседа. Михайло толкнул его. Тот всполошился:

— Тревога?

— Крыса.

— Чего?

— Крыса, сказано.

— А-а-а... Энта пустяки! Не пужайся, сынок, привыкнешь! — Сосед зевнул, звучно поскреб тельняшку на груди. Ему было за пятьдесят, седой весь. В белую ночь седина особенно заметна. Сосед из «переменников» — так называют стариков, которые срочную службу отбыли давным-давно, а теперь опять мобилизованы. Фамилия старика — Лукин. На фронт его не взяли, слаб. Мины катать не может. Пристроили сапожником. Обувь чинит команде, тоже дело!

Лукин продолжал:

— В войну всякая мразь наружу вылазит! Развелось тышшами. По головам ходят. В германскую, помню, в окопах кишмя кишели. Не хуже теперешних. А лютые — живых грызли! Да, сынок, кто в окопах не бывал, тот и горя не видал!

— А говорят: кто в море не бывал...

— Всяк на свой лад... В Питере однажды вышли они из калашниковских складов на водопой. Крысы, значит. Туча ползет по земле. Живая туча, вот те крест. Тут шутки плохи — беги куда глаза глядят! Ну, все и побегли. А один извозчик — герой выискался! — сидит на козлах

и коня понукает. Лошадь — скотина умная, она смерть чует, идти не хочет, на дыбки взвивается. Извозчик стеганул ее как следует, рванула. Думал, проскочит: копытами истопчет, шинами подавит. Не тут-то было! Облепили комьями и лошадь и хозяина. Через пять минут одни кости на мостовой белели. Сила, значит!

Кто-то недовольно попросил:

— Дед, кончай баланду травить!

Переменник посоветовал Михайлу напоследок:

— Одеяло-то на башку натягивай. Не ровен час, уши обнесут.

Михайло спал тревожно. До самой утренней дудки ему снились серые крысы. Они строили ему рожи, впивались зубами в пятки.

4

Дом флота — на Июльской улице. Громадное желтое здание фасадом повернуто к гавани. Перед зданием скверик. В скверике памятник Пахтусову, исследователю Новой Земли. Через улицу — Итальянский пруд. Здесь стоят штабные катера. Среди них белый, точно снег, катер командующего. В двух нижних этажах Дома флота клуб, библиотека, бильярдная. Наверху штаб. Над крышей гнездо сигнальщиков, так называемый пост СНИСа — службы наблюдения и связи.

В клубе идет концерт. Приехала ленинградская эстрада. До Лисьего Носа, что на северном берегу залива, ехали поездом, от мыса до Кронштадта — на быстроходном катере.

Война войной, а без зрелищ воякам тошно. Соскучились по смеху, по меткому словечку, каждой завалящей шутке рады.

На сцене конферансье, пожилой мужчина. Кожа на щеках обвисает, живот тоже вислый. Посмеивается над собой:

— До войны, бывало, выходишь на сцену, все удивляются: живот словно подушка! А сейчас, посмотрите, одна наволочка осталась!

Матросы хохочут, бьют в ладоши, просят:

— Сатиру давай, сатиру!.. Пленного фрица!..

В перерыве Михайло и Перка столкнулись с командующим. Он высокий, плечи покатые, лицо худое. Посторонились. Остолбенели. Рядом с командующим его жена. В темном платье с глубоким вырезом на груди. Совсем молодая, а волосы до белизны седые, точно крашеные. Она заметила Перкусова, улыбнулась ему, кивнула. Рябое лицо Перки порозовело. Он даже зубы показал в улыбке. Правда, не стоит их выставлять напоказ: они у него неровные, прокуренные. И лицом не взял Перка. Но Михайлу он ближе других. Тянет к нему, как к Расе.

Когда высокое начальство проследовало дальше, Михайло толкнул друга в бок.

— Знаком?

— Приходилось встречаться.

— Может, доложишь своему старшине, где и как?

Перка все еще следил за удаляющейся женой адмирала, думал о своем.

— А?..

— Открылся бы!

— Да, Минька, дела...

Михайло вытянул из друга всего несколько слов. То были жестокие слова.

Жена командующего шла из Таллина на «Веронии». Когда транспорт тонул, она вместе с другими пела «Интернационал». Но в висок себе не выстрелила, просто бросилась в воду. На второй день ее заметил торпедный катер. Подошли поближе. Разглядели: седая женщина руками держится за свинцовые колпаки гальваноударной мины. Понятно, не выбирала, за что ухватиться.

Удивительные случаются вещи: мина, предназначенная убивать, спасает жизнь человеку!

Но как взять женщину на катер? Подходить вплотную опасно. Просили уйти от мины, плыть к катеру. Но бесполезно. Она и рада бы, да не может: руки омертвели.

Перка бросился в воду, подплыл к женщине. Один за другим стал разжимать ее онемевшие пальцы...

Острым осколком вошел в память таллинский переход, потому так часто напоминает он о себе.

Судовые колокола отбивают склянки. Михайло подумал: «Точно петухи перекликаются». Вон где-то далеко, а вон совсем близко. Глуше, резче. Протяжнее, короче. По три двойных удара. Двадцать три часа. Смена вахты, смена нарядов и караулов.

Солнце зашло. А небо белое. Светло. Странное сочетание — война и белая ночь! В войну все должно быть темным, замаскированным. А тут словно день. В светящемся воздухе четко выступают линии зданий, каналов, деревьев, корабельных мачт. Как днем, но не совсем так. Днем видишь тени. Сейчас их нет. Свет ровный, не резкий, а мягкий. Поэтому он кажется призрачным.

Белая ночь размягчила сердца. Люди успокоились, сняли пальцы с курков, гашеток, рычагов, штурвалов.

Ни выстрела, ни взрыва, ни воя бомб.

Если бы мир оставался таким всегда!

Вера цеплялась за рукав, просила Михайла побыть с ней. Перкусов пожелал с подковыркой:

— Ни пуха, Минька!

И пошел в казарму. А Михайло с Верой завернули в небольшой скверик, сели на скамейку.

Вера, или, как она себя называет, Века, — в матросской форме. Только вместо брюк она носит узкую юбку, вместо бескозырки черный берет. Таких на флоте называют эрзац-матросами. Века работает в доковой команде коком. Михайлу не нравится ее имя. Впрочем, не столько имя, сколько ее работа. Голос у Веки грубый, руки мужские. А лицо женское, чуть смугловатое, красивое, как у южанок. Глаза большие, брови ровные, резко очерченные. У глаз грубые складки. Кажется, вот-вот они застонут от боли.

В скверике когда-то были клумбы, на них цвел пахучий табак, раскрывались ночные фиалки. Сейчас клумбы разровняли, красуется узловатая картофельная ботва. Картошка в блокаду дороже всяких фиалок.

Михайло сел рядом с Векой, но не близко. Помимо воли так получилось. Века догадалась:

— Чистенький! Замараться боишься! Уже наговорили! А ты не бойся. Не так страшен черт, как его малюют! — Она с наслаждением била его словами, точно мстила за что-то. — Барчук занюханный! Да я бы тебя на пушечный выстрел не подпустила, если бы не это. — Она неопределенно взмахнула руками. — Если бы не так... Тебе цена в базарный день копейка!

Михайло вскочил:

— Стоп травить! Уйду!

Она дернула его за рукав.

— Сучок есть? (Сучком называли эрзац-табак.)

Михайло достал жестяную коробочку, открыл. Века взяла щепоть и положила на бумажку.

— Садись. Что без толку торчать? Не тебя бью, себя хлещу!.. — Она немного помолчала. — Тянет к тебе... Черт знает почему тянет! Ты же слова путного не скажешь, а вот... Видел ли ты хоть что-нибудь черное в своей жизни?

— Приходилось...

— Ненадкушенный ты какой-то. Может, потому и тянет?.. Ты не гляди, что у меня каменные руки. О, знаешь, какими они были! Но не в этом счастье. Счастье в том, что жизнь только начиналась. И все полетело к черту. Вторую войну выношу. — Она возбужденно взмахнула руками. — Это вторая. Первая пришла раньше... Подъехала машина к ювелирному. Всех пихнули в «черный ворон». Магазин — на пломбу... Кто-то крупно погрелся! А мы, продавщицы, горели, как мелкие спички. — Она глубоко затянулась. — А потом... Собрали нас, арестантов, из многих каталажек, везли на остров, в трюме. Теснота. Вонища. Трюм дюймовыми досками перегорожен. Плотной стеной. С одной стороны бабы, с другой — мужики. Взбесились. Хоть волосы на себе рви! Мужики всей оравой с разбегу стукались в доски. Стена треснула, рухнула. Мужики—сюда, бабы—туда... Люди, оказывается, бывают страшнее зверей!.. Меня тоже кто-то сгреб. Измял всю. Исколол лицо

бородой... Чистенькая была, вроде тебя... Эх, если бы не эта, вторая! Я же не урод какой-нибудь, не выродок. Еще бы как могла пожить!.. Могли быть дети, семья... Ну, скажи, правда?.. Холодно у меня вот здесь. — Она потерла грудь ладонью. — Думала, выйду на волю, заживу совсем по-другому, совсем другой стану... Ну, вот как ты... Разве нельзя стать настоящим человеком, если сильно этого хочешь?..

ГЛАВА 6

1

Длинный сводчатый коридор. В конце его окно. У окна столик дежурного и голубая тумбочка с телефоном. Дежурный назначается из младших командиров. Он носит наган и нарукавный знак «рцы». Дежурному положено носить противогаз. Носит он его или не носит — зависит от командира, капитан-лейтенанта Родина. Вернее, от его настроения. Если по городу бьют снаряды, значит, дежурному можно ходить по команде без противогаза: не до него. Если время спокойное, у Родина зрение обостряется до предела. Он может заметить, что у тебя шнурок на ботинке с узлом — непорядок! Каким-то непонятным образом он догадывается, что у тебя в кармане платок несвежий, — негигиенично!

Родин маленького роста. Черный как жук. Быстрый, верткий. Михайло называет его «моторным». Даже песенку вспоминает:

По дорозі жук, жук,
По дорозі чорний.
Подивися, дівчинонько,
Який я моторний!

Уже все знают эту песенку. Родин тоже о ней знает. Она ему даже нравится. И вообще, он дядько неплохой, но бывает, выходит из берегов.

Родин до смерти боится снарядов. Он необстрелянный. И воды боится. Не привык: в штормах не бывал, в море не тонул. Михайло готов простить ему это. Но не может примириться с тем, что Родин любит похвастаться, козырнуть чисто корабельным словечком, любит напомнить, что его команда живет по корабельному расписанию, получает денежное, вещевое и прочие довольствия, как плавсостав. Береговик до мозга костей, а корчит из себя моремана!

У дежурного на шее надраенная до золотого свечения дудка. Прошелся по кубрикам, посвистел в заливистую, приказал:

— Выходи строиться!.. Старшина первой статьи Супрун, веди команду!

Михайло — уже «первой статьи»! Уже три золотые полоски красуются на его рукаве. Он собрал ребят, небрежно кинул дежурному:

— Запиши восемнадцать в расход!

Это значило: придем поздно, пусть кок оставит обед.

— Почапали, труженики моря! — обратился Михайло к столпившимся матросам.

— Отставить! — Родин вылетел из своего кабинета, поднял голос до визга. — Это военная команда или сборище разгильдяев? Я вас научу свободу любить! — Он выбежал вперед, выкинул правую руку в сторону: — Становись! Быстро-быстро!.. Равняйсь!.. Смир!.. И не ходи голова!.. Старшина второй статьи Лебедь, выйти из строя!

Лебедь вышел. Сделал поворот кругом. Запнулся. Чуть не упал. Замер перед строем. Плечи покатые. Руки прижаты к бедрам, точно крылья. Совсем уточка!

— Старшина Супрун, на шкентель!

Михайло стал на шкентель — самым последним в строю. Родин, не глядя на Михайла, сказал:

— Как дал звание, так могу и отобрать!

Михайло вспузырился, точно бурун за кормой.

— Вот ваши ленты, дайте мои документы!.. — Он рванул нашивку — и золотая лычка осталась в руке.

Капитан-лейтенант скомандовал на предельной ноте:

— Отставить!

Это отрезвило Супруна. Руки опустились.

Родин понизил голос, стараясь не доводить дело до крупного скандала:

— Ты, Супрун, брось партизанить! Я из тебя пыль вытряхну! Специалист ты хороший — нет слов. Но зачем же нашивки срывать! — Родин переводил разговор на шутку. Улыбнулся, подмигнул матросам. Матросы хохотнули. — Знаешь, что тебе за это положено? Моли бога, что я не держиморда!

«И тут он набивает себе цену, — подумал Михайло. — По любому поводу выпячивается... Я тоже хорош, в бутылку полез!»

Буксир доставил баржу на форт «Чумный» и подымил обратно, в сторону морзавода. У меня, мол, еще вон сколько дел! Грузитесь тут. Буду нужен — вызывайте!

Форт напоминает неприступный средневековый замок. Он почти круглый. Строения вырастают прямо из воды. Их стены сложены из темных каменных плит. Посмотришь на форт и подумаешь: а действительно он чумный! Интересно, почему он такой мрачный? Может, от сы-

рых туманов? Кронштадт занимает одно из последних мест в мире по количеству солнечных дней...

Суда и баржи, подходящие к форту, швартуются у бетонированной стенки. По стенке проложены минные рельсы, уходящие за глухие железные ворота. Двор — узкий колодец — устлан железными листами, чтобы легче было разворачивать минные якоря или тележки. Со двора сводчатые коридоры ведут в хранилище. Там даже летом собачий холод. В нижних этажах складов — мины и зарядные головки торпед. В верхних — что полегче: взрыватели в ящиках, запальные стаканы, капсюли, шнуры, машинки, минный сахар в запаянных коробках из оцинкованного железа. Хорошо бы такую коробочку с собой унести. Сладко бы пожил денек-другой...

Такая неохота браться за железные рымы-кольца, такая неохота катить мины на пирс! В горле печет, одышка мучает, ноги дрожат, подламываются. Разве ее, такую дуру, покатишь, когда в ней весу чуть ли не тонна!

Вначале всегда неохота. А разозлишься — ничего. Пойдет работка. Берешь мину за рымы, как за уши, катишь по бетонированному полу, аж искры из-под роликов. А она сидит в своем якоре, точно королева на троне, и ухом не ведет. Подкатываешь к выходному коридору, подцепляешь гаком за окно якоря, свистишь наверх.

— Вира!

И пошла она, пошла на свет божий, только металлический трос поскрипывает. Там ее развернут со скрежетом, пихнут дальше. И вот она уже на рельсах причала. Здесь простор, ветерок, внизу вода рябит. Впереди виден Кронштадт, правее — корабли на Большом рейде. Корабли в камуфляжной окраске, пестрые, точно из лоскутов сшитые. Посмотришь на такого в походе, и кажется: не один, а три корабля идут строем уступа.

Мину подхватывают стропами снизу, за якорь. Электрострела легко поднимает ее в воздух, разворачиваясь, уносит на баржу. Затем по команде «Трави помалу!» бережно опускает на гулкое днище трюма. А там опять матросские руки берут мину в оборот, заталкивают в темный угол носа или кормы. И так до тех пор, пока не заполнят трюм до отказа. Затем баржа отправляется или к боевым кораблям, или к плавучим хранилищам — блокшивам, или в минные мастерские для осмотра.

Степан Лебедь попросил Михайла:

— Старшой, расставил бы людей по объектам: кто пойдет брать запалы, кто стаканы, кто «горшки» катать, га?..

— Нема дурных! Командуй, Лебедь, ты птица важная. А наше дело минерское: сила есть, ума не надо! — Затем по-серьезному преду-

предил: — Вчера мы с воентехником Санжаровым открывали горловины, смотрели заряды. Гляди в оба! Где мелком на корпусе помечено «П» — не трогай. Понял, пикраты выступили. Думаю, объяснять не надо, что с такой шутки плохи.

— Хай ему черт, я все равно засыплюсь, — взмолился Степан Лебедь. — Бери команду на себя! Мое дело привести-отвести.

— Грех с тобой! Топай на пирс, гляди, чтобы на стропах сильно не раскачивали. Сорвется какая, полезешь доставать вместо водолаза!

Михайло любил заглядывать во все закуточки форта. Он ходил с фонариком в самые дальние, самые глубокие склады. Любил ходить один. Ему чудилось: в простудном мороке бетонированных казематов находятся не мины, а люди, которых осудили навечно. Устроить бы им побег, выпустить на свободу. Пусть это самому будет стоить жизни!

А что, и вправду «Чумный» чем-то напоминает замок Иф!

2

У доктора шевелюра густая и серая, точно соль. Доктор — человек худой, длинный, чуть сутулый. Если сутки не побреется, скулы и подбородок зарастают щетиной такого же серого цвета, как и чуб. А вот брови чистой черноты, словно он их жженой пробкой подкрашивает. Доктора зовут Филимонов. Лет ему тридцать пять. Служил на подлодке. Месяца три назад лодку потопили. Точнее, сама напоролась на мину. Спаслось только три человека: торпедисты — старшина, старший матрос — да он, доктор. Они надели маски, выбрались через трубу торпедного аппарата. Хорошо, не забыли выкинуть буй на тросе, прикрепив нижний конец к лодке. С большой глубины резко выныривать не годится. Надо идти постепенно. Давление-то разное. Вылетишь наверх пробкой — сосуды могут лопнуть. Кровь хлынет из носа, из ушей — и пиши пропало! Вот тут-то и помог трос.

Доктор выходил последним, как и положено старшему по званию. А звание у него — лейтенант медицинской службы. Нашивки белые, просвет между ними зеленый. Есть у доктора жена и двое детей: сын и дочь. Они где-то на Урале, в эвакуации.

Супруну приказано явиться в санчасть, маленький кубрик с голландской печкой посредине. Печь в виде колонны от пола до потолка, обита жестью, покрашена черной олифовой краской. У окна стол, полумягкое кресло. В углу белый шкафчик с ватой, лекарствами и никелированным инструментом. У печки с одной стороны кушетка, обтянутая коричневым дерматином (для больных), с другой — солдатская койка. На ней спит доктор.

— Покажись, вояка!

Михайло снял тельняшку, взялся за ремень.

— Пока достаточно. — Доктор черканул палочкой по груди: несколько раз вдоль и столько же поперек. Посмотрел на вспыхнувшие розовые полосы, что-то промычал, пошевелил губами. Затем посадил Михайла на кушетку, попросил положить ногу на ногу, стукнул ребром ладони ниже коленной чашечки. Нога вздернулась.

— Вытяни руку, растопырь пальцы.

Рука Михайла вздрагивала.

Когда он одевался, доктор что-то писал в тетради. Будто между прочим спросил:

— Давно не было вестей из дому?

— Даже забыл, когда получал!.. Вчера слушал Совинформбюро. Ворошиловград сдали...

— А от нее?

Доктор смотрел прямо в глаза. Михайлу было не по себе от такого взгляда. Откуда он знает о «ней»? Э, да чего тут еще прикидываться!

Михайло никому не говорил об этом. Носил в себе. Что толку говорить! У всех так. Всем тяжело. А тут как промолчать? Доктор — совсем чужой человек, а спросил!..

Горло сдавило. В глазах потемнело. Что-то хотелось сказать этому нестарому, седому человеку. Михайло пробормотал:

— Як же так? Як же теперь?..

— Поживем — увидим. На войне не все погибают. Мои вон прорвались. В кольце были. Сейчас в татарском селе за Волгой. — Доктор расплылся в улыбке. — Вот детвора, а? Жена пишет, уже научились лопотать по-местному. Если у них какой секрет, переходят на татарский язык... А лычку зря содрал. Знаешь, что теперь будет?

Не надо, доктор, пугать. Ну, что будет: «губа»?.. Раньше думал, это страшно. Теперь поумнел. Вон Афанасьев, командир дивизиона торпедных катеров, ходит в атаку, сидя сверху на боевой рубке. А Герой, Звезду Золотую носит! Некоторые ребята его чаще других на «губе», а, посмотри, сколько у них орденов! Нет, доктор, ты не запугивай, лучше разреши посидеть на кушетке. Ты пиши, пиши. Михайло посидит молча.

Доктор писал, улыбался про себя. И вот не выдержал, сказал не то в шутку, не то всерьез:

— Полной свободы захотел? Долой военную нивелировку личности! Так, что ли?

Михайло глубоко вздохнул, точно собирался долго и терпеливо разъяснять доктору его заблуждения. Он начал так:

— Когда ставят минное поле, каждой мине задают положенное углубление: против крупных кораблей — большее, против мелких — меньшее. Мина, она железная, безответная. Ей задали глубину, она и стоит. — Михайло повысил голос. — Но даже среди мин бывают строп-

тивые! Иная качается, пока не перетрет минрепа. А перетрет — выхлюпнется на поверхность, плавает себе под ветерком.

— Тебе, минеру, должно быть известно. — В голосе доктора Филимонова уже не чувствовалось шутливости. — Такая мина — предатель: она выдает все поле. Ее расстреливают!

«Вон ты как повернул, доктор!.. Странно. И опять, выходит, я щенок... Чем-то ты, доктор, похож на комиссара Гусельникова...»

...Вызвал и замполит, старший лейтенант Амелин. Ребята его зовут: «Это дело». Любой разговор он начинает так:

— Ну, это дело. Опять, это дело, набедокурил. Нешто так можно? Нешто тебе служба не по душе? У тебя есть все, что хочешь. О тебе, это дело, командование печется. Тебя кормят, поят, одевают. А ты, это дело...

Михайлу он сказал то же и добавил:

— Тебя, это дело, приняли в кандидаты партии. Сколько осталось испытательного сроку? Месяц. Вот видишь? Месяц. Вот видишь, это дело. Нешто так положено вести себя коммунисту? Мы, это дело, срок можем и продлить.

Михайло призадумался. С Родиным поспорить можно, а с партией — невозможно! Михайло вышел из семьи, в которой партийная честь ставилась превыше всего. Он из партийной семьи. И если что не так — его осудит отец, осудят братья, осудит мать. Когда кто-нибудь из знакомых говорит матери: «Гарных сынков воспитала, Карповна!» — мать отводит похвалы: «Я их только родила. А воспитала Советская власть!»

Мать беспартийная, но партийные дела близко принимает к сердцу.

Михайло считает, что в своей жизни он все время поднимается вверх по ступенькам. И чем выше, тем труднее подниматься. Первая ступенька — октябренок — легкая. Когда принимают, даже биографии не спрашивают. Он помнит: день был теплый, солнечный. Учительница, Кристина Ильинична Солонская (на всю жизнь ее запомнил, потому что она первая), построила ребят в шеренгу, приколола всем красные бантики. Мишко перед строем читал стихи о дедушке Ильиче:

Пять дней и пять ночей не спали
Из-за того, что он уснул...

Затем вторая ступенька — пионер. Тоже нетрудная и все-таки посложнее. Надо знать заветы, давать торжественную клятву.

Когда вступал в комсомол, вот страху натерпелся! Митя Палёный гонял и по уставу и по международному положению. Гонял до испарины на лбу.

А теперь самая высокая, самая трудная ступенька. В кандидаты приняли. Примут ли в члены?..

Взыскания не дали. Видно, доктор заступился, «Это дело» тоже замолвил словечко.

Родин вызвал к себе. Говорил стоя, держал стул за спинку, двигал им так, что ножки визжали.

— Есть приказ. Набирают курсантов в училище Фрунзе. Хочу послать тебя. Образование есть. Правда, горяч больно. Горек, как перец. Но там остудят. Как на это смотришь? Добро?

— Нет, добро не даю!

— Ты что? Я уже доложил начальству!..

— Не пойду. Службу отслужу как положено. А там...

— Да я тебя!.. Нет, он сумасшедший. Будешь морским офицером. Понимаешь?

— Понимаю.

— А, черт с тобой! Я тебя спишу куда-нибудь. На «Чумный» загоню!

Родин сел. Это означало: река вошла в берега.

— Супрун, Супрун, что с тобой сделалось? Я же знаю тебя по школе оружия. Был примерным краснофлотцем. Куда все подевалось? Ступай!

3

Репродукторы объявили:

— Внимание, внимание! Противник начинает артиллерийский обстрел. Движение по городу прекращается.

Сашка Андрианов негодует:

— Вот дьявол! В порт за продуктами во как надо!

— За сушеной картошкой?

— Хотя бы и так. Что, откажешься? Клади больше — срубаешь за милую душу.

Родин выбежал из кабинета.

— Дежурный, дежурный, дудку! Всем вниз! Кончай аврал, за мной!..

Он первым метнулся по трапу в нижнее помещение. Матросы пошли за ним не торопясь, враскачку.

Михайло стоял в кубрике, прислонясь спиной к черной голландской печке. Он улыбнулся Андрианову, кивнул в сторону выхода:

— Родин в атаку бросился первым. Отчаянный мужик!

— Я бы тоже махнул, но только в соседний подъезд, в доковую команду. Хорошо с бабами шухарить во время обстрела.

Михайла резануло слово «шухарить». Это Векино словечко. Значит, Сашка встречается с ней, даже ее словечки начал перенимать.

Странное чувство у Михайла к Веке. Хочется помочь ей чем-то, уберечь от чего-то. От чего? Сам не знает. Она открылась ему и тем наложила на него какую-то ответственность. Доверилась, — значит, искала у него защиты. Раз так, Михайло должен ее уберечь. Но от чего и как?..

Ему казалось, Сашка Андрианов чем-то угрожает Веке. От такого всегда жди подвоха. Вон какую рожу нажевал! На матросских харчах раздобрел. Поймать бы стервеца! Но он хитер. Сколько раз Михайло был в комиссии, снимал остатки — придраться не к чему. Все сходится. Даже на мышей ничего не списывает. Такого, конечно, тянет «пошухарить». Ему и обстрел нипочем.

— Корешок, ты Веку бы не трогал, — попросил Михайло несмело.

— Пошто ее не трогать? Она прошла огонь, воду и медные трубы. Бабец что надо! Тебя часто вспоминает. Говорит: лежишь с одним, а думаешь про другого...

— Ох, какая ты гадюка, Сашка! Ох, гад ползучий! Чем тебя стукнуть? Полено или кирпичину в руки?

Впалые щеки Михайла стали лиловыми, глаза сухо заблестели. Андрианов отпрянул, попятился к выходу.

— Ополоумел совсем. Ты что?

— Зачем ее трогаешь?

— А что зевать? Ты же блажной. Тебе на шею баба кинется, а ты не пошевелишься.

Послышался протяжный вой снаряда: «Ёу-у-у-у». Этому кланяться не стоит: если воет, значит, уже пролетел! Снаряд хряснул, точно переломили сухую доску. В окно, что выходит на Северный вал, было видно, как взлетели ошметки болотистой земли. Следующий снаряд не долетел до казармы. Он срезал угол краснокирпичного дома, куда свозят покойников, скользнул, не разорвавшись, на мостовую. Потом ухнул так, что звон застелил уши. Сыпануло в стену камнями. Верхнее стекло окна дзинькнуло, осколки высыпались на пол. Не сговариваясь, Михайло и Андрианов подняли тяжелый деревянный щит, прикрыли им окно.

Дежурный Брийборода заглянул в потемневший кубрик.

— Усим приказано ховаться вниз!

Михайло попросил:

— Иди, Борода. У нас тут розмова.

— Ага, зрозумив!

Андрианов решил кончить разговор шуткой.

— Миха, отгадай загадку. Какая разница между снарядом и эрзац-матросом?..

— Пакостная загадка. Голодной курице просо снится, так и тебе. Неужели ни о чем другом думать не можешь? У тебя же, говорят, жена есть, дочь...

— Война все спишет!

Андрианов ездил в порт с переменником Лукиным. Привезли картошки, но не сушеной. С южного берега пришли две баржи с гнилу-

хой. Нашли ее в заброшенном хранилище совхоза, что за Ораниенбаумом. Вонючая картоха. Может, выбрать которая поцелее, пустить на суп, а с остальной крахмалу намыть?

Картошку перебирали, перемывали. Но толку мало. По казарме растекся такой запах — хоть носы затыкай. Но почему вдруг оживился Брийборода? Ребята говорят, хохол чего-то удумал. Так и есть. Брийборода заварил брагу, от которой потом у многих долго болели головы. Нагнал самогону. Сумской парень, опытный. У него на родине из свеклы такой гонят, что закачаешься. Коньяк «Три свеклочки» называется.

Брийборода взял в помощники переменника. И сказал при этом:

— Старый конь борозды не испортит!

У Лукина действительно опыт есть. Варивал, приходилось. Гнал из хлеба, из сахара, из той же картошки.

Когда все было подготовлено, Брийборода хлопнул в ладоши, погладил усы.

— Шуруй, папаша!

Лукин раздул огонь.

Тощий кок помыл руки под краном и, вытирая их полотняным передником, заявил:

— Моя хата с краю!

— Ну, греби, греби отсюда! Понюхать не дам!..

И заварилась каша.

Синие капельки спирта заманчиво подрагивали на конце змеевика. Они медлили, точно раздумывая: падать им или не падать на зеленое бутылочное дно. Лукин, завидев первую каплю, умиленно протянул:

— Господи, красота-то какая! Чиста, как слеза богоматери.

— Тю, затягнув, як дьячок молитву!

Брийборода, глядя на змеевик, рассказал Лукину такой анекдот.

Жил в селе дядько Хома. Был он депутатом сельсовета. Попал туда, конечно, случайно. Делами интересовался мало. На заседаниях чаще всего спал. Однажды рассматривался вопрос о сокращении штатов. Председатель разбудил дядька Хому и давай совестить его:

— Хома Тарасович, шо ж ты робишь? Разбираем такой сурьезный вопрос, а ты спишь.

— Ни, не сплю. Побий мене лихо, не сплю!

— Тогда скажи: будем сокращать аппарат чи ни?

Дядько Хома почесал подбородок, вздохнул и сказал нерешительно:

— Хто его знает. Если только змеевик трошки сократить...

Лукину рассказ пришелся по душе. Он смеялся до того, что даже раскашлялся.

Змеевик до самого утра плакал жаркими слезами. Матросы по очереди спускались вниз. Брийборода, совсем «теплый», на манер дьяка

Гаврилы из кинофильма «Богдан Хмельницкий», вопрошал заплетающимся языком:

— В бога веруешь?

Ему отвечали:

— Верую.

— Горилку пьешь?

— Пью.

— Истинно христианская душа!

С этими словами он подносил жаждущему «лампадку» — так он называл кружку с самогоном.

Михайло тоже бегал «отмечаться».

Утром в казарме витал самогонный дух.

Родин вбежал в кабинет Амелина.

— Дожили! ЧП! У меня в команде чрезвычайное происшествие! И всё ленинградские подрывники орудуют. Обстрелянные, купаные! Ты их защищаешь! А подумал, чем это пахнет? Перестреляю всех, сволочей, и сам себе пулю в лоб загоню! Представляешь, узнает командующий базой!.. Да встань же ты, тюлень несчастный, всколыхнись! Твоя команда вдрызг пьяная. Вот твои, «Это дело», политзанятия. Вот они, твои семинарчики. Вот они, твои уговоры, беседы. На войне не беседы проводить с пьяницами, а к стенке ставить!..

— Ну вот, это дело, полез в пузырек. Нешто я сам не понимаю. Чего, это дело, зря шуметь? Надо разобраться: кто, почему? А ты, это дело, горлом хочешь взять. Нешто командиры так поступают?..

— Слушай, да ты или совсем умный, или только прикидываешься. Посмотри, что делается!

Замполит не обиделся. Он словно не слышал Родина.

— Ну мы, это дело, мигом разберемся.

Они втроем спустились на камбуз: капитан-лейтенант Родин, замполит Амелин и доктор Филимонов. Оттуда все успели разбежаться: кто в дверь, кто выскочил в окно на Северный вал. Только Брийборода остался на месте: бежать был не в силах. Он сидел на банке, положив щеку на стол. Руки его свисали, сильно оттянув плечи.

Поплатились многие: кому выговор, кому наряды вне очереди. Больше всего досталось Брийбороде: его отправили на форт «Чумный». Когда-то грозились сплавить туда Супруна, но пошел его друг Виктор Брийборода.

ГЛАВА 7

1

Века застрелилась утром.

До побудки вскипятила титан, растопила плиту, разделила на всех хлеб, сахар, масло, поставила на столы зеленые обливные кружки. Ко-

гда команда ушла в доки, Века попросила у дежурного ключ от ружейной пирамиды. Она сказала, что забыла при чистке смазать канал ствола. Зайдя в кубрик, открыла затвор, вставила желтый патрон с темной пулей на конце, прислонила винтовку к кровати. Затем сняла правый сапог, поставила большой палец на спусковой крючок, прислонилась виском к прохладному срезу ствола.

Выстрел получился приглушенным. Дежурный даже не слышал его. А вот винтовка грохнулась об пол с великим шумом.

Михайло мучился:

— Як же так? Як же так?..

Она призналась, что любит его. Говорила, впервые с ней это. Надеялась, может, не все так плохо сложилось в ее жизни, как раньше думала. То ругала Михайла, то плакала, умоляла простить. Ей хотелось почаще видеться с Михайлом. Хотелось, чтобы он, ну хоть изредка, обнимал ее. Но что он мог с собой поделать? Зачем обманывать? Ее и так много обманывали. Он говорил ей правду.

Вчера она достала два билета в Дом флота. Вызвала его к подъезду, вся наглаженная, радостная. От нее пахло хорошими духами. Это еще больше насторожило Михайла. Надо кончать! Нельзя тянуть!

— Пойдем, хохолок?

— Не могу, Века, никак не могу!..

У ее рта резко обозначились недобрые складки.

— Так... — выдохнула она тяжело. — Шилом моря не нагреешь... Но ты нюхала не задирай. Я и не таких видала. У меня были настоящие мужчины! У этих ног, — она подняла ногу в хромовом начищенном ботинке, — многие валялись! У-у-ух, какая же ты зараза!

Решил: надо кончать! И вот все кончилось.

Смерть Веки по-своему опечалила Андрианова. Он задумал наказать Супруна.

В ленинской комнате стоит длиный стол, покрытый кумачом. На столе подшивки газет, вразброс журналы, брошюры. Вокруг стола плотным строем сдвинуты стулья. У стенок тоже стулья. При входе старый диван. У окна, слева, вишневый шкаф. На стенах портреты, плакаты.

Здесь Амелин проводит политинформации, а Степан Лебедь собирает партгруппу.

Андрианов пошел не к Амелину, он решил поговорить со Степаном. Лебедь — простая душа. Даже слишком простая. Многое принимает на веру. А если в чем убедится, переубедить невозможно.

Андрианов попросил закрыть дверь на ключ. Он ошарашил Степана вопросом:

— Кто убил Веку из соседней команды?

У Степана стянуло кожу на лице. Он растерялся.

— Ты що?..

— Супрун! Понял? Она открытая, что ребенок. Вот он и подъехал. Видел ее? Верно, хороша? То-то!

Степан Лебедь оживился.

— О, так я ж их бачив, вместе были у Доме флота!

— Водил он ее и в Дом флота и в другие места. А потом над ней же и подсмеивался. Она мне все рассказала. Наплевал, говорит, в душу «барчук занюханный». Ее слова. Спроси любого из доковой команды. Она его так и называла. А то еще «чистенький». Спроси!

— Це дело треба проверить!

— А я о чем?

Ребята из доковой команды подтвердили все слова Андрианова.

Михайла Супруна вызвали на парткомиссию. Начальник ее, майор, прочитал письмо Степана Лебедя, парторга команды, доложил о всех беседах, которые вел предварительно. Под конец сказал:

— Создается впечатление, что виноват. Если человек не виновен, он будет опровергать факты, изложенные в письме. Старшина первой статьи Супрун таковых не отрицал. Он упорно отмалчивался. Единственное, о чем попросил: не исключать из партии. Он сказал, что у него отец коммунист с двадцать четвертого года, всегда идет туда, куда посылает партия. Старший брат — секретарь партбюро факультета. Ушел на фронт политруком. Младший брат учится в Ижевске, в артиллерийском училище, тоже член партии. Это серьезно, товарищи. Серьезно и даже трогательно. Но почему Супрун просит так: «Только не исключайте»? Значит, грех свой чувствует! Как иначе? Мы не знаем, что думала девушка перед покушением. Она не оставила записки. Но мы знаем, как отзывалась она о Супруне. Все знают. Перед нами, товарищи, факт морального разложения. И это в то время, когда на фронтах положение с каждым часом улучшается. Флот проводит успешные операции. Мы научились воевать и на воде, и под водой, и над водой. Разгром немцев под Москвой показал, что гитлеровскую армию можно бить, и она будет разбита. Ладожская ледовая дорога дала возможность улучшить питание флота, армии и гражданского населения Ленинграда. Враг пока силен, он рвется к Волге, он хочет выйти в глубокий тыл столице. Но этот маневр разгадан нашим Верховным Главнокомандующим. Гитлеровские орды найдут на Волге свою погибель. Будет и на нашей улице праздник!.. Хочу добавить, товарищи, что старшина первой статьи Супрун не всегда был таким. И это уже наша с вами вина. Он был отличным моряком. Так о нем отзывался его командир. Более того, командир соединения сторожевых кораблей, где раньше служил Супрун, докладывая командующему о минировании тал-

линских вод, отмечал старшину со «Снега». Командование морской бригады представляло наградной список. В нем тоже значился старшина. Скажу больше: список недавно был подписан!.. Но вывод все-таки печальный. С пьянками, с моральным разложением надо кончать. Надо ударить по нарушителям так, чтобы другим неповадно было.

Михайло собирался рассказать партийной комиссии все обстоятельства дела. Он хотел, чтобы люди узнали, какой добрый, душевный человек Века. И как жалко ее. Он и не думает отрицать свою вину. Но виноват совсем не в том, в чем его обвиняют. Она просила у него помощи, защиты. Надо было придумать, как помочь...

Но после всего, что сказал майор, Михайло стал как неживой. Руки в плечах заныли, онемели.

Что скажешь? Как оправдаешься? И сорванную лычку припомнили и самогонку («Старшина, вместо того чтобы остановить своих бойцов, сам пил!»). Степан Лебедь не забыл и ленинградские карты и брюки, проданные вахтеру.

Вот как далеко, оказывается, уходят корни его морального падения! Нет, тут оправданий быть не может. Моли бога, чтобы не исключили из партии. А там покажешь, как надо служить, исправишь все свои прегрешения.

Амелин попытался возразить:

— Ну вот, это дело, договорились! Нешто перед нами преступник?

Но лучше бы он не поднимался. Замполиту поставили на вид. Потребовали, чтобы исправил положение в минно-торпедной команде. В противном же случае он ответит перед комиссией как член партии за развал дисциплины в подразделении.

2

Михайлу объявили арест. Голову ему стриг Семка Кульков, чмокал тонкими губами, смахивал рукавом фланелевки пот с носа. Часто продувал машинку, она не столько стригла волосы, сколько рвала.

Сеньтя Сверчков то и дело порывался:

— Дай-кося я. Вона, гляди, огрехов насажал. Это те не на хромке пиликать!

Кульков тянулся машинкой к носу Сверчкова.

— Помолчь маненько! Не ровен час, задену железкой твою картошину, что тогда?

Сверчков отшатывался.

— Пошто балуешь?

Позже Михайло сидел у доктора на кушетке. Доктор пошутил, кивнув на голову Супруна:

— Как пасхальное яичко! А зря оголили: я тебя никуда не отпущу.

— Командующий наложил взыскание, а врач отменит?

Доктор все тем же шутливым тоном продолжал:

— Иногда врач сильнее любого начальника: прикажет «Лежи!», и будешь лежать... Не отпущу. Ты истощен. Знаешь, что такое твои двадцать суток? Втыкай от темна до темна — и ни прилечь, ни присесть. Сон — только глаза закроешь, уже вставай! Из «губы» тебе одна дорога — в госпиталь... Послушай, через каждые три дня буду выписывать тебе освобождение. Протяну так с месяц. А там срок действия взыскания кончится. Отбывать уже никто не заставит, не имеет права. Вот так!

Хороший ты человек, доктор. И рассчитал здорово. Только все это не дело. Прятаться за чужую спину Михайло не собирается. Он привык налитое выпивать до дна: будь оно сладкое или горькое.

— Чего упираешься?

— Доктор, загублена живая душа!..

— Ты тут при чем?

— Кто-то должен ответить!

— Ну, браток... Много душ загублено, много на свете несправедливости. Но ты же не Иисус Христос, чтобы все на свои плечи брать...

...Их повели в доки морского завода. Бескозырки без ленточек, без чехлов — точно шапочки арестантские. Льняная роба греет плохо, а на дворе осень. Тяжелые яловые ботинки гупают по булыжнику. Рядом солдат с автоматом на ремне, конвойный. Все как положено.

В доке сыро. Судно ушло, вода откачана. Но на самом дне — ее по щиколотку. Надо расчистить док, приготовить кильблоки для приема нового судна. Куски железа, разбухшие бревна, доски, бетонные плиты — все надо ворочать, переносить. А сколько мусора собралось на дне дока, сколько ила и песка!

Ноги взмокли от воды, плечи — от пота. Док длиннющий и глубоченный. Работы непочатый край.

В доке Михайло встретился с матросами доковой команды. Они орали ему:

— Эй, барчук занюханный, что уставился? Веку ищешь?

Черной пропастью показался Михайлу док. А когда-то давно Михайло стоял на стенке и с высоты любовался им. Громадина! Стены выложены каменными плитами, сужаются книзу. Вон там стальные ворота. Приготовив кильблоки, укрепив их надежно грузами, док начинают заполнять водой. А когда беспокойная доковая вода поднимется в уровень с поверхностью бухты, мощные электромашины открывают тяжелые ворота. Корабль входит в док, с палубы во все стороны летят бросательные концы. Матросы, что на стенках, поспешно их выбирают, набрасывают стальные петли швартовых на чугунные тумбы — кнехты, ворота затворяются, и вода начинает убывать. Корабль, по-

травливая швартовы, медленно садится на кильблоки. Вот уже видна ватерлиния. Вот оголились суриковые бока, руль, лопасти винтов. Вот первый сквознячок потянулся под самым килем. Скоро сюда нагрянет целая армия рабочих морского завода. Они будут обстукивать переборки, клепать пневматическими молотками заклепки, менять механизмы или вооружение, будут менять винты или латать пробоины в корпусе. Стук, звон и вкусный запах олифы...

А теперь Михайло стоит внизу, на самом дне, и смотрит на док другими глазами.

Еле доволочил до «губы» разбухшую сыромятину ботинок. Сейчас бы завалиться и спать до второго пришествия! Но где завалишься? Цементный пол холоден. Больше в камере ничего нет.

Только к полуночи резанула слух команда:

— Разобрать топчаны и постели!

Лязгнули затворы камер. Арестованные тащили козлы, накладывали на них доски, расстилали матрацы.

Голова каменная, точно погрузилась в воду. Он не слышал страшного зуда утренних звонков. Только тогда и вскочил, когда начальник «губы», лейтенант, толкнул его кулаком в бок.

— В карцер захотел?!

Начальника гауптвахты зовут Рашпилем. В том, что он действительно рашпиль, убеждался каждый попавший под арест. Драит так, что поневоле запросишь пощады! Рашпиль — самый ненавистный человек в Кронштадте. Матросы, завидев его на улице, шарахаются в подворотни.

А как не будешь строг, если комендант города в лицо бросает такое обвинение:

— Гауптвахту в санаторий превратил!

Комендант давит на Рашпиля, Рашпиль — на матроса.

Утром — ни ногой двинуть, ни руку поднять, все тело каменное. «Хотя бы на физзарядку повели, размяться бы!» Но разминаться опять повели в доки.

Курить хочется, аж душа дрожит. Но арестованным курить не положено. На «губе» табак отнимают. В карманах ни крошки. У кого бы все-таки закурить? Подожди, вон в дальнем углу стоит немецкая подводная лодка. Ее подняли эпроновцы, поставили в док. Там Перкусов разоружает торпеды. Не сбегать ли?

По сходням поднялся на палубу, заглянул в люк.

— Перка, дуй наверх!

Перкусов показал голову. Весь потный, измазанный, сущий дьявол. До того его одолели заботы, что он даже не удивился Михайлу.

— Она, сволочь, прикипела. Не выходит из трубы!

Это о торпеде, которая засела в аппарате намертво.

Михайло посоветовал:

— Талями возьми за хвостовое оперенье. Попробуй силой на силу.

— А рванет? Что ты, Минька, весь док разворотит. Я буду — тюф! — вон тама. — Он ткнул большим пальцем в небо.

— Ну, разбирай аппарат. Разноси, что можно, по частям. Может, автогеном кое-где резануть?..

Перка щедро отсыпал ему на цигарку. Михайло затянулся с голодухи во всю грудь, медленно выпустил дым. Еще раз затянулся. С захмелевшей головой заторопился к своим. Надо же и ребятам хоть по одной затяжке донести.

3

Вот и объявился Люсинов. Услышали наконец минеры о своем приятеле. Только от тех вестей холод продрал по коже.

Михайло места себе не находил.

— Как же это можно? Неужели мы совсем его не знали? Ну, пусть был всегда себе на уме. Пусть вместо прямого ответа поводил плечами. Иногда отпускал едкие словечки. Кто этим не грешен? Но чтобы такое!..

Михайло старался представить себе Люсинова во всех подробностях и не мог. Какие у него глаза? Какие брови? Нос?.. Все расплывалось. Вот только помнится, что был он какой-то сплющенный, точно по нему каток дорожный прошелся. Грудь плоская, впалая. Лицо узкое. Посмотришь в профиль — лицо как лицо. Глянешь в упор — остренькое. А смотрел глаза в глаза? Нет, не приходилось. Не давался, отводил взгляд.

Вчера на вечерней поверке читали приказ командующего флотом. Сегодня вся команда выстроена в коридоре. Все в черном от ботинок до ленточек. Пуговицы на бушлатах поблескивают первозданной желтизной. У каждого — винтовка, капитан-лейтенант Родин сам поведет команду. Он приказывает:

— На пле-е-е... чó!

Раз, два — и винтовки уже упирают в ключицы магазинными коробками.

Михайло с Лебедем стали в голове строя. Они без винтовок. Зато на груди у каждого боцманская дудка. Зачем? Никто этого не знает, кроме Родина, который отдал такое распоряжение. Любит человек парады!

Западные ворота города пропускали команду за командой. Шли моряки из разных частей, кораблей, соединений. Михайло увидел своего минера со «Снега».

— Тимошин, ты где?

— На «Буре»!

— Зайду!

Родин строго посмотрел на Супруна.

— Разговорчики!

Но разговорчики катились по строю. Нашлись ребята, которые рассказывали о случившемся так подробно, словно сами были участниками события.

«Морской охотник» получил задание: держаться поблизости к финскому берегу, наблюдать за передвижением судов в фиордах. Под прикрытием темноты вышли в заданный квадрат. Легли в дрейф. Вот тут-то оно и случилось. Люсинов и еще двое набросились на командира катера. Люсинов вогнал ему нож в живот. Рулевому надели мешок на голову, стукнули головой о переборку, вытащили из рубки. Боцмана кинули в воду живьем. Но он на лету ухватился за кромку борта. Ему топтали пальцы каблуками, а он держался и звал ребят на помощь. Бесполезно. Подвахтенные были в кубрике, а дверь надежно заперта. Что задумали эти трое? Они решили разделаться с командиром и боцманом, завладеть рулем и направить катер под белым флагом в ближайшую финскую бухту. Там они сдадут корабль, сдадут запертую в кубрике команду в качестве пленных...

Говорят, те двое — сектанты из западных областей. Трибуналу якобы объяснили, что их вера запрещает войну. Единственный выход для себя видели в том, чтобы сдаться в плен.

Сами против насилия, а спасение искали через насилие. Да еще и неверующего Люсинова переманили на службу к своему богу. Такого переманить нетрудно. Непрочно стоит он в жизни, нет у него железной палубы под ногами. На зыбкой трясине стоит.

Рваные облака роняли холодную морось. Они шли валами: то просвет, то густая пелена. Сырой ветер трепал ленточки, хлестал ими по лицам, забирался за воротник и в рукава бушлата. Вдали то ли сосны шумели вершинами, то ли море.

Впереди яма, ни большая, ни малая, как раз для троих.

Смотри, Михайло. Там станет один из твоих минеров, один из семи подрывников твоей команды. Смотри зорче. Разгляди его лицо хоть сейчас, если не сумел разглядеть раньше.

Их поставили у края ямы. Люсинов — посредине. Он чуть выше тех сектантов. Лицо серое: не различить на нем ни губ, ни глаз. Посмотри, он обессилел от страха, упал на колени, уперся руками в траву. К нему подошли, подняли. Заставили тех двоих держать его под руки.

Все трое в выцветших синих робах.

Стрелки комендантского взвода встали стенкой. Майор надтреснутым голосом прочел приказ. Затем, вынув саблю, поднял ее на вытянутой руке.

— По изменникам и предателям Родины... огонь!

Он секанул белой саблей мутный воздух. Согласованно треснули вы-

стрелы. Точно порыв ветра ударил по синим робам. Люсинов и те двое медленно-медленно опрокинулись, скрылись за стенкой ямы.

Много дней перед глазами Михайлы стояла яма и упавший на колени Люсинов. Никак не мог избавиться от этой картины. Однажды показалось: мутная пелена рассеялась. Чистыми глазами посмотрел на себя и с горьким укором подумал: «Дурак ты, Михайло, преступный дурак. Срывал лычки, хлестал самогон, разыгрывал из себя ухо-парня. «Губу» считал верхом геройства. А что в ней героического? Кому это на руку? Ты же совсем не такой, каким себя выставляешь, и никогда таким не был. Возьмись за ум. Вспомни, в какое время живешь». Ему показалось, он слышит голоса Торбины и Гусельникова: «Не простая идет война — схватка идеологий, борьба классов, сшибка социальных укладов. Который покрепче? Кто победит? Коммунизм и фашизм исключают друг друга. Они антиподы: добро и зло, человечность и зверство. Нет более непримиримых врагов. Нет сильнее ненависти, чем та, какую они питают друг к другу. Тут распускаться не приходится. Даже в мелочах. Если уж стал в строй, то держись прямо, штыком держись!»

ГЛАВА 8

1

В ленкубрике душно, столько набилось народу. Михайлу это напомнило корабль. На «Снеге», например, когда крутили кино, все сидели в одних трусах, и у каждого на шее полотенце — пот вытирать.

Замполит Амелин проводит информацию. У него на плечах золотые погоны. Чудно и непривычно их видеть! Еще совсем недавно у моряков на плечах было пусто. А сейчас, гляди, ровными планочками легли две желтые полоски, на них три звездочки. В золотом свете своих погон Амелин даже похорошел. Он похож на морского офицера старых времен.

В войну вообще много взято из старого, традиционного: и погоны, и гвардейские знаки, и ленты на ордена. В войну мы чаще стали обращаться к истории, бережливее относиться к славе дедовского оружия, благодарнее к подвигам наших предков. Мы чаще вспоминаем Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого. Их тени с нами, ордена и медали их имени — на нашей груди. С ними и война кажется легче, и дела идут веселее. Мы чаще стали вспоминать Минина и Пожарского. С их именами связываем народное ополчение. Лермонтов и Чехов, Мусоргский и Римский-Корсаков, Шишкин и Суриков стали ближе, роднее, понятнее. Каждый из нас начал понимать: только великий народ имеет великое прошлое. А если народ велик, разве его поставить на колени!

У южных степей, где родился и рос Михайло Супрун, тоже великое прошлое.

Он слышал, когда-то эти степи были покрыты густым травостоем. Ковыли достигали такой высоты, что всадник мог скрыться в них с головой. На вершинах холмов на расстоянии видимости друг от друга поднимались деревянные вышки. На вышках торчали шесты с пучками соломы. Это были сторожевые посты. На них дежурили казаки. Едва орлиной зоркости глаз казачий замечал на южной стороне горизонта колышущееся, все растущее пятно, едва ухо казацкое, припав к земле, слышало, как стонет степь под копытами, тогда из крупной трубки вытряхивал казак жар в солому. Солома вспыхивала на шесте первой вышки, а за ней, точно прикуривая друг от друга, загорались тревожные точки на остальных: старинный телеграф оповещал войско о нашествии.

Вышки тянулись цепочкой от Крымского перешейка до Запорожской Сечи. Вольная Сечь служила пробкой, затыкающей узкое горлышко сосуда, из которого то и дело вырывались злые духи — татарские орды, опустошая русскую землю. Даже не верится — до Москвы доходили! Что же тогда говорить об Украине? Огнем покрывалась, в прах истаптывалась подковами. Но воскресала вновь из пепла и пыли, вновь белела хатками, бессмертная.

Чего греха таить, было время, когда, слушая Амелина, некоторые думали: «Давай, давай, Амеля, твоя неделя!» А сейчас слушают по-другому. И не потому, что Амелин стал лучше, и не потому, что на нем блестят погоны. Совсем нет. Погоны еще никому ума не прибавили. А потому, что дела пошли серьезные. Потому, что немцы с нашей земли удирают.

В январе прорвана блокада. И теперь не они нас, а мы их хватаем за горло! На волжских берегах разбиты целые армии. Сам Паулюс полонен! Из репродукторов теперь чаще доносится не вой сирены, а железный голос диктора:

— Приказ Верховного Главнокомандующего!..

И далее идет перечисление населенных пунктов, занятых нашими частями. Близок твоему сердцу каждый городок, упомянутый в приказе. Пусть от него ничего не осталось, пусть темнеют среди белых снегов пепелища и развалины — все равно радостно: это наша земля!

Михайло раньше думал, что его могут тронуть только Бердянск, Белые Воды да еще, скажем, Ворошиловград. Оказывается, нет. Какая-то станция Вырица растревожила так, что места себе не мог найти.

Как оно выросло, слово «Родина»! Каким стало широким и емким!

Посмотри на карту. Вон лесисто-рыжая хребтина Урала. Огни домен, мартенов, дымы заводов, ГРЭС. На склонах терриконы шахт и нефтяные вышки. Урал, словно сказочный богатырь, день и ночь раздувает горн, ухает чудо-молотом. Урал дает фронту оружие, уголь, нефть. Его брат Донбасс пал на поле брани. И Уралу теперь приходится трудиться за двоих.

А там, восточнее, расправляет плечи младший брат Урала — Кузбасс. Изо дня в день все больше угля, металла посылает он на запад.

Под азиатским солнцем растет Караганда. Заводы Новосибирска, Омска, Иркутска, Красноярска шлют самолеты, танки, орудия, минометы, автоматы, снаряды, патроны!..

На полях неохватной Сибири трудится богатырь Микула Селянинович. Его плуг распахивает миллионы десятин плодючей земли, его руки бросают в почву тяжелые зерна, пожинают огромнейший урожай.

Сестры: Узбечка, Таджичка, Туркменка, Казашка, Киргизка — пасут отары, растят для фронта рис и хлопок, табак и урюк. Они ткут полотна, валяют валенки, вяжут рукавицы.

А Закавказье и Дальний Восток, а Приморье и Заполярье!.. Это тюлений жир и корень жизни, панты и соболя, лес и кожа, мясо и рыба, графит и алмазы, золото и платина!.. Кажется, в напряженную годину земля сама раскрывает свои богатства, отдает их человеку с необоримой надеждой и верой в его победу.

Нет, такую страну никому не удастся поставить на колени!

А как радостно сунуть руку в широкий карман: там пачка писем! На листочках разных размеров и разного цвета мать терпеливо выводила буковки то карандашом, то чернилами. Старалась мать, наклоняла над листком свою поседевшую голову, щурилась близоруко. Хотелось ей спокойно и по порядку рассказать сыну обо всем. Но туманились глаза, дрожала рука, разбегались буковки по листику — никак не собрать их вместе. То недописанное слово, то начало его, а там — одиноко проставленный слог. Но если глядишь на письмо такими же, как у матери, затуманившимися глазами, если твои руки так же дрожат, как дрожали они у нее, ты все поймешь. И не только то, о чем она хотела тебе поведать. Ты слышишь ее дыхание, улавливаешь запах сушеных вишен и стирального мыла — это ее дорогие, никакой войной, никакой бедой вовек неистребимые запахи!..

Как ты богат, как ты счастлив! У тебя есть мать, отец тоже живой. Он кланяется тебе земным поклоном, просит мысленно: «Побереги себя, сынку... Прятаться за чужую спину нельзя, отставать от других тоже не годится. Но и не лезь в самое пекло без проку, не рискуй понапрасну. Побереги себя, родной. Хочется увидеть тебя живым и здоровым!»

Михайло часто разглаживает эти листики на подоконнике, всматривается в них. И ребята тогда обходят его стороной, боясь помешать его счастью.

Мать писала:

«...Ехали на полуторке. Сзади колонна тракторов. По сторонам — хлеба, хлеба: то на корню, то в скирдах, а то и обмолоченные в ворохах лежат. Немец, окаянный, бомбит, света белого не видать. Столько страху натерпелась, что бесчувственной стала. Горят хутора, горят сады, а сердце уже не отзывается, онемело. Пока доехали до реки Дона, половину тракторов растеряли. У кого горючего не хватило, кто вернулся до дому, кто бросил машину и побежал куда очи глядят. А Дон — река глубокая, широкая. Вперед пускают только военных. Батько побежал куда-то. А тут колонна тронулась и прямо на паром. Дон и разделил нас. На той стороне, где остался батько, столбы земли. Ну, думаю, вот и все! Машина наша заглохла. Бензину нет. Шофер остался, а я пошла, куда все шли, — на схид сонця. Много дней ходила по степям. Оказалась в Калмыкии. Почернела, как земля, опухла с голоду. Одна я, точно былинка в поле. Думала, конец света! Все сгорело, пропало: и ридна земля и ридна семья... Однажды пришла в сельсовет, прошу помощи: определите куда-нибудь, дайте любую работу и хоть трошки хлеба. А меня пытають: откуда, кто такая? Говорю: так, мол, и так. О, бабушка, говорят (видно, и справди я так постарела, что бабушкой называют!), дед твой здесь! Действительно, на скамеечке в конторе сидит батько, Матвей Семенович. Так ему в ноги и упала... Послали его в МТС, и я с ним. Поехали, поработали. А какая там МТС! Ни машин, ни людей... Потом перебросили нас под Энгельс. И там долго не прижились. Правительство Украины собирало свои кадры. Оно разместилось в Пензе. Вызвали батька в Пензу, поручили ему Анучинскую МТС. А там трактора все старые, колесные, трактористки — одни девчата. Ремонтируют машины на морозе. Намучаются, бедные, сядут у костра, поплачут, погреют коленки — и опять за дело. Зима тут суровая. Снегу намело по самые крыши. И леса стоят, леса, леса. Хоть и не наш край, не Украина, а хорошо. Только снятся мне хатки наши белые, снятся кручи наши ясные. И все время щемит сердце, убивается. Хотя бы одним глазком поглядеть. Придется ли хоть перед смертью побывать дома?.. Хаты тут из бревен, темные, не похожи на наши. Корову доят в избе, ставят у порога и доят. А она и намочит и нагадит прямо на пол, и горя ей мало. Ягнята тоже в хате. Лижут руки, жуют подол. А купаются люди не по-нашему. Лезут в натопленную печь, парятся там, а затем — бух в кадушку с водой. Ополоснутся — и вся баня! Я не лазила, хай господь милует! Хозяйка обижается. «Ай брезгаешь, Карповна?» — спрашивает. «Не, — говорю, — не брезгаю, а в печь головы не суну: боязно!» Батько как-то лазил. Простудился, кашлял сильно, и виски ломило. Натопили печь, выгребли жар, под-

стелили на камни соломки и сунули туда нашего Матвея. Смех и грех! «Чертовы души, — кричит, — що вы робите? Сгорю весь!» Сам не сгорел, а хворь выпалило. Поднялся батько на ноги... А про Ваню ничего не чуты. Писал в сорок первом: иду на фронт. Рассказывают, их отправили в эшелоне. По пути эшелон начисто разбомбило. Где наш Ванюшка? Может, жив-здоров, да не знает, куда весточку послать? Может, в полоне германском, за проволокой, хуже собаки живет? Может, и косточки его прахом развеяло? Батько писал в Москву. Ответили: не числится ни в каких списках: ни в убитых, ни в раненых, ни в пропавших без вести. Як же так? Может, ты, сынок, чем-нибудь пособишь? Может, у начальников своих спросишь, как нам найти свою дитину... Петя окончил училище. Послали на фронт. Артиллерист, младший лейтенант. Он теперь на Курском направлении воюет, слава богу, пока жив-здоров!.. Знаю, сынку, чего ты ждешь от меня. Но помочь не могу. Не видела Доры, не знаю, где она и что с ней. Была она у нас летом перед самой войной. Ехала с Петей со станции. Оставили ее переночевать. С тех пор не виделись...»

«Где Дора, что с ней? Почему не женился, когда был в отпуске? Почему не написал ей: иди к моим родным, живи с ними, считай себя моей женой, жди, пока не приеду? Почему не сказал отцу-матери: возьмите Дору с собой, не оставляйте одну, сохраните ее для меня?..

Не сказал. Не сумел сказать. Не хватило духу!..»

2

Поздним вечером портовый буксир отвел баржу на Большой рейд, к минному заградителю. С высокого борта военного корабля матросы шутливо кричали вниз:

— Эй, на корыте, прими чалку!

— На шаланде, развешай лапти по борту, не то всю нашу красоту обдерешь! — Это значит: просят подложить кранцы.

На барже Михайло Супрун с четырьмя минерами. Слушая издевки, успокаивает себя: «Гад с вами, смейтесь. Сегодня ваш борт выше, а завтра... еще посмотрим!» Он приказывает открыть люк. И ребята проворно заламывают жестяной твердости брезент, снимают деревянные лючины пальца в три толщиной.

— Отдать найтовы!

Минеры по отвесному трапу спускаются в трюм. Наверху белая ночь, светло. Внизу — сумеречно. Барашки найтовых (найтовами мины крепятся к рельсам) приходится искать на ощупь.

На барже все готово, а на заградителе, видать, что-то не ладится.

— Салаги, что копаетесь! Подавай стрелу! Тоже мне, вояки! — Это Михайло посылает им в отместку за «корыто».

Наконец все в движении. Кульков и Сверчков подкатывают, Михайло стропит мину, поддерживает ее, пока она не выйдет из трюма. Еще двое, новички, стоят на палубе. В их руках конец отвода, которым они придерживают груз, не дают ему раскачиваться. Такой же отвод уходит на заградитель. Когда мина поднята стрелой на уровень борта, матросы оттягивают ее на палубу, ставят роликами на рельсы, откатывают в нужное место.

Пошла работка. Хорошо, когда все налажено. В тишине ночи слышны команды (вверху — офицера, ответственного за погрузку, внизу — Михайла):

— Дай слабину!.. Выбирай!.. Надерживай!.. Трави помалу!..

Взвывает электромотор лебедки, постукивают зубья шестерен, поскрипывает стальной трос под тяжестью груза. Хорошо! Все так четко, ладно — душа радуется. Захваченный ритмом работы, ты ни о чем не думаешь. Даже забыл, что где-то в Северной казарме на камбузе стынет твой посиневший суп и каша-размазня, подсыхает пайка землистого хлеба. До утра, видимо, не попасть в казарму. Что ж, минеру не привыкать! Зато утром доплетешься до столовки, уломаешь все, что положено за обед, ужин и завтрак сразу. Запьешь кружкой воды — и на боковую...

Лебедка на заградителе замолчала.

— Чего стали?..

— Перекур, минеры!

«Вот беда, только разогрелись. Что у них там? Не найдут места, куда «горшки» ставить?»

В трюм баржи падает свет. Лобастая мина, покорно стоящая напротив люка, слабо поблескивает корпусом. Накануне их протирали ветошью, пропитанной олифой, потому и поблескивает. Михайло оглаживает мину.

«А она совсем не страшная. На нее можно положить руку, похлопать дружески. Повертывай ее, как хочешь, переноси, стукай, как можешь, — она не огрызнется. Вот если ее приготовить по-боевому — тогда другое дело! Она выставит рога, набычится, не даст пройти безнаказанно. Словно понимает, что там будут чужие, те, которым надо закрыть дорогу, а здесь — свои. Имя у нее ласковое, женское: «Мина». Ей, верится, куда бы приятней взрывать скалы, прокладывать дороги, поворачивать реки... Но до этого ли сегодня!»

Сверчков прислонился к мине спиной, тихо опустился на корточки.

Видать, совсем выдохся парень. Михайло смотрит на его отечное лицо. «Воды пьет много. Ослабел за блокаду. Надо попросить доктора Филимонова, чтобы давал ему хвойной настойки».

На постах взвыли сирены, по палубам рассыпался треск звонков

боевой тревоги. В небе прерывистое урчание: «Уррр, уррр, уррр». Опять летят!

Все ожило, заходило. Форты ударили в небо еле видными прожекторами, зашевелили стволами орудий. Корабли задрали зенитки.

С борта заградителя скомандовали в мегафон:

— На букси-и-ире!.. Убрать баржу!

Конечно, баржа боевому кораблю помеха. Да еще с минами. А ну прямое попадание! Ни от баржи, ни от заградителя ничего не останется. Кроме того, заградителю надо будет выбирать якорь, маневрировать.

Буксир, прикорнувший у свободного борта баржи, ожил: задымил, запыхтел. Дзинькнули переложенные ручки телеграфа, вспузырил воду винт. На палубу баржи грохнулись стальные швартовы, отданные с заградителя. Борты начали отдаляться.

Куда теперь? Может, поволокут на Восточный рейд?.. Ясно одно: надо драпать подальше. Не то попадешь в кашу, потопишь боезапас.

Михайло попросил:

— Эй, на буксире, ходку нельзя прибавить?

Оттуда в сердцах ответили:

— Сиди, хренов пассажир!..

Куда же буксир тащит? Надо пробиваться к воротам гавани, к Минной пристани! А его понесло в обход Кроншлота. Тут же мели! Засядем — накроют в два счета.

— На буксире, куда тебя гонит?!

— Сиди, хренов пассажир!

Дело дрянь, когда у тебя нет своего хода. Тащат тебя черт те куда, да еще и оскорбляют.

— Закрепить груз по-походному!

И снова все в трюме.

Над заливом осветительные ракеты. Светлым-светло под водою. На кораблях сухо затрещали зенитки, затараторили пулеметы. Подпирая одна другую, плавно пошли вверх трассирующие пули. В высоте желтыми звездами брызнули разрывы снарядов. При таком огне не до прицельного бомбометания. Тут только бы разгрузиться.

И разгрузка началась. Один за другим вздымались белые столбы по заливу и черные по берегам.

Минная баржа попала в зону бомбового удара. Оглушительно трахнуло по правому борту. Баржа качнулась. Михайла кинуло боком на мину — даже дух зашибло. Два минера (новички, что стояли на оттяжке) бросились наверх. Сверчков и Кульков в растерянности поглядывали на пробоину, откуда плоской струей вдавливалась вода. Шепотом, от которого холодеет все внутри, Кульков сказал:

— Во, елена-мать, дае-ет!

Сверчков, словно очнувшись, завопил:

— Потопнем, старшой, потопнем!..

Оба метнулись к трапу.

Михайло ногами почувствовал воду. Откачнулся от мины, медленно подошел к пробоине, на что-то решаясь. Левая его зашибленная рука непослушно висела у бока. Только в самых кончиках пальцев легко покалывало. Михайло заправил кисть руки за ремень: пусть хоть не мешает! Поднимаясь наверх, подумал, что баржу уже не спасти. Надо отдать трос, чтобы, уходя на глубину, она не опрокинула буксирное судно. Всем прыгать за борт, плыть к буксиру, подберут. А сам он? Разве с одной рукой подплывешь?.. Придется лечь на спину, работать ногами, грести одной. Когда-то получалось...

Урчание, грохот и треск над морем усиливались. Но Михайлу казалось: выморочная тишина. Ничего он не видел, не слышал.

— На буксире, руби трос, отходи! У меня пробоина!

Оттуда почти ласково попросили:

— На барже, продержись годинку! Подтащу к форту, поставлю к пирсу!.. Можешь?

А что, если наложить пластырь, задраить пробоину?.. Фу, гадство, действительно я ушибленный: развел панику! Конечно, надо попытаться. Чего ради топить боезапас?..

— Хлопцы, брезент и лючины — в трюм, живо!

Сверчков с Кульковым метнулись вниз. Два новеньких матроса сбили брезент в куль, столкнули его в люк, кинули туда тяжелые доски.

Орудуя одной рукой, Супрун хлопотал у пробоины, хлюпал по воде, которая уже поднялась выше щиколоток. Кульков и Сверчков работали споро. Народ мастеровой: плотники!

Здорово получилось. Сложенный в несколько раз брезент прижали к пробоине доской — лючиной. Еще две лючины уперли одними концами в минные рельсы, другими — в поперечную доску. И пробоина зажата.

Ручку водяной помпы качали впятером, попеременно. Воды в трюме не стало меньше, зато и не прибавилось.

ГЛАВА 9

1

Мы были с капитаном Немо,
Мы были с капитаном Грантом.
Мечта нас поднимала в небо,
Водила по упругим вантам.

Нас с морем связывали книжки
Серебряною паутиной,
О нем мы знали понаслышке,
В него влюблялись по картинам...

Холод ползет по щекам Михайла. Михайло трет щеки. Под ладонями потрескивает щетина. Вчера, заступая на вахту, брился, а вот, поди ж ты, уже потрескивает.

За бортом громко всхлипывает вода. Слышно, корпус трется о кранцы, давит на пирс. Пирс деревянно поскрипывает.

Михайло лежит на нижней койке. Она с бортиком. Удобно. Лежишь словно в корытце. При качке не вывалишься. Пробковый матрац жестковат, но к этому скоро привыкаешь. Над Михайлом такая же койка. А еще выше — железный потолок с мутным плафоном. На нем кое-где натекли полукапли белил. Так и хочется сковырнуть их ногтем.

Малая каюта — новый дом Михайла. Морячки по четвертому году службы обычно рвутся на бережок. А Михайла почему-то тянет на воду. Он снова на корабле. Правда, корабль не ахти какой, всего-навсего вспомогательное судно с древним именем «Добрыня Никитич», а все же! И грохот якорь-цепи по клюзу, и стук кованых ботинок на вытертой до белизны палубе, и скрип паровой лебедки, и чавканье клапанов в машине, и бормотание винта звучит доброй, на память заученной музыкой.

О нем мы знали понаслышке,
В него влюблялись по картинам...

Да, так было. Давным-давно. Сегодня мы стали старше на целое столетие.

И море нам теперь роднее,
Понятней и всего дороже,
Как эти поручни и реи,
Дрожащие знакомой дрожью...

Кажется, уже не отделить себя от корабля. Он твое продолжение. Надо идти? Положи ладони на латунные ручки телеграфа, задай ход. В машине отдастся перезвон. Вода за кормой вспузырится до белизны, стальное тело вздрогнет и двинется вперед. По выходе за ворота гавани дай короткие сигналы сиреной и топай себе то ли в Питер, то ли на Гогланд-остров. Ноги твои твердо стоят на палубе. Она прочная и ровная. На ней не споткнешься, не покачнешься. А ступишь на землю — тебя качает. Зыбкая земля с непривычки.

Иллюминатор круглым окном нацелен на мир. Михайлу видно через него кусочек покачивающегося неба. Видны верхушки лип в Петровском парке. Иногда показывается голова Петра в серой металлической треуголке. Петр то виден до пояса, то скрывается за стенкой борта. Он вдали. Между ним и Михайлом туманная синева не то пространства, не то времени. На таком расстоянии чего только не почудится! Петр какой-то нетерпеливый. Не стоится ему на высоком камне. Переминается с ноги на ногу, кладет руку на рукоятку шпаги. Ус нервно дергается. Того и гляди, закричит кораблям: «Почто стоим? Вперед, в погоню за неприятелем! На таран! На абордаж!»

Но тяжко Петру. Века придавили его к постаменту, наложили на плечи пудовые одежды.

> Не будь он выкован из стали,
> Тогда б своей тяжелой шпагой
> Он указал бы нам на Таллин,
> На Ханко, Эзель и на Даго.
>
> Или сошел бы с пьедестала,
> Гремя о камни сапогами,
> И на ветру б затрепетало
> Его простреленное знамя...

Какой ты безнадежно зеленый, Михайло Супрун. Книжный ты романтик. Где твой Таллин? Он умер в муках. Он сожжен дотла. Пепел его давно развеян по ветру. Ханко — изрыт снарядами, опален огнеметным пламенем. Оттуда уходили корабли поздней осенью сорок первого года. Уходили под таким же огнем, как из Таллина. Их так же топили, их так же расстреливали. А плавать гангутцам приходилось не в августовской водичке, а в тяжелой воде, по которой шло ледяное сало. И Эзель и Даго — в глубочайшем германском тылу. Спрячь стихи в своей памяти, не смеши людей, не рассказывай сказки, в которые сам не веришь.

Тогда, может, это?

> Там, где меловые горы
> На равнины набегают,
> Синие густые зори
> Твой покой оберегают...

И опять не то. Ты же не знаешь, где она и что с ней. Может, загнали ее в товарный вагон и повезли через леса, через горы в какой-нибудь Франкфурт-на-Майне? Откуда «покой»? Откуда «зори»?! Белые кряжи стали темными могилами. Не цветут акации, не горят воронцы на полянах, потому что земля кровью отравлена.

Тяжело, когда нет старшего брата. Не с кем посоветоваться. Что бы сказал Иван?..

— Не твое это дело, Михайло. Говоришь не своими словами. Занимаешь мысли у других. А поэзия — «езда в незнаемое». Она требует нового содержания, новых интонаций...

— На кой ляд мне твои интонации! У меня вот здесь болит! Я кричать хочу, выть хочу!..

— У каждого горе: и свое и общее. Каждому кричать хочется. Но не каждый из нас поэт. Не многим дано говорить от имени всех собственными словами: «Поэт — учитель нации». Знаешь, кто это сказал? Ромен Роллан. Сможешь ли стать учителем? Подумай, чему будешь учить. Нет, Михайло, не за свое берешься. Откажись, пока не поздно. Засосет — и пропала твоя житуха! Так графоманом и помрешь... Обид-

но... А мог бы стать человеком... Ну хорошо, хорошо. Не маши руками, не раздувай ноздри. Вот тебе пример. Видел ты на Невском фанерный щит во всю стену? На белом поле черные аршинные литеры. Стихи. На горожан, на проходящие строем части в упор глядят строки:

Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.

Сможешь ли дать на щит хоть одно слово?

— Боюсь!..

— Добре. Может быть, у тебя голос иной? Может, ты умеешь говорить с людьми по-особому, горячим шепотом? Может, умеешь навевать такое, от чего сердцу становится невмоготу? Вот так:

Зачем рассказывать о том
Солдату на войне,
Какой был сад, какой был дом
В родимой стороне?
Зачем? Иные говорят,
Что нынче, за войной,
Он позабыл давно, солдат,
Семью и дом родной...

— Пощади, Иване! Понимаю свое убожество. И все-таки пообещать тебе, что брошу стихи, не могу.

2

Письмо было сложено треугольником. На внешней стороне — старый адрес Михайла и штамп: «Проверено военной цензурой». На внутренней — короткие строки, выведенные ее рукой:

«Прощай, Михайло! У меня есть муж. Он тоже служит. Капитан. Бачишь, думали одно, а вышло другое. Я оказалась неверной. Плохой оказалась. Ругай меня. Карай меня... Дора».

Михайло сдавил листик в кулаке. Больше он не перечитывал. Зачем? С первого взгляда запомнил каждое слово, каждую буковку!..

Вот и все. А ты ждал письма! Думал: скорее бы конец войне. Хотел разыскать Дору, чтобы больше никогда не расставаться...

В скулу корабля тупо ударяют валы. Крупные брызги стеклянно шурудят по корпусу. Иллюминатор время от времени погружается в зеленовато-светлую воду. Вот такой же видишь воду, когда ныряешь с открытыми глазами. Почему-то вспомнился нагорный ставок. Маленькие волны выталкивают пену на илистый берег. Пена зеленая. На ставок больно смотреть: он кипит под солнцем... Валька Торбина говорил о Доре: «Хватишь с ней лиха, Мишец». Где ты сейчас, Вашец? Воюешь с открытым сердцем? Или затаил обиду за прошлую несправедливость? А может, и вправду навеки остался в степи у телеграфного столба?..

Кок клацает по трапу подковками.

— Товарищ старшина, я вам сюда принесу!

Михайло морщится.

Ребята обедают на палубе. Стоят на юте, у ларя. Держат в руках белые алюминиевые миски. Ломти хлеба — на ларе. Нет ничего вкуснее флотского борща, особенно если обедаешь на воле. Чайки улавливают его запах. Они кружатся над кормой, чуть ли не выхватывают из рук корки хлеба. Если же плеснешь за борт остатки, они набрасываются на них, пищат, тюкают друг дружку черными клювами, жадно глотают все, что удается выхватить из воды.

Погода будет хорошая: белые птицы спокойно садятся на лоснящиеся буруны, покачиваются на них, словно крупные поплавки. Завтра с утра «Добрыня» пойдет на полигон. Надо испытать мину. Испытывать приходится в любую погоду. Но все-таки лучше, когда штиль. Когда при качке спускаешь ее на воду — мороки не оберешься. Того и гляди, стукнется.

Судно чухнулось о привальный брус. Значит, подошли к стенке. Хочешь не хочешь, надо подниматься наверх. По носу «Добрыни» — темная громада форта «Чумного». Брийборода стоит на стенке. Он рад встрече: пришли друзья. Есть кому руку пожать, улыбнуться есть кому. Он отрастил бороду, пышную, с золотистым оттенком. Дал себе парень зарок: не сбривать бороды, пока не уйдет с форта. Все зовут его комендантом «Чумного». Солидный вид, басовитый голос — чем не комендант?

Брийборода машет рукой:

— Привет Супруну!

Михайло кивает.

— Здорово! Здорово! У тебя все на мази?

— Порядок. Вчера был Санжаров, воентехник. Отобрал все, что надо. Мое дело отгрузить — и баста!

«Добрыня» замер у пирса. Положили сходни. Михайло пожал руку Брийбороде и пошел с ним в склады. Друг заметил тоску на лице Михайлы, спросил:

— Що ты сегодня якийсь недоваренный?

— Ось тут что-то... — Михайло кругообразно потер ладонью грудь.

— Це бувае...

Может, открыться, рассказать обо всем этому бородатому чудаку? А почему бы и нет? Близкий человек. Самые близкие на флоте — он да Перка. Перку давно не видел. Он все больше в подлодках. Разоружает утопленниц. Степан Лебедь — тот отдалился. В начальство вышел. Взыскание тебе схлопотал. Сашка Андрианов юлит, в глаза не смотрит. Такому не откроешься. Тезки-ивановцы собой заняты: никак не налюбуются друг дружкой. Живут они совсем по-мирному. На ра-

боту ходят вне строя. Работают в минном цехе плотниками. Это им больше подходит.

Не открылся Брийбороде: рана больно свежа.

Вечером не находил себе места. Обогнул почти весь Кронштадт и опять вышел к Петровскому парку. Вот слева дом Верена — как его называют по старинке. Здесь живут офицерские семьи. Может быть, доктор дома?..

— А, давай, давай! Проходи прямо к столу!

Лейтенант Филимонов дома совсем другой человек — уютный. Вместо темного кителя на нем коричневая пижама. На ногах шлепанцы. Все по-мирному.

Доктор недавно привез семью. Жена миловидная, немного начинающая полнеть. Белая коса туго уложена калачиком, прихвачена шпильками. Сынишка худой, остроносый, как доктор. А вот дочка... Она стесняется, опустила голову. Чистое лицо обезображено темно-лиловым родимым пятном. Оно занимает половину правой щеки, сползает вниз, к шее. Вероятно, поэтому девочка склоняет голову вправо, поднимает правое плечико.

— А это племянница!

Доктор подталкивает к ней Михайла. Девушка встает, оглаживает платье на бедрах, подает очень мягкую и очень теплую руку.

— Света!

У нее такие же светлые волосы, как и у тети. А носит их по-другому. Мягкими завитушками ложатся они на плечи, обтянутые голубым платьем. В низком вырезе самую малость виднеется розоватое кружево сорочки. Света живет с матерью на южном берегу, недалеко от Ораниенбаума, в небольшом поселке. Там лес, высокие сосны. А на горе госпиталь. В госпитале работает мать Светы. В начале войны Света бросила девятый класс, тоже пошла в госпиталь, сестрой. Лицо у нее белое, чистое. На щеках широкий румянец. Подавая Михайлу руку, Света совсем стала пунцовой.

И зачем его сюда занесло? Думал повидать доктора, посидеть с ним на диване, покурить. А теперь?.. Приходится пить чай, нахваливать землянику, которую привезла племянница, выдумывать, о чем говорить.

Виноватым голосом Михайло сказал:

— Командир отпустил на минутку. Я только спросить... Завтра идем на полигон взрывать «тыкву». Может, вам пару судачков занести по приходе? Их столько всплывает — бери не хочу.

Уже в дверях Филимонов заметил:

— Не нравишься ты мне сегодня, старшина! Девчонки испугался? Может, клюнуло, а? Я бы не советовал: у нее много ветра в голове.

До пирса бегом бежал, точно за ним гнались.

На верхней койке мирно дышал боцман, старшина второй статьи по

званию. Михайло не стал ложиться. Он задраил иллюминатор, включил настольную лампу. Достал из ящика листок бумаги, карандаш. Пошлет он завтра письмо или нет — дело не в этом. Надо высказать все, что просится наружу. Непременно надо! Носить такое в себе невмоготу.

Синие густые зори
Твой покой оберегают...

3

«Добрыня» поставил мину на воду, спустил шлюпку. Она развернулась, подошла к мине.

На руле техник-лейтенант Санжаров. Он сбил фуражку на затылок, оголяя белую лысину.

Матросы называют Санжарова «Босая голова». Тем не менее у техника-лейтенанта в нагрудном кармане кителя всегда лежит расческа. Богатая, белой кости, серебром оправлена. И в роскошном чехольчике. Ею он причесывает редкие волосики, уцелевшие на затылке.

У Санжарова взрослая дочь. Он зорко оберегает ее от матросского глаза. Зная его слабость, боцман подшучивает:

— Товарищ техник-лейтенант, на чаек бы когда позвали!

— А что тебе мой чай?

— С дочкой лажусь познакомиться...

Санжарову эти слова — шилом в бок. Он взвивается:

— Карболкой буду выводить таких женихов!

Горячий человек Санжаров. Чуть что не по нем — пощады не жди. Вот он спрашивает:

— Супрун, не спишь?

Михайло отшучивается:

— Дремлю!

Не хуже Санжарова он понимает, что пора брать в руки упорный крюк, цепляться барашком крюка за крышку горловины. Упираясь в мину, Михайло разворачивает шлюпку. Вот уже корма на расстоянии вытянутой руки от корпуса мины. Санжаров хватает мину за рым, подтягивает ее вплотную. Переступая через банки, Михайло переходит с носа на корму. С заученной быстротой он отдает болты горловины, снимает крышку. Санжаров лезет рукой в пасть минного корпуса, вставляет запал в патрон. От запала тянется двухжильный шнур. Михайло снова зажимает горловину крышкой.

Санжаров кричит:

— На «Добрыне»!

— Есть на «Добрыне»!

— Трави, лебедка!

Паровая лебедка стучит металлическими зубьями шестерен.

— Отдать гак!

Гак освобождает якорь мины. И, увлекаемая тяжестью якоря, она идет на углубление. «Добрыня», выбирая трос, торопится уйти от греха подальше. Шлюпка уходит в противоположном направлении; с миной ее соединяет шнур. Его бухточка, теряя витки, уменьшается. Наконец Санжаров вставляет рукоятку в электромашинку.

— Внимание!

Он резко поворачивает рукоятку по часовой стрелке. Внутри машинки жикает. Поверхность залива встряхивает снизу. Там, где утонула мина, медленно поднимается водяной пузырь. Затем он лопается, и вверх с грохотом и шипением растет узкий серебристый столб воды, похожий на тополь. Вот его верхушка чуть разветвляется, замирает. Пошла вниз. Над шлюпкой шуршат осколки.

— Ложись!

Матросы падают на днище.

— А ты что? — кричит Санжаров Михайлу.

— Завтра потребуете: «Твои наблюдения, Супрун?» Отвечу: «Под банкой лежал, ничего не видел!»

— Поговори у меня!

Судаки всплывают белыми брюхами кверху.

— Товарищ воентехник! — Матросы показывают на рыбу, просят взять сачок в руки.

Но Санжаров не поддается суете. Он знает: это еще не рыба. Настоящая рыба пойдет попозже и подальше от места взрыва.

«Добрыня» спускает вторую шлюпку. На руле сам командир. Он поспешно подбирает сачком все, что попадается по пути.

И вот Санжаров командует:

— Суши весла!

У самой шлюпки блестит брюхо рыбы невероятных размеров.

— Табань! Табань!..

Санжаров опускает сак. В него входит длинная рыбья голова. Весь корпус — на воде. Как же ее выволочь на борт?

— Супрун, сюда!

Михайло запускает пальцы под шерсткие жабры. Санжаров помогает саком, подхватив рыбу под хвостовые плавники. Но не тут-то было. Скользкая, собака. Никак ее не взять. Гребцы кидаются на помощь, завалив шлюпку на борт. Наконец рыба в шлюпке. Она растянулась чуть ли не во всю длину от кормы до носа. Ребята удивленно чмокают, покачивают головами.

— Штука!..

— Субмарина!..

— Отродясь такой не видывал!..

Санжаров, довольно ухмыляясь, открывает круглую жестяную ба-

ночку с заранее заготовленными самокрутками. Вставляет самокрутку в мундштучок, набранный из разноцветных колец плексигласа. Затем без суеты достает зажигалку — белый алюминиевый снарядик, свинчивает головку, надавливает большим пальцем на колесико. Фитилек вспыхивает. До Михайла доносится запах бензина, смешанный с запахом табачного дыма. Вкусный запах. Особенно после удачной работенки.

Восторг улегся. Знатоки смотрят на рыбу потрезвевшими глазами.

— Да это же щука!..

— А кто утверждал, что кит? — Санжаров по-мудрому невозмутим.

— Старая... Даже мох на спине.

— Наверно, петровских времен?

— А погляди, нет ли кольца? Говорят, император кольцевал их.

— Чудак! Кольцованных он пускал в Царскосельский пруд. Зачем же кидать меченых в открытое море?

— У ней мясо, видать, жестче конячего! Судачков бы! Те поинтересней на вкус!

Санжаров серьезно объясняет:

— Порублю ее на куски. Сложу в бочонок, дам приправу, замариную. Поспеет — приходи с фляжкой спирту, закуска — лучше быть не может!

По пути к судну набрали судаков — целую гору навалили...

...К заходу солнца над палубой витал смачный дух жареной рыбы. Санжаров, приподнимая фуражку, довольно потирал лысину, приговаривал:

— С минерами не пропадешь!

Михайло опять раскис. На шлюпке некогда было, там дело. А теперь разная дурь в голову лезет. Мучают вопросы:

«Как же она может обнимать другого, если говорила, что лучше меня нет человека на земле?.. Видно, может! Будет ли она с ним счастлива? Почему бы и нет? Ну, если так — пусть! Пусть будет радостна ее жизнь...»

Михайло ушел подальше от камбуза, от рыбного духу. Остановился на баке, уперся спиной в стенку. Курит. Впереди — обрез с водой. Туда бросают окурки. На уровне плеч — иллюминатор командирской каюты. Над головой боевая рубка, над ней — ходовой мостик. Там стоит сигнальщик. Стоит и ворон ловит. Вот раззява! Неужели не видит сигналов с траулера? А ну, что пишут? «В сетях мина. Прошу помощи».

— Сигнальщик!

— Чего еще?..

— Повылазило, что ли?

— Счас доложу...

Михайло оживляется: опять дело. Он уже прикинул, как подвесить на рым толовую шашку... Только бы Санжаров не мешал!..

Спустили шлюпку. Михайло сел на корму, скомандовал гребцам:

— Два-а-а... ра́з! Два-а-а... ра́з!

Все произошло очень просто. Траулер выбирал сеть. Когда вместо ожидаемой рыбы над водой зачернел шарообразный корпус мины, рыбаки застопорили лебедку и все перемахнули на нос судна.

Михайло сразу распознал: мина образца восьмого года. Старушка! Обросла ракушками, тиной. Местами корпус чуть не насквозь проело коррозией. Вероятно, с первой мировой тут болтается. Лет тридцать! Такая уж не опасна. А, впрочем, кто ее знает! Случается, и незаряженное ружье стреляет. Осторожность никогда не лишняя.

Михайло просит потравить сеть. Ложится грудью на корму шлюпки. Минерским ножом он режет ячейки сети, взявшись за кольцо-рым, выводит мину на чистую воду. В правой руке нож, левая придерживает корпус мины. Шлюпка отгребает из-под широкой навесной кормы траулера. Когда судно удаляется, Михайло подвешивает заряд. К транцевой доске шлюпки прикладывает бикфордов шнур, срезает его наискосок. Приложил спичку головкой к срезу. Чиркает коробком. Сердцевина шнура шипит, выметывая розовые искры.

Мина отпущена. Шнур брошен. Его конец окунулся в воду, погнал мутновато-белые пузыри. Вот сейчас грохнет подвешенная четырехсотграммовая шашка, разворотит корпус. Мина хлебнет водички и скроется навсегда, безопасная для любого судна.

Гребцы дружно налегли на весла. Шлюпка уже на добром расстоянии. Но почему мина пошла на грунт раньше взрыва шашки? Видно, все-таки продырявило ее время. Потонула старушка, и заряда не потребовалось.

И вдруг Михайлу показалось: поднялся весь залив. Подпаленный изнутри зеленым огнем, он встал на дыбы, упал на голову...

Шлюпку прибуксировали к судну. Заваленная тяжелым илом, она сидела вровень с бортами. Когда звон и потрескивание в ушах стихли настолько, что можно было разобрать человеческую речь, Михайло услышал голос Санжарова:

— Добро, добро! Не виню!.. А понял, в чем штука?

Михайло, кажется, догадался:

— Угодили на «донную»?

— В аккурат сели! От малого заряда сдетонировала. А тральцы докладывали: «Полигон чист!» Вот работяги! Сообщу командующему.

— Разве все вытралишь? Она, может, заведена на десятки периодов.

— Хоть на сотни! Если ты тральщик — ходи, пока не позеленеешь! Мне полигон нужен, а не могила!

После взрыва «донной» рыбы выперло еще гуще. Командир приказал подсвечивать поверхность прожекторами, собирать и с шлюпки и прямо с борта судна.

Воентехник удивился:

— Зачем жадничаешь?

— А что зря добру пропадать!

«Иногда чувствуешь себя таким же оглушенным, как рыба, — думается Михайле. — Ни мыслей, ни желаний. Зачем живешь, не знаешь. Даже страха не испытываешь, как было в Таллинском переходе. Горит железо, стонут люди, а у тебя голова пустая, сердце деревянное. Действуешь механически. Почему так бывает? И почему потом, через некоторое время, мучаешься вдвойне, испытываешь двойной страх, двойную ненависть? Ночами не можешь сомкнуть глаз?

Рана не болит в момент ранения, боль приходит позднее.

Помнишь, в клинике Военно-морской медицинской академии все двадцать суток только и думал о Таллинском переходе, жил им, мучился? В голове гвоздем торчала мысль: «Почему случилось такое? Кто виноват? Неужели только командующий, неужели только штаб? Если так, их надо снять — и все пойдет по-другому. Но почему же не снимают? Почему дела наши так плохи везде: на всех морях, на всех направлениях?»

Тогда думал, и сейчас сходная мысль: «Почему я до сих пор не погиб? Столько огня, столько потрясений! Свет, кажется, перевернулся вверх ногами, а я все жив и почти невредим. Да что я! Почему не погибло государство? Казалось, все висело на волоске и под Ленинградом, и под Москвой, и на Волге. Стоило врагу продвинуться еще на шаг — и все пропало! Почему не продвинулся?.. Я тоже сколько раз мог пропасть — и не пропал. Случайность?.. Но страна выстояла, видимо, не случайно. Потому выстояли, что многие (как и я) думали только так: если она погибнет — мне тоже гибель! А интересно, что будет потом, после победы?.. Кто я? Для чего пригожусь? Кем я буду? Может, всерьез стану писать стихи и в этом увижу назначение жизни?.. Нужны ли будут мои стихи? Неужели у меня есть, что сказать людям?..»

У Петровской пристани Михайло увидел Брийбороду.

— Каким ветром?

— Попутным!

Брийборода обрадованно тискал руку. Левой гладил себя по чисто выбритому подбородку. Снял-таки бороду! У его ног стояла киса́ — темно-серый флотский вещевой мешок. Киса набита доверху и туго затянута шнуром.

— Жду катер на Кроншлот.

Кроншлот — маленький островок, база сторожевых катеров. Вон он, по ту сторону фарватера.

— На «охотник»?

— Не, на бронекатер. Новые, говорят, с утиными носами, с фальшбортами.

— Тает родинская команда.

— Чув, Степана Лебедя тоже нема? В Лебяжьем Степан, пилой орудует, сосны валит, заготовляет дрова для Кронштадта. Кажуть, маруху себе нашел. Живет, як бог Саваоф!

ГЛАВА 10

1

Доктор Филимонов взял два ружья. Для себя новую двустволку, для Михайла — централку с налетами ржавчины. У нее, показалось, дуло кривое.

— О, можно стрелять из-за угла! — притворно обрадовался Михайло.

— Отличное ружье! Пятнадцать лет охочусь. Бьет без промаху. — Доктор хвалил централку, прикрывая рукой усмешку и думая: «По охотничку и снаряжение!» Он знал, что Супрун никогда не держал в руках охотничьего ружья.

Они были в стеганых брюках и фуфайках защитного цвета. На ногах сапоги. На головах черные шапки-ушанки. На руках двупалые коричневые рукавицы, положенные матросу по вещевому довольствию. За плечами ружья дулами вниз.

Стоит февраль. Зима уже косится на весну. Вчера даже с крыши капнуло. А сегодня опять мороз. Снег сухой, визжит под каблуком, точно песок.

Из минного двора выехала полуторка с побелевшим брезентовым верхом. Шофер Федя Скобарь открыл дверцу, смахнул каплю из-под сизого носа, спросил:

— Поехали?

Федю зовут Скобарем потому, что он из Псковской области и любит повторять: «Мы скобские!»

Вот и сейчас. Садясь с ним рядом, доктор спросил:

— Не застрянем на заливе?

Федя ответил:

— Мы скобские! Заносы нам до феньки! Проскочим!

И газанул. Полуторка наделала треску, хоть уши затыкай. Михайло, устроившись в затишке, за кабиной, постучал в слюдяное оконце.

— Без глушителя ездишь?

Федя, видно, не расслышал вопроса, отделался все теми же словами:

— Мы скобские! — И подмигнул на всякий случай.

Лейтенант медицинской службы Филимонов ехал по заданию санитарного управления в Лебяжье, на лесозаготовки. Ему приказано посмотреть, как живут матросы, в чем испытывают нужду. Пригласив с собой Михайла Супруна, не сказал, что основное дело — в Лебяжьем. Сказал: «Поедем поохотимся!» Он знал, что Супрун избегает встреч со Степаном Лебедем.

Михайло раздумывал недолго.

— Аллах с ним! На охоту так на охоту!

Командира корабля уговорил без труда: «Добрыня» стоит на приколе. Утеплен. Лед вокруг обколот. Даже кое-где стукнули его толовой шашкой, чтобы не сильно напирал на корпус судна. Зимний ремонт? Но «Добрыня» недавно вышел из капитального. Короче, дела на корабле мало.

Тарахтит полуторка на ледяных ухабах, мчится по снежному коридору. Стенки высокие, вровень с бортами машины. Встречный поток движется по другому коридору. Машин не видно, видны только горы ящиков, утянутых пеньковым тросом, мешки с мукой, поленницы дров или еще какой груз, прикрытый брезентом. Днем и ночью идут машины. На фарах козырьки светомаскировки. Немец отогнан уже далеченько, но ледяную дорогу бомбит. А раньше и снарядами докучал. Года два назад в снежную воронку угодила машина адмирала Дрозда. Булькнула — и поверхность ледяной кашкой затянуло. Погиб адмирал, даже тела не нашли: унесло течением. Весной из устья Невы пришел в Кронштадскую гавань красавец эсминец. На скуле его крупно выделялись металлические слова: «Вице-адмирал Дрозд».

Вот и Ораниенбаум, или Рамбов по-флотски.

С залива машина поднимется в город, свернет направо и помчит по автостраде до самого места. Шоссе тянется у подножия холма. А дальше — от берега до горизонта — белая пустыня залива. На ней отчетливо виден Кронштадт.

На холме белый госпитальный корпус, а направо, внизу — поселок. Там живет племянница доктора. Почему же Федя Скобарь жмет на всю железку? Почему не поворачивает?

Михайло упирался, ругал доктора. Но куда денешься на ночь глядя? Пришлось идти к Степану Лебедю, стучаться к нему в вагончик.

Вагон стоит на заброшенной колее. Он низенький, когда-то был окрашен охрой. Колес не видать, их замело снегом. К двери ведет свежеструганая лесенка. В бору совсем тихо. Дымок из черной жестяной трубы течет вертикально.

Степан довольно потирал руки, улыбался, щуря небольшие глазки. Он усадил гостей за стол. Попросил Марусю подкинуть грибков.

Стол одной стороной держится на завесах, прикрепленных к стенке,

другой — опирается на тонкие ножки. На столе — картошка в мундире, кучки серой соли, квашеная капуста и, конечно, соленые грибы. Без них в лесном краю какая еда!

Степан подмигивает доктору, лезет под лавку, победно водружает на стол темную пол-литровую бутылку, заткнутую газетной пробкой.

— Были катерники, — говорит Степан.— Приезжали на «студере» за дровишками. Угостили спиртом.

Михайло украдкой посматривает на Степана, удивляется, какой он домашний. Не верится, что перед тобой матрос, вояка. Ему бы землю пахать. Приезжать по вечерней заре до хаты, устало садиться за стол, жевать галушки.

Точно опровергая Михайла, вдалеке глухо застучали орудия: «Тук, тук, тук, тук». Так стучит каток каменными ребрами по тугому току.

— Молотят!

— Хорошо, отогнали подальше. А то и сюда доставал. В землянках жили. Под накатами спасались.

Маруся вздохнула. Михайло присмотрелся к ней. Хорошая молодица, видать по всему, добрая. Она положила руки на живот, как это делают беременные женщины, и вдруг показалась красивой. Степан тоже не урод. Подбавил он Михайлу полынку к жизни, да шут с ним. Видно, не по злобе, а по простоте своей, по наивности. Он добрый человек. И руки у него крупные, работящие, и глядит приветливо. Когда-то ты смерти ему желал, а теперь думаешь: «Шут с тобой, живи! Скоро у тебя сын будет. Славное это дело, брать дитя на руки. И жинка у тебя справная. А вот у меня... все перекосилось... Помню запах ее волос, трещинки на пересохших губах, веснушки на носу... Прислонилась к другому. Моей осталась только в памяти...»

— Ну, давайте приласкаем ее, голубоньку! Погано, що нема кружек, одна. Беритесь, доктор!

— Не, не, пробу снимает хозяин.

— Добре! Ну, будьмо!

Степан плеснул в себя четверть кружки, одурело выкатил глаза. Он долго молчал. Рот открыл, даже слюну пустил. Собравшись с духом, он сплюнул себе под ноги и понес:

— От чертови души, подменили бутылку. Це моторист — больше нихто! Ноги повырываю!..

Таким взбешенным Степана еще не видели. Оказалось, спирт выпил дядя, а Степану поставили взамен бутылку с керосином.

Лебедь выбежал на волю, сунул два пальца в рот, очистил желудок от горючего материала, заел снежком.

Досадно. Но что поделаешь? Слезами горю не поможешь.

Когда вернулся в вагончик, все расхохотались до того, что в животах закололо. Маруся, визжа и кашляя, махала руками, просила:

— Ой, хватит, не могу больше!..

2

Сосна высокая, ровная, точно труба морского завода. Так же, как труба, она широка у корня и суживается к вершине. Михайло запрокинул голову, посмотрел на крону. Доброе чувство переполнило его. Сам не зная почему, он ударил по тишине утра резким свистом. Небо, проглядывавшее из-за темных стволов, густо розовело. Но это благодатное зарево, мир от него становится краше. Скоро взойдет солнце.

Степан Лебедь делает зарубку. «Гек, гек!» — слышится при каждом ударе. Топор мягко впивается в изжелта-белое тело дерева. Пахучая щепа брызгами отлетает на снег. Сосна не дрогнула, не уронила ни одной снежинки с далекой вершины. Высокая, гордая, могучая, она еще не верит, что будет повержена какими-то букашками, суетящимися у ее корней.

Михайлу жалко ее. Если суждено ей быть срубленной, то лучше уж для дела высокого, красивого. Стать бы ей, скажем, фок- или грот-мачтой. Стоять бы гордо под морским ветром, держа на себе тяжелые паруса. Но времена не те, и ветры иные. Сосну распилят на бревна, расколют на поленья. Подойдет паровичок, поленья лягут на платформы, уплывут в Ораниенбаум. Там их перетащат на «газы», «язы», «студебеккеры», «форды». И поедут они по заснеженному заливу в Кронштадт, повезут тепло и радостный запах смолы на хмурый остров.

Степан поднял пилу.

— Бери!

Михайло опустился на правое колено, взялся обеими руками за ручку. Врезались пилой чуть ли не до середины ствола. Подпилили с противоположной стороны. Степан взял рогатку. Уперся в ствол повыше. Качнул. Ствол глухо выстрелил. Пуская с вершины снежный дымок, сосна медленно начала валиться. Когда осела снежная пыль, стало видно, как соседние ели горестно покачивают ветками.

Михайло снял шапку: жарко. Из-под шапки пошел парок.

Доктор напомнил, что время двигаться. Но Михайлу уходить не хотелось. Он останется здесь. Будет встречать восходы с топором на плечах, будет дышать крепким уксусным запахом леса.

До чего же мила Большая земля! До чего же ненавистны острова! Зачем они сотворены? Может, только затем, чтобы познавать цену материку?

До самого синего вечера бродили с доктором по орешникам и березникам. Только здесь Михайлу открылся мудрый смысл поговорки: «Охота пуще неволи».

Вышли на взлобок. Справа белело поле, слева темнел кустарник.

Доктор бродил в зарослях, высвистывал зайца. Но косого нет как

нет. Видно, немцы за две зимы всех поели с голодухи. Расчет же был на блицвойну. А она вон как затянулась!

Михайло присел на пенек, свернул цигарку. Но прикурить не успел. Из-за кустов выпрыгнул зайчишка, повел ушками и, точно слепой, заковылял прямо на Михайла. Неужели случается, что заяц идет прямо в руки охотнику? А может, он тебя и за охотника-то не считает? Михайло лег, положил централку на пенек. Но длинноухий, видно, услышал. Остановился, затем резко повернул назад — и наутек. После выстрела он высоко подпрыгнул и дал вправо, в болотце. Михайло вскочил на ноги — бегом за жертвой. У зайца был подранен зад, он уходил, медленно волоча ноги, оставляя на снегу розовый след. И упал.

Доктор показался из-за кустов.

— Чего палишь?

— Убил!.. — на высокой ноте пропел Михайло.

— Слона? — Доктор — старый охотник, его не проведешь.

— Зайца убил! Не верит, чудак! Гля, вот он!.. — И поднял за уши тяжелую тушу.

— Это моя добыча! — на бегу крикнул доктор. — Я его выпугнул!..

— Ну да, нашел дурака! Так и отдам! Мало ли кто кого выпугнул. Я их за день, может, целое стадо выпугнул!

Они сцепились всерьез, доказывая каждый свое право на зайца. Посмотреть со стороны — совсем малые дети! Было бы из-за чего копья ломать. Но в такие минуты горячий туман застилает рассудок.

Они молча побрели к шоссе, молча сели в попутную машину, молча вошли в дом Светы. Михайло снял со ствола связанного по ногам зайца. Сказал Светлане:

— Зажарить бы нашу добычу.

Он примирительно подчеркнул: «нашу». Доктор, сняв ружье, забурчал:

— Курицу, что ли, суешь! «Зажарь»! Освежевать надо. Салага!

Михайло в чужом доме скандалить не собирался. Аллах с тобой, обзывай, как хочешь. При Светлане он робеет, становится покладистым. Молча передал добычу в руки старшему охотнику. Доктор обвел лезвием складного ножа вокруг задних лапок, сунул их в руки Михайлу. Затем от надреза повел лезвие к паху по одной ноге, по другой.

— Держи крепче!

Шкурка, шурша пленками, легко снялась с лиловой тушки. Потом доктор подрезал уши. Оголил зайцу голову. Распорол живот, освободил его от всех внутренностей. Кишки бросил коту, желудок — в сторону собачьей будки. Обрубил на бревне лапки. Кинул зайца в таз, который подставила Света.

«Умеет, черт, — с завистью подумал Михайло, — повидал дичинки».

Доктор примирительно предложил:

— Давай закурим твоего. У тебя, говорят, покрепче... Света, мама скоро?

— Она только ушла. У нее ночное дежурство.

Михайло совал поленья в печку, бегал с ведром к колодцу. Света посматривала на него добрыми глазами.

За ужином пили смородиновую настойку. Женский, конечно, напиток, но тепла прибавил. Михайло ел зайчатину впервые. Решил, ничего вкуснее и придумать нельзя.

Света была в белой кофточке с короткими рукавами и голубой юбке. До чего же светлая, глаз не оторвать.

Когда играли в подкидного, Михайло все время оставался в дураках. Доктор похохатывал:

— Пропал парень!

Смотрели альбом Светы. Михайло постукал ногтем по глянцу фотокарточки, спросил:

— Кто?

— А, сын адмирала, Костя. Он лежит там. — Света показала в сторону госпиталя. — Катерник. Его с Гогланда доставили на самолете. Ноги перебиты. Сейчас лучше. Уже ходит на костылях.

Михайло опять постучал по карточке, с которой посматривали черные глаза лейтенанта. Но постучал уже со значением. Светлана уловила перемену.

— Нет, что вы?... Совсем нет.

Легко в молодости: веришь первому слову. И настроение сразу меняется.

А почему так? Что ему Света?

3

Доктор лег на кровати свояченицы. Света уступила Михайлу свое место. Для себя поставила раскладушку в боковой комнате. Их разделяла столовая.

Михайло закрыл глаза. Не спалось. Что-то темное бродило в нем.

Света тоже, видно, не спит. Странная она, Света. Когда взял ее за локоть, она прижала руку к себе. Что может быть яснее?

Какие-то отчаянные мысли полезли в голову. Его залихорадило. Он то сомневался: «К чему все это?» То ругал себя: «Э, тряпка, раскис! Ты видел, как она смотрела на тебя?.. И для кого бережешься? «Ненадкушенный», «чистенький» — противные слова! Дора, видно, так долго не раздумывала... Потом женишься на Свете. Она неплохая девушка».

Доктор, кажется, уснул. Не скрипнула бы дверь, не взвизгнула бы половица! Ух, дьявол, кто же это выдвинул стул на самую середку комнаты? Наскочил на него, стул поехал по полу, заурчал ножками. Михайло обомлел. Кровь хлынула к ушам.

Когда отвел занавеску, чуткая Света рывком села в постели.

— Что вы ищете?

— Это я, Светлана... — горячо зашептал Михайло.

И опять гневно прозвучал ее голос:

— Что вам надо?

Точно ледяной воды плеснула в лицо. Доктор громко закашлял. Михайло еле сумел выговорить:

— Пить хочется...

— Ведро в сенях, на табуретке. Кружка сверху, на дощечке.

Михайло знает, где кружка. Вышел в сени, стал жадно пить. В голове стучала мысль: «Какую глупость упорол! Как утром смотреть в глаза?.. Отличился, хлопец, нечего сказать! Тебя приняли по-людски: накормили и спать положили, а ты... И зачем? К чему?..»

Когда вернулся в комнату, доктор, точно разговаривая сам с собой, начал:

— Суемся в воду, не узнавши броду. Торопимся. Все нам вынь да положь. А может, годик-два походить надо, поторить стежку. Может, вначале солененького, а затем уже...

Михайло взмолился:

— Ну, зачем вы так, доктор?.. Пробовал и соленого. Хватил — даже глотку обожгло!

— Не обижайся, чудило. Дело понятное, молодое. Таким, как ты, только бы и жить сейчас. М-да... Обокрала война вашего брата. Ни дома, ни семьи, ни девушки... Твоя так и не пишет?

— Замуж вышла...

— Как же так?

— Видать, ждать надоело...

— Ну вот...

Доктор долго мастерил цигарку. Огонек зажигалки высветил в темноте его впалые щеки, острый нос, седые волосы.

Доктор перекинул зажигалку Михайлу, как бы приглашая продолжить разговор.

— Да... А сколько вас, салажонков, потонуло на подлодках в первые месяцы войны! Желторотые, ничего в жизни не успевшие! Мы хоть что-нибудь видели, а вы...

Он опять лег, тяжело откашлялся. И снова заговорил.

В темноте легко было представить себе, что это не доктор рядом, а Гусельников. Все так похоже: вспышки цигарки, шепот, сверлящий уши.

— Совались в воду, не зная броду, — говорил доктор. — Отойдешь от базы милю-две — и минрепы скрежещут по корпусу подлодки, как по душе когтями!.. Уходить уходили, а возвращались немногие... Вслепую играли...

— Как же так? Почему вслепую?

— Не готовы были. Болтали много, а на поверку вышло... И, знаешь, меньше всего виноваты те, кого винили: командир бригады, командир базы и даже командующий флотом. Их так учили. Подлодка — боевой корабль. Она должна идти на поиск, а не отстаиваться у пирса. Не станешь же доказывать, что в этих условиях выход невозможен, что на перехват чужих транспортов надо пускать только торпедные катера, только авиацию; что сначала надо наклепать побольше тральцов, очистить квадраты; надо использовать все «посудины» для уничтожения минных полей. Как это, скажут, невозможно? Знаешь, чем это пахнет?.. И посылали на верную и бесполезную погибель.

— Кто же ответит?

— Э, чудак человек! Зима, как видишь, переломилась на весну. Под слепящим светом высокого солнца все покажется не таким уж черным... Победителей не судят.

ГЛАВА 11

1

В мае Балтика неприветлива. Не разберешь: весна или осень. Плотные тучи прижимаются к самой воде. Видимость никудышная.

Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что тралящим кораблям приходится сновать у финнов под самым носом. Дай добрую видимость — и береговые батареи разнесут в щепы! Дай погодку — вспорхнут самолеты, нависнут над тобой коршунами, и тоже нет спасения! Окружат тебя дозорные корабли — попробуй пробиться сквозь их строй! И ход у тебя не тот, и огонь не страшный. Чапаешь всего за десять узлов, пушчонка — сорокапятимиллиметровая, ею по комарам бить, а не по броне кораблей!

Хорошо, когда ты прикрыт пасмурной погодой. Но, с другой стороны, и хлопот много. Того и гляди, стукнет по борту блуждающая смерть — мина, сорванная с якоря весенним штормом, и пойдешь к «морскому шкиперу» рыб кормить.

«Не море — суп с клецками! — думает Михайло. — Тут и наши мины и чужие. Толкали их с заградителей и с миноносцев, и со сторожевиков, и с катеров; с воздуха тоже бросали. Густой получился суп!»

«Добрыня» не тральщик — посыльное судно. Но время ли тут разбираться в типах и классах кораблей! Готовится бросок на Выборг! Надо очистить подходы для десантных судов и для кораблей прикрытия.

Тральщики, «пахари моря», запустили в глубины свои плуги — тралы, подсекают ими сорняки — мины. День и ночь идет пахота.

Некрупная зыбь покачивает старика «Добрыню» с борта на борт.

Михайло стоит у паровой лебедки рядом с мотористом, поглядывает на стальной буксир, уходящий за корму. Буксир лежит на кормовом валике. За кормой он раздваивается и тянется к правому и левому буям трала. Буксир притонул, показывается из воды только при натяжении.

Сырой ветер бьет в затылок. Михайло поднял широкий цигейковый воротник теплой куртки. Застежка-молния задраена до подбородка. Куртка защитного цвета, из плотного материала. Такие одежки получены от американцев по ленд-лизу. На ногах минерские сапоги с высокими голенищами-раструбами. В сапоги заправлены стеганые брюки. Тепло одет. Минеру иначе нельзя: все время на ветру. Точно рыболов, забывая про все на свете, он смотрит на поплавки-буйки: один красный, другой желтый. С замиранием сердца ждет: не клюнет ли?

«Добрыня» ходит с катерным тралом. У этого трала устройство простое. От каждого буйка вниз идет оттяжка со стрелой-углубителем. Между стрелами крепится тралящая часть: обыкновенный стальной трос. Если минреп попадет в тралящую часть...

Стоп! Буйки пошли на сближение. Буксир натянулся, скрипнул. Попалась, голубушка!

— На лебедке!

— Да вижу, не слепой...

Чудак человек! Почему недоволен, когда такая радость: первый улов!

— Командир!..

— Добро, добро!

Под водой послышался глухой стук, по тросу отдался на лебедке. Значит, сработал подрывной патрон. Минреп пересечен. Сейчас она покажется!

Темная голова мины выпрыгнула на поверхность, даже всхрапнула по-лошадиному.

— Выбирай, лебедка!

Зазвонили зубья шестерен. Барабан наматывает буксир. Надо выбрать трал на палубу, заменить подрывной патрон.

Ход застопорен. Кок — он же комендор — припал к целику, наводит орудие на плавающий вдали темный шар. Орудие стоит в кормовой части, за лебедкой, ближе к рубке.

Бабахает выстрел, сотрясая судно. Оловянный столбик вскакивает за миной. Желтая гильза звонко клацает о палубу. Михайло подает новый заряд.

— Салаги, так весь боезапас зря расстреляете! — кричит командир из рубки. — Ваша мина того не стоит!

Михайло толкнул кока.

— Дай-ка я!

Тот отмахнулся:

— Погоди!

Конечно, дешевле спустить шлюпку и пойти к мине с подрывным патроном. Но, гляди, она «сюрпризная». Да и времени потратишь много. А оно сейчас дороже снарядов.

Подраненная мина захлебнулась, ушла на покой. И снова буйки — красный и желтый — клюют волну острыми носами.

К вечеру распогодилось. На севере небо поголубело, засинела еле заметная кромка леса. «Не к добру», — подумал Михайло. Командир, словно угадывая его мысли, показался в квадратном проеме рубки, кивнул в сторону финского берега:

— Не придется ли сматывать удочки?

Михайло повернулся в противоположную сторону. Там, мористее «Добрыни», мирно движутся два тральца. На душе стало спокойнее: все-таки не одни. В случае чего помогут.

— Хорошо бы до темноты подсечь парочку!

Сигнальщик, не повышая голоса, доложил:

— Вижу орудийные вспышки!

— Легки на помине!.. Супрун, уберешь трал?

— Во-во! Им только этого и надо! Зачем торопиться?

Три разрыва, один за другим, выросли перед дальним тральщиком. Точно крохотные стеклышки сверкнули на солнце — новые выстрелы. Еще и еще. Стрельба велась беспорядочно. Снаряды рвались на большом расстоянии друг от друга и от бортов тралящих кораблей. Супрун, кажется, угадал: противник старается не столько накрыть цель, сколько выгнать корабли из минного квадрата. Зычным голосом он крикнул в сторону мостика:

— Держи курс! Нехай пуляет!

Странное дело: чем острее положение, тем яснее и четче работает мысль, тем решительнее поступки. Раньше было все наоборот: голова туманилась от страха, тело — в состоянии какой-то сонной невесомости. Неужели ты уже профессиональный военный? Втянулся, привык, научился воевать, что ли?

Между буйков вскинулся трескучий разрыв. Он осыпал осколками, ударил шипящими брызгами. В глазах резь, точно от соли. Михайло закрыл лицо рукавом, зажмурился. Кто-то взял его за плечи. Голос командира обеспокоенно спросил:

— Что ты, что ты, Супрун?..

Тот же голос, но уже повелительный, приказал:

— Принесите из рубки аптечку, его надо перевязать. Пойдем в каюту, дружище. В силах?

Не отрывая рукав от глаз, Михайло предупредил:

— Гляди, трал не намотай на винт!

— О себе печалься. Вон как саданудо — вся куртка в крови. Ну, пойдем, пойдем!

Лежа в каюте, Михайло слышал гул низко проносящихся штурмовиков. Вдали ухнули разрывы, наверно, бомбят финскую батарею.

На трапе показался моторист с лебедки.

— Старшой, где тральные патроны? Думаем еще разок затянуть.

— Разве в ящике пусто?

— Все! Одну без тебя подсекли. Штурмовик прикрыл нас дымзавесой! Теперь как у Христа за пазухой!

— Спустись в запальный отсек... Да не волоки весь ящик... вынь штуку, и хватит. Небось, темно?

Уже из-за двери послышалось:

— Ага!

Пошевелился Михайло — и отдалось болью в ранах. Правая сторона груди занялась огнем. Знать, глубоко полоснуло. На лбу в двух местах подергивает. Бинты стянуты туго. Даже слышно, как толкается под ними кровь. А что с глазами? Кажется, ничего страшного. На свет посмотришь — слепнут, а заслонишься ладонью — зрячие.

2

Все говорили о втором фронте. Ждали: когда же? И, как бы оправдываясь перед людьми, Франклин Делано Рузвельт заявил:

— Я не могу тянуть Черчилля через Ла-Манш в кандалах!

И вот 6 июня 1944 года шестьсот сорок орудий английского побережья ударили по оккупированному французскому берегу. Четыре тысячи кораблей взбаламутили просторы Ла-Манша. Одиннадцать тысяч самолетов поднялись в погожее небо. Тральщики очищали подходы, штурмовики бомбили укрепления. Десантные корабли начали высадку. Далеко в тыл пошли самолеты с парашютистами.

Войска высадились между Шербуром и Гавром.

Второй фронт открыт.

Михайло Супрун лопатит палубу резинкой, гонит воду к бортовому шпигату — отверстию для стока. Шпигат с резким чмоканьем засасывает воду. Летнее солнце кладет горячие свои ладони на плечи Михайла. Чтобы оно не нажгло макушку, на голову Михайло натянул белый чехол от бескозырки. Брюки синей робы засучены до колен. Михайло недавно из госпиталя. Раны только-только затянулись. Мог бы пока и не браться за работу. Но в такое время разве усидишь без дела?

Вся команда авралит. Кто орудует резинкой, кто шваброй, кто драит судовой колокол, кто дверные ручки, кто моет щетками переборки. Пролопаченная палуба чиста, хоть свежим платочком проведи.

Ухнула в Петровском парке комендантская пушка: двенадцать часов. Михайло посматривает на свои с черным циферблатом часы, просит командира:

— Включи репродуктор!

Лейтенант включает, улыбаясь, высовывается из рубки.

— Слышь, союзнички зашевелились.

— Боятся, как бы на бобах не остаться: наши-то уже в Восточную Пруссию стучатся.

— Пришили-таки последнюю пуговицу...

Палуба сверкает. Небо синее. Оттого, видно, радостно дышится. После Волжской битвы все поверили: будет и на нашей улице праздник! И не только мы в себя поверили, в нас тоже поверили. Люди разных материков и островов поверили в нашу силу. Особо не хвалимся, но воевать научились. Удар за ударом, котел за котлом. Теперь вся наша земля для гитлеровцев — сплошной котел. И кипяток в нем огненный.

В заливе теперь хозяйничают наши катера: и торпедные, и охотники, и сторожевые, и тральщики. В глубинах — наши лодки. Вон куда достают — в Ботническом караваны топят. И небо наше. В нем «лаги», «яки», «илы». Туполевские бомбардировщики по ночам на Берлин ходят.

Помнишь, в сорок первом году наши МБР — морские бомбардировщики — от одной пули «мессершмитта» желтым огнем вспыхивали? Фанерные, неуклюжие птицы мокрыми курицами шлепались в воду. А теперь дудки, не эмберовские времена! На суше то же: и катюши, и андрюши, и танки появились такие, что метут начисто, даже след выжигают.

Вот только громадины линкоры — один у стенки с оторванным носом, другой на рейде — стоят приманчивыми мишенями, напоминая о наших былых просчетах. Накладные расходы. Слава богу, хоть авианосцев не успели наклепать. Но это все в прошлом.

У ворот гавани, на краю гранитной стенки — пост СНИСа. Он похож на ходовой мостик судна. Над ним возвышается мачта. Поперек мачты — рей. К нему на леерах бегут сигнальные флаги.

«Добрыню» спросили:

— Куда следуете?

Он ответил:

— На Таллин!

Пост СНИСа пожелал:

— Счастливого плавания!

Справа по борту Кронштадт. Слева Кроншлот. Впереди форты. До самого Гогланда как за железной стеной. А дальше путь опасен. У «Добрыни» же всего-навсего малая пушчонка да спаренный зенитный пулемет. Правда, в заданных квадратах стоят в дозоре катера. Над фарватером проносятся патрульные «ястребки», в случае чего выручат.

Плотные осенние сумерки легли на темную воду. Черные леса южного берега пропали из виду. Точно включенные рубильником, вдруг вспыхнули звезды. Их кристаллическое мерцание дробится в воде, подчеркивая ее смолисто-тяжелую густоту. Точно доброе предзнаменова-

ние, в северной стороне неба, высоко над заливом, повисла легкая бахромка северного сияния. Она то увеличивается, то сходит на нет; то накаляется до белизны, то притухает до сероватого, еле заметного свечения. Бахромка висит вверху по правому борту. Глаза сами тянутся к ней. Глядеть на нее легко и заманчиво. Порой кажется, что это белая льдинка плывет в бесконечно темном океане. Хочется, чтобы она была добрым предзнаменованием. Хочется, чтобы ночь прошла спокойно, чтобы ни мина, ни бомба не коснулись борта «Добрыни».

Михайло впервые видит северное сияние. Надо бы загадать что-нибудь. Говорят, сбудется. Но он не загадывает. То, о чем думал раньше, на что надеялся, уже навеки потеряно. Другое не имеет значения.

Три года назад Михайло шел этой дорогой. Залив стонал, корчился, горел, взрывался. А теперь черная, густая тишина. И так до самого Таллина. Над тем местом, где погребен «Снег», екает сердце. То замрет на секунду, то больно заколотится, гоня кровь к вискам. Михайло потрет виски, закурит и долго будет глядеть на холодную воду невидящими глазами.

Он вспоминает.

Там, на глубине, в затопленном кубрике остался рундук. Под тетрадкой в клеенчатом переплете спрятан там аттестат видминника Михайла, аттестат зрелости, по которому без всяких испытаний принимают в институт.

Он думает, точно исповедуясь кому-то:

«Аттестат зрелости!.. Какая уж там была зрелость? Зеленый, наивный мальчишка! Надеялся проскочить без испытаний. Надеялся, что жизнь раскинется перед ним ковровой дорожкой. Не-ет, все обернулось по-другому. Выпали на долю испытания, от которых остаются шрамы не только на теле, но и на сердце.

Славное было детство, ясной выдалась юность! Радовался, что живешь в Советской стране, где победила справедливость, где люди свободны и равны. Знал, что за границами твоего мира лежит другой — мир насилия, нищеты. При мысли, что мог родиться не здесь, жутко становилось. Был беспечен. Верил: несокрушимая стена ограждает тебя от мира незнакомого и нежеланного. Верил, что надежно защищены твои села с медовым запахом акаций и черемух, твои города, пахнущие угольным дымком и известкой. Верил, что вечны твои густоколосые хлеба и высокотрубные заводы; что все богатство твое священно, а люди, обступившие тебя ласковым кругом, неприкосновенны.

Но стена рухнула. Лютая беда хлынула в пролом. Падали твои города, в прах превращались твои села. Люди гибли на виселицах, в шурфах шахт, горели в печах лагерей смерти.

Беда была внезапна, как взрыв. Она надолго оглушила тебя. Только сейчас ты приходишь в себя, только сейчас все становится понятным и реальным...»

Впереди более четырехсот километров дороги. «Добрыня» плетется двенадцатиузловым ходом. Значит, колыхаться придется долго. Только послезавтра на рассвете засинеют сосны острова Найссаар. Сквозь туман пробьется шпиль церкви святого Олая, затемнеют обгорелыми стенами невысокие дома города. На рейде — пусто. У развороченных торпедами стенок — десантные катера. Обгорелый, разрушенный Таллин все так же будет простирать свои каменные руки, обнимая бухту.

Михайло пойдет на песчаный полуостров Пальяссаар. Он должен узнать, есть ли боезапас в хранилищах, годны ли погреба для приемки нового.

Но не будем торопиться. Впереди еще долгий путь. Еще далека земля рослых, белобрысых, чуть хмуроватых людей — земля рыбаков, лесорубов, пахарей. Еще не пришло время, когда можно будет снять бескозырку и сказать:

— Тере, Ээсти! Здравствуй, Эстония!

3

«Добрыня» швартовался у стенки Пальяссаара. Михайло застегнул бушлат на все пуговицы. Простучал по шатким сходням, вылетел на стенку.

Когда-то в финском домишке, что стоял слева, размещались минеры. Михайло часто заглядывал к ним. Поднимал руку, говорил, помахивая ладонью:

— Привет морским труженикам!

Хлопцы шутили:

— А, это из дивизиона... как ее... погоды?

Домика нет. Только низкий фундамент да стебли сухой травы. Даже пепел выдуло. А направо, на песчаный бугор, и смотреть боязно. Одинокий ствол ветлы — и больше ничего. Ни стен, ни крыши, ни окон, жадно глядевших на горящий город. Холм, и на нем ствол печального дерева.

Где же искать Кузнецова?

В поселке сказали, что старика видели в Ко́пли.

Копли — район Таллина. Там политехнический институт, заброшенные стапеля, Русско-балтийская гавань. Это не так далеко. Надо дойти до трамвайной линии.

На столбе знакомая дощечка: «Trammi peatus» (трамвайная остановка). Вагончик маленький, не электрический. Он стучит моторчиком, катится по узкой линии неторопко. У выхода знакомый ящичек: «Piletite kast». Как славно звучат давние, точно пришедшие из детства, слова: «трамми пеатус», «пилетите каст» или, скажем, «кивиыли».

Кивиыли — это сланец, белесый мягкий камень. Он горит в печах

электростанций, в топках паровозов, в домашних печах. Весь город попахивает дымком кивиыли.

Ты опять в Таллине! Кланяйся людям, приветствуй каждого:

— Тере, тере!..

Впереди, за перегородкой, сидит молчаливый вагоновожатый. Черноволосая его голова показалась знакомой. Конечно, Юхан! Волосы в колечках, широкоплечий. Михайло подошел поближе. Держась за стойку, наклонился вперед.

— Юхан, тере!

Водитель повернул голову, посмотрел на Михайла чужими глазами. Михайло назвал себя. Юхан ответил:

— Эй оска! (Не понимаю!)

— Марта, Марта... Кузнецов... Где Кузнецов?

Юхан покачал головой:

— Эй, оска...

На лбу Юхана яркий лиловый рубец. Он ломаной линией перечеркивает лоб, от волос до переносицы. В том месте, откуда он начинается, волосы совсем седые.

Михайло вернулся в центр, прошелся по рынку. Убогий рынок. Война растоптала, обеднила жизнь. Лошадь безразлично жевала хрупкое сено. По ее крупу важно расхаживал голубь-сизарь, ворковал, прихорашивался, раздувал зоб.

Выше рынка, на центральной площади, темно-вишневое высокое здание ЦК партии. В сорок первом году у этого здания стояла первомайская трибуна. На ней — республиканские руководители, флотское начальство. Утро было солнечное. Объявили «форму два», и флот вышел на парад в белых форменках, в белых кителях. С моря надвинулась каменно-синяя туча. Экипажи сторожевых кораблей поравнялись с трибуной, гаркнули «ура». В это время из тучи повалил до того густой снег, что свет потемнел. В гавань бегом бежали. Шутили:

— Как снег на голову!

Странно и неожиданно. Даже несуеверные думали: «Дурная примета!»

В войну не хотелось верить, но каждый чувствовал: она приближается. Среди жителей были такие, кому Советская власть пришлась не по душе; радовались, открыто грозили:

— Придут немцы, они вам покажут!

Теперь большинство из них думает, конечно, по-другому. Хлебнули войны, повидали фашистов, вот как насытились!

Справа от центральной площади — самый тесный пятачок. Здесь старый город. Тут магазины, отели, рестораны, бары. Бывал Михайло в тесных улочках, где велосипедистам не разминуться. Даже в ресто-

ране сидел. Официант вместе с меню предложил ключ. Маленький ключик от двери. Михайло удивился: зачем? Официант виду не подал. Но в душе возмутился: что за матросы эти русские? Скучные парни! Они даже не понимают таких простых вещей. Им, точно детям, надо объяснять, что вон там, на той стороне улицы, их ждут роскошные номера. Надо подняться на второй этаж, открыть малым ключиком дверь — и все станет яснее ясного. На середине комнаты — стол. На столе — ром, закуски, фрукты. У стены широкая ярко-желтая софа. На софе в прозрачнейшем одеянии Маретт. Она курит папиросы своего имени. На противоположной стене висит широкое зеркало. Оно отражает софу и все, что на ней.

Скучный народ русские матросы! Раньше, когда приходили иностранные суда, за такие ключики давали горы золотые!..

В те блаженные времена Михайло зашел однажды в магазин готовой одежды. Владелец встретил его у порога, поклонился, широким жестом попросил войти. Усадил гостя в кресло, приказал девушкам-продавщицам поочередно проносить перед ним костюмы разных покроев и расцветок. Михайло краснел, вздыхал от неловкости, вытирал лоб платочком. Ну что, в самом деле, капиталист он какой, что ли? У него всего-то в кармане триста рублей. Оказалось, этого достаточно. Ему завернули приглянувшийся костюм стального цвета. Точно такой же, какой отец купил в Ворошиловграде. Но тот стоит полторы тысячи, а этот триста. В пять раз дешевле!

Да, так было. Тогда, в сороковом году, в Эстонии все было до удивления дешево. А было так потому, что западные страны подкармливали ее, буржуазную Эстонию, покупали ее по сказочно дешевой цене. Ее покупали многие. Особенно Англия и Германия. Им нужны были буферные государства, как упор для прыжка на Восток. Потому и задабривали товарами, прикарманивали душу и тело вместе с землей и территориальными водами.

Армия в Эстонии была карликовой, корабли — игрушечными. Белый эсминец, на котором удирал командующий флотом в Германию летом сорокового года во время присоединения Эстонии к Советскому Союзу, был поменьше нашего сторожевика. На нем можно ходить на парады, но воевать нельзя. Служба на флоте длилась всего полтора года. По большим праздникам корабли закрывались на замок, команды расходились по домам. Какая беспечность!

Старик Кузнецов живет в подвале под отелем. Отеля уже нет. Одни кирпичи навалом. Всех, кто был в отеле в ту ночь, свезли на кладбище. А старик — белая борода — уцелел. Он все такой же, шутник неистребимый. Радостно встретил Михайла. Даже чай поставил на стол. Рассказывает:

— В ту ночь собралось наверху немецкое офицерство чуть ли не со всей Прибалтики. Встречали Новый год. Обмывали награды. Фюрер награждал их почти всех поголовно. Дух поднимал у своих вояк. Они назад пятятся, на фатерланд косят глаз, а он их вперед гонит. Ну, собрались. Уйма народу. Сели за столы. Вина — рекой, закуски — горой. Громом бы их поразило, думаю. Так и вышло. Завыла тревога, залаяли зенитки. Как начали ухать бомбы, землю перетряхивать! «Ну, — думаю, — напророчил на свою голову. Того и гляди, засыплют меня в этой норе». Так и вышло: оглушило и завалило. Дня два откапывался. Все-таки вылез на свет божий. Посмотрел вокруг: ни отеля, ни магазинов — просторно. Говорят, это летчики генерала Голованова поработали. Из Ярославля прилетали. Отчаянные, черти!

Михайло хотел было рассказать о судьбе внучки, но Кузнецов поднял ладони, точно просил пощады:

— Знаю, знаю...

Откуда ему известно? И как может он балагурить в этом сыром гробу? Другой бы окаменел от горя...

Каждый болеет по-своему, каждый находит свои лекарства.

— Возле дома моего, на бугре, фашистские зенитчики поставили батарею. Меня не гнали. Сам ушел. «С вами, — думаю, — каши не сваришь. Живите, пока ваш верх. А вот придет мой старшина из Кронштадта, тогда рассчитаетесь за постой чистой монетой, с ним рассчитаетесь!» — Кузнецов, улыбаясь, тронул Михайла за рукав. — Ладно сказал, нет?

— Ладно, батя, ладно... — ответил Михайло, а сам подумал: «Эх, борода, борода, сколько горя ты хватил, а все улыбаешься». — На Дальнем Пальяссааре бывал?

Кузнецов еще больше оживился. Ему уже невмоготу говорить о войне. Наклонился к Михайлу, поддел бороду снизу, разложил ее по столу, точно козыри выкинул:

— А ты как думал! Еще фрицы не успели погрузиться на суда, я уже возле хранилищ похаживаю.

Михайло помнит, что ребята минировали погреба. Спросил:

— Наши-то взрывали?

— Вашим салагам руки повыдергать. «Взрывали»! Входы завалили, и только. А в погребах добра — бери не хочу. Фрицы откопали. Пользовались. — Кузнецов как-то радостно посмотрел на собеседника. — Может, и к лучшему, что не разрушили дочиста?... Снова будем загружать или как?

— Приказано подготовить. Пойдешь к нам?

— Куда же еще?.. Избу хочу поднять на старом месте — место хорошее, бугор и кругом море. Знаешь что, старшина? Женись, право. Жить будем в одном доме. Мне его соорудить — раз плюнуть. Ты начальником складов, я — минным мастером... Что, плохо?..

Он гладил бороду, улыбался. Это сбивало Михайла с толку. То ли старик шутки шутит, то ли говорит всерьез.

Михайло перевел разговор:

— Что с Юханом? Почему своих не признает? Заладил: «Эй оска, эй оска!» Он же понимал по-русски.

— Память отшибло. Меня тоже не узнал. Все забыл. На прошлом крест поставлен... — Впервые за весь разговор старик опечалился. Потирая белесый лоб, заключил: — Может, так лучше?..

ГЛАВА 12

1

Сейчас мотовоз подкатит к Дальнему Пальяссаару. Первым делом надо хорошо осмотреться. Мина, говорят, лежит у входа в хранилища, привалена камнями, засыпана песком. Ее надо обезвредить: осторожно отсоединить концы проводников, вынуть взрыватель, запальный патрон, запальный стакан... Да! Это у наших так. А эта немецкая! Снимешь все приборы, размонтируешь ее догола и только полезешь в карман за табаком — она и саданет! Наверняка ее задумали продать подороже: чтоб и погреба подняла на воздух и тех, кто к ним попробует подступиться!..

А ты кури, Михайло, кури! Вон Перка курит и улыбается. Попробуй дознайся, что у него на уме. Спокоен, как железо.

Санжаров — он теперь старший лейтенант — тоже спокоен. Перекидывался с Перкусовым ничего не значащими словами, потягивает самокрутку, вставленную в разноцветный мундштучок.

Белобородый Кузнецов возбужден. Наконец-то пришло дело, которого так долго ждал. Опять Дальний, опять запальные погреба, минные хранилища, проверка вьюшек, минрепов, чек, свинцовых грузов. Он специалист по механической части, а не по взрывной. Яснее: по якорю, а не по самой мине. Зачем же он сейчас едет? Чего сует голову в кипяток? Сидел бы и ждал, пока подадут агрегаты в мастерскую.

В двухэтажном домике, сложенном из серого камня, устроились зенитчики. На бугре врыты орудия. Сверху они прикрыты зеленой маскировочной сетью. Стволы глядят в сторону моря.

Мотовоз довезет только до зенитчиков. Дальше пути сорваны. Надо топать на своих двоих.

Не доходя до хранилищ — бетонированное укрытие. Сюда отводился электрошнур. С этого места немцы предполагали взрывать мину.

Михайло усомнился в надежности укрытия. Если подорвать как следует, чтобы сдетонировал весь боезапас, то половину полуострова разнесет вместе с дотом. В Таллине стекла посыплются из окон.

А может, погреба пустые? Тогда другое дело.

В доте сырость и сутемень. В углу потемневшие от времени стружки. На цементном полу банки из-под консервов, пачки от сигарет, окурки навалом, три стопки жженого кирпича — чтобы сидеть. Из углов потягивает кисловатой мочой.

Санжаров присел на корточки, положил цигарку под носок ботинка, продул мундштучок, проверил на свет.

— Супрун, не запорешь? Гляди, а то сам пойду!

— Зачем этот разговор?..

К мине идут Супрун и Перкусов. Санжаров с Кузнецовым остаются в укрытии. В случае какой неясности — Санжаров придет на помощь. Чтобы его вызвать, надо забраться на крышу каземата и помахать бескозыркой. Кузнецов ступит на территорию хранилищ только после разминирования.

Перкусов несет ящик с ключами. Михайло идет налегке, руки свободные. Натруживать их сейчас не следует, чтобы не дрожали во время работы. Пальцы должны быть чуткими, как у пианиста.

После тяжелых сентябрьских дождей установилась солнечная штилевая погода. Даже припекает. Михайло вспомнил: мать о таких деньках говорила: «Кто умер, тот еще и пожалеет».

Михайло ясно понимает: там у мины пролегла черта его жизни. Все, что он видел, знал, любил, было по эту сторону черты. Будет ли что-нибудь за нею?

Неужели все может оборваться?! А зачем же тогда Новоспасовка — село, в котором он родился? Саманные хаты, облицованные с улицы жженым кирпичом? Дворы, посыпанные хрустящей черепашкой? Бычки на шнурах, спеющие под густым солнцем?.. Зачем же тогда Бердянск, самый прекрасный из городов земли? К чему тогда Белые Воды? К чему юность, школа, пионерские лагеря, комсомольские собрания? К чему было страдать от каждого неласкового слова Доры? Зачем все это было?

Неужели он уцелел в августовском переходе сорок первого года, увернулся от штыка и пули на фронте, пережил блокаду, прошел с тралом минные поля только для того, чтобы снова вернуться на Пальяссаар и подойти к последней черте?..

Он знает: если все обойдется по-хорошему, за эту черту перешагнет совсем другой Михайло. Он переродится. И время, и поступки, и слова этот новый Михайло будет ценить значительно дороже. Раньше был расточительным. Часто делал не то и не так. Тогда будет выверять каждое свое движение.

Черт возьми! Пока тянется дорога, надо успеть передумать обо всем, переболеть, перебояться. Потому что, когда приляжешь к мине, надо быть абсолютно спокойным. Чуть дрогнешь — поминай как звали. И Перкусов погибнет ни за что. Ты привязан к нему, как к Расе или

Вальке Торбине... Почему, когда вспоминаешь Вальку, вдруг заноет что-то внутри? Чувствуешь, виноват перед ним. Самые дорогие в твоей жизни друзья — это Рася, Валька, Перкусов... Значит, жил не напрасно! И Яшка Пополит, и Данько Билый, и Брийборода, и доктор... Они тоже будут горевать, если с тобой что-нибудь случится.

Но тяжелее всех матери. Она потеряла старшего, Ивана. Ты здесь, у черты. Петько где-то в Румынии. До Берлина ему еще топать да топать. Все может быть. Вам что̀ — стукнуло, и конец мукам. А она умирает вместе с каждым. Сколько сыновей у матери — столько и смертей.

На территории складов запустение. Стена, охранявшая когда-то запретный двор, во многих местах проломлена. Там, где раньше тянулись дорожки, усыпанные песком, вымахал бурьян. За казематами в камнях хлюпает море.

— Ну, довольно! Вот она, здесь. Вздохни поглубже, присаживайся поближе, знакомься покороче... Голова — холодная, глаза — трезвые, руки — зрячие. Иначе нельзя!

— Отдохнем...

Перкусов опустился на траву, поджав под себя правую ногу. Открыл ящик с инструментами.

— Чем копать? Лопаты нет. Ногтями?..

— Минерские лопаты — во! — Михайло поднял ладони. — Оголим часть корпуса, горловину, выпотрошим нутро, тогда пойдем за лопатами! — Улыбнувшись, он вполголоса спросил: — Боишься?

— У-у-ух, Минька, даже ребра сводит. — Он потер ладонями лицо, словно умываясь, тряхнул головой. — Ах!..

— Потому и молчал всю дорогу?

— Ага! А ты?

— Одна картина!

Оба почувствовали себя свободнее, даже повеселели. Тревога не снята, но дышится легче.

Михайло принялся расчесывать пальцами траву.

— Стоп! Что за шнур? Дай-ка кусачки!

— Проверь сначала, куда идет.

— Нет, первым делом — прерви цепь, затем иди по следу. Так спокойнее. — Он пополз на коленках, высвобождая проводник из травы. — В каземат! Значит, приготовили не одну. Соединили параллельно несколько штук.

Перка отозвался в шутливом тоне:

— Ты, Минька, голова! Сразу разгадал. А я думаю — это камуфляж, обман. Но тебе виднее. Ты осторожный хохол, все должен заранее разглядеть, общупать. С таким не пропадешь. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! С торпедами проще.

— Сравнил ключ с пальцем! Торпеда взрывается от удара, а тут,

с минами, чего только не напридумывали. Скажем, идет корабль, бросил на нее тень — и готов. Идет второй — растревожил ее своей металлической массой — и взлетел. Идет третий — раздразнил ее шумом винтов — и привет! Так что давай, друг, чтоб ни одного лишнего движения: не дернуть ее, не стукнуть, не качнуть.

Лежа на животах, они разгребали землю руками, подбирались к горловине. Перкусов хорошо понимал друга. Если Михайло очищал вокруг болта песок, продувал нужное место — Перка подавал торцовый ключ. Если Михайло освобождал подходы к пробке колпака — Перка держал наготове шестигранный ключ большого диаметра.

Наконец горловина открыта! Из нее ударило запахом олифы. «Во, черти, еще и протирочку дали! Аккуратный народ».

Нутро мины ярко-алое, крашено суриком. Михайло смотрит в горловину. Свет бьет внутрь мины из отверстий, в которые вставляются свинцовые колпаки. Их обычно пять. Заденет судно мину, согнет такой колпак, и хрустнет внутри него скляночка с электролитом; жидкость прольется на специальные пластинки, они дадут ток запалу.

Этой мине колпаки не ставили. Ток должна была дать подрывная машинка из укрытия, оттуда, где сейчас Санжаров и Кузнецов... То-то, наверно, переживают! Нет, сидеть в неведении и ждать — дело муторное. Здесь, возле мины, другой разговор. Все видишь, все знаешь. Голова занята делом, а не всякими там догадками. Потому тебе час кажется минутой, а им — минута часом.

Еще миг — и все решится! Перка припал к земле, не дышит. Михайло лежит на локтях. Откушенные концы проводника зажал в левой руке, правой полез в горловину. Вынуть запал — значит вынуть из мины сердце. В ту самую секунду она омертвеет.

«Хорошо, догадался открыть боковые пробки: светло в корпусе. Но почему так раздражает яркий сурик? Глаза устают, слезятся. Даже кровью попахивает!..»

Нет, так не годится. Вынь руку, полежи спокойно.

Перка, сглатывая слюну пересохшим горлом, тихо спрашивает:

— Достал?

— Сейчас...

Запал не поддается. Прикипел. Что же теперь?.. Дергать нельзя: гляди, на то и рассчитана. Было же так в начале войны на двести пятнадцатом тральщике. Выловили финский буй, подняли на палубу и ну крутить да дергать. Он и дернул!.. От Лешки Марченко, земляка, который уговаривал Михайла идти в минеры, ничего не осталось.

Но сейчас не время для воспоминаний. Как быть с запалом?

— Перка, что подскажешь?

— Может, вынуть все гамузом?..

— Сам так думаю: надо тащить вместе со стаканом.

Рука опять пошла в горловину. На зарядной камере она ищет

барашки зажимов. Первый отдается легко. Второй барашек прижат так туго, что даже взвизгнул, сорвавшись с витка. Напугал, проклятый!

Перка облизывает губы. Он уже готов принять запальное устройство в свои руки. Михайло медленно вытаскивает узкий длинный цилиндр бело-металлического цвета. Чтобы не стукнуть им по кромке горловины, подкладывает левую ладонь и по ней вскользь извлекает запальный стакан на волю.

2

Звонки боевой тревоги сухим треском заполнили коридоры, каюты, матросский кубрик. Вырываясь из дверей и люков, они клокотали над палубой. Боцман уже стоял на баке, бил в колокол громкого боя, хотя вокруг — никакого тумана, никакой опасности. Море чистое, штилевое, похоже на застывшее сизоватое стекло, по которому впору пешком ходить. Командир включил ревун. Зычные сигналы набивались в уши, как вата.

Михайло вскочил с постели в трусах и тельняшке. Он легко взлетел на мостик, толкнул в бок лейтенанта. Тот, хохоча от радости, стукнулся затылком о стенку, ткнул пальцем в сторону Супруна, заорал неестественно:

— Проспа-а-ал, минер, проспа-а-ал!..

Как же так: чувствовал, знал, ждал всю ночь и проспал!

Михайло взбежал по трапу на площадку, где стоит зенитный пулемет. Он впился пальцами в рукоятки, задрал пулемет к небу под самый крайний угол, нажал большими пальцами гашетку. Пулемет затрясло. Он стучал оглушительно, плюясь огнем. Дрожь от пулемета прошла по всему телу — до пальцев босых ног. Пальцы потеплели. Тело, точно его окатили свежей водой, стало легким и упругим.

Командир поднялся следом. Хохоча, он кричал Михайлу:

— Пали, пали, черт с тобой!

Но его слов за треском не было слышно.

Неторопко взошло солнце, ударило по медяшкам, по стеклам, срикошетило в глаза. «Добрыня» идет курсом на солнце. Кажется, вот-вот подденет его острым носом. Вокруг ни островка, ни кораблика. Ранняя тишина. Никто тебя не видит, никто не слышит. Но ради такого вот аврала стоило жить!

Михайло сел на площадку, потер виски ладонями.

— Неужели правда?! Як же так: война, война — и вдруг?! Но где она, Победа? Как ее увидеть, ощутить?

Она во всем. Лови ее руками, вдыхай грудью, впивайся в нее глазами. Насколько видишь, насколько слышишь, насколько можешь охватить мыслью — всюду она. Потом будут знамена, фанфары, бараба-

ны, медь оркестров; будут наряды, демонстрации, шествия, гуляния. А сейчас всего-навсего спокойное море. И это — тоже Победа!

Михайло посмотрел на лейтенанта. Молодой парень, фуражку сбил на затылок. Из-под лакированного козырька дымком вывалился чуб.

— Не разбудили, шакалы! — сказал Михайло почти с обидой.

— Все, брат. Отвоевались! Не ждал?

— С самого первого дня только о ней и думал. А странно как-то... Непривычно... Не найдется ли у тебя, командир, «бензоконьячку»?

— Откуда?

— Ты, помнится, в Палдиски у катерников разжился.

— Разве убережешь? Вы же ходили точно к причастию. Что для таких крабов банка спирту?

— Не из-за борта же хлебнуть по такому случаю?

— Ни капли, друг, клянусь, ни капли!

Радист доложил:

— С острова получен сигнал бедствия!

Командир приказал:

— Лево руля!..

На острове хозяйничали финны. При уходе все взорвали. Теперь он пустынен: валуны, сосны да пирс в бухте. Там стоянка наших бронекатеров.

— Что могло случиться? Почему подан такой сигнал?

Их вносили на корабль бережно, по одному. Мертвые тела тяжелы. Михайло с боцманом взяли тело Брийбороды за руки, поддерживая под лопатки. Один из матросов «Добрыни» взял за ноги.

Брийбороду Михайло положил на свою койку, посмотрел в лицо мертвого друга. Налитое сизой бледностью, оно казалось незнакомым. Только усы по-прежнему светлы, чуть с рыжинкой. И брови по-прежнему черны.

Войне конец. Но их убили.

Рано утром они палили из автоматов, из пулеметов — салютовали, как все на флоте, как все на фронте. Как и все, они потеряли голову от счастья. Оглашенно носились по одичалому острову. Прошли же через всю войну, остались целыми и невредимыми. Вот они — руки, ноги, глаза! Какое счастье ходить по земле, заламывать стебли высоких трав, видеть дятла на стволе дерева, слышать, как вода ворчит в камнях! Эти руки скоро обнимут мать, эти глаза увидят отцовскую седину!.. А на какой труд способны эти руки, отбросившие оружие прочь!..

На северном берегу острова обнаружили белую, как лебединое крыло, цистерну. Горловина натуго задраена. Ребята открыли крышку — в

носы ударил сладкий дух спирта. Кабы не шалая радость, бушевавшая в них, не стали бы пороть горячку. Цистерну отбуксировали бы к катерам. Командир дивизиона попросил бы доктора снять пробу. А здесь не стали думать, хватили кто сколько мог во славу Победы.

Но не друг подсунул эту цистерну, а враг. Он послал ее по ветру с соседнего финского острова. Он рассчитал точно. И люди упали замертво.

Их убила война. Она еще долго будет убивать. Тех, в кого вползла чахоткой в сырой траншее; тех, в ком засела осколком; тех, кому надорвала сердце. Прицепщик, задавший белым лемехам углубление, вдруг закроет лицо руками, упадет на темную пахоту — его убьет не найденная искателем мина. Тральщик вдруг взовьется на дыбы. Его железное тело искорежит невытравленная мина. По голубым детским глазам хлестнет зеленый огонь гранаты, которую найдут на пустыре любопытные ручонки.

С победой война не кончается.

Отравленных матросов положили кого в кубрике, кого в коридоре, кого на верхней палубе. Некоторые еще дышали. Всех их надо доставить в Кронштадт, в госпиталь. Одни из них вернутся на катера, дослуживать, или разойдутся по домам; а погибшие поплывут над молчаливым человеческим морем через весь город в своих деревянных кораблях. Они будут покачиваться, вытянувшись во всю длину своего роста. Скупое солнце в последний раз глянет на их землистые лица. На крашеных крышках кораблей-гробов будут лежать черные, как печаль матерей, бескозырки.

3

В Неве, на бочках, стал эсминец. В Кронштадте на Большом рейде бросил якорь авианосец. Корабли Британского королевского флота пришли с визитом дружбы к своим товарищам по оружию, к своим союзникам по величайшей из войн.

Это хорошо. Союзники должны дружить. А друзьям, как известно, положено жить в мире и ходить друг к другу в гости.

Устраивались не только дружеские банкеты, но и сражения. Разные: на ринг выходили боксеры, на поле стадиона — футболисты. В одном из футбольных боев участвовал и Михайло. Нельзя сказать, что он первоклассный игрок. Но все же одно время выступал за сборную базы.

Стадион в самом центре Кронштадта. С западной стороны он прикрыт длинной высокой стеной трехэтажного дома. С других — высоким деревянным забором. Поле голое, утрамбовано до каменной твердости. Поэтому надо напяливать и наколенники и налокотники. Это тебе не Белые Воды, где почва мягка, дерн пушист. Здесь, прежде чем упасть, подумай!

На мачте присутствовали оба флагмана: наш, командующий базой, и командир английского отряда кораблей. Адмиралы расположились на западных трибунах, под стеной, где солнце не бьет в глаза.

Взвизгнула судейская сирена. И пошло! Забегали матросы-игроки по пыльному полю. Заерзали матросы-болельщики по неструганым доскам трибун: свистели острым свистом, орали не своим голосом:

— Давай, давай, союзнички! Поднажми! Навтыкайте нашим салагам!

— Балтийцы, не подгадь! Покажите Джону Булю, где раки зимуют!

— Союзнички, на абордаж!

— Балтийцы, бей прямой наводкой!

Болельщики начали ссору:

— Ты шо, против своих?..

— А ты шо?..

— Надо дать лордам по мордам! Они спесивые, смотрят на тебя, как верблюд на морковку. Американцы — те проще.

— Ты с ними выпивал, что ли?

— А то не? Гляди на него! Да я же на катере всю Эльбу протралил!

— Кому заливаешь? Тралил по голове ногтями!..

— Я плавал!..

— Навоз тоже плавает!..

— Кончай аврал!

Михайло запыхался с непривычки: давно не бегал. Он вспомнил все до точности, чему учил его когда-то Яшка-корешок. Короткие быстрые пасовки, неожиданные передачи, резкие удары понизу...

Гол!

Трибуны встали. Некоторые ребята бросились к правому крайнему, забившему мяч, повисли у него на шее. Михайлу обидно. Это он довел мяч до штрафной, это его точная передача обеспечила успех. Но... кому вершки, а кому корешки.

Англичане усилили нападение. Несколько раз они прорывались к воротам. Вот-вот влепят!..

А что, могут влепить. Футбол — их национальная игра. Они, говорят, с детства мячики пинают. Не удивительно, если их игроки сейчас заявят:

— Ну, хватит баловаться. Пора показать, на что способны сыны родины футбола!

И начнут закатывать — только успевай вынимать.

Но этого не случилось. Со счетом 2 : 1 победили кронштадтцы. Вот тут и Михайла не обошли. И на его шею вешались, и его по-дружески лупили кулаками по лопаткам.

Нет, Джон, это тебе не по Западной Германии на «джипе» разъезжать! Там не бои были — прогулочки. Немец сам к тебе бежал сдаваться. Черту в зубы готов был кинуться, только бы не угодить в лапы Ивана. А ты избаловался, Джон. Привык нашармачка. Нет, иногда и

силу надо прикладывать! С прохладцей бегать не годится. Учись у Ивана. Он если не умением, так напором возьмет, ради победы готов всего себя выложить!..

ГЛАВА 13

1

Поезд «Москва — Одесса» остановился на станции Хутор Михайловский. Здесь граница между Россией и Украиной.

Станции, собственно, нет, только куча щебня, окруженная могучими тополями. В наспех сколоченном сарайчике — почта и багажное отделение. В ларьке продают не пиво, а билеты. Война все перепутала.

Чертково, видно, тоже в руинах. Далеко до него. А до Белых Вод еще дальше: они на самом краю света. Нет туда дорог: войной оборваны. Теперь новый дом у Михайла. Незнакомые пути ведут к нему. Дом там, где отец и мать. А они сейчас на Измаильщине.

Писал Доре письма, еще на что-то надеясь. Три письма послал. Ответа не получил. Знал, что Дора в Ворошиловграде в облисполкоме работает, секретарем у председателя. Об этом писала Ларка-коза. Она спрашивала о брате, о Василе Луговом, не встречал ли его Михайло, не слыхал ли о нем. Ответил: ничего не знаю. Видел в начале войны и его и Жеку Евсеева, а куда девались, неизвестно.

Зачем сказал неправду? Почему отвел глаза, когда у тебя просили прямого ответа? Почему смалодушничал? Ты же знаешь, они остались на «Снеге». При взрыве дверь кубрика заклинило, никто оттуда не выбрался... Неведение гнетет больше, чем самое тяжкое известие. Когда узнаешь, что конец, поплачешь, погорюешь да и успокоишься — вечная память! Неведение же — открытая рана. Она не дает покоя ни днем ни ночью.

Михайло спрыгнул на низкий перрон. У каждого вагона давка. Все куда-то торопятся, куда-то едут. Толкотня, колготня — очумел народ.

В Москве и сам Михайло садился в вагон не по-людски: через окно. Билет не закомпостировали. Пришлось обходить контроль. Что поделаешь, каждый день, каждый час отпуска дорог. Хорошо, Перка помог. Подал в окно чемодан и скрипку в футляре. Выручил друг, а сам чуть не погорел. Патрульные прицепились: почему суешь вещи в окно? Еле отвязались. Михайло чемодан отправил на полку, а скрипку не знал, куда положить. Боялся: заденет кто ненароком, упадет, хрупкая, расколется.

Скрипка — давняя его мечта. Когда-то завидовал Адольфу Германовичу Бушу. Теперь вот она, своя собственная. Хочешь — держи в футляре на коленях, хочешь — щелкни медными замками, открой крышку, приподними стеганое темно-голубое покрывальце с царским вензелем, возьми в руки смычок, потри его о скрипучий камешек янтарной канифоли и играй. Все вокруг притихнут, зачарованные. Ты будешь властвовать над душами людей: то слезы высечешь высокими жалостными звуками, то улыбку — низкими торопливыми переборами.

Скрипку покупал с тем же Перкой в Ленинграде, в Гостином дворе. Много денег отвалил. Да шут с ними! Минер первого класса получает не так уж мало. А на что их тратить? До войны посылал Доре на институтский адрес. Стипендия же у нее — разок укусить. Разве проживешь? Вот и помогал. Не хотела брать. Поначалу отсылала обратно. Но упросил. Сказал, что у него все есть: кормят, одевают, бесплатно дают билеты в Дом флота. Так что деньги ему совсем ни к чему. Затем посылал отцу и матери. А что накопилось за последние год-два, ушло на скрипку.

Да, Перка-то, оказывается, взаправду москвичом стал! В прошлом году его мать переехала из Серпухова в Москву, поближе к сыновьям. Три ее сына работают на автозаводе. Поселилась с ними в переулке, у Алешинских казарм. Комната не очень просторная, да ничего: все свои. Вот когда демобилизуются еще три сына, которые прошли войну и, слава богу, уцелели, — тогда беда. Но что загадывать наперед? Может, к тому времени завод даст новое жилье. Перка решил двигать тоже на автозавод. Два старших брата — один танкист, другой пехотинец — держат такую же думку. Здорово будет: шесть братьев на одном заводе! Счастливая мать у Перки: такая война отшумела, а все сыновья живы-здоровы!

Безногий инвалид-коротышка, ловко работая могучими руками с зажатыми в них деревяшками, протиснулся к проводнице. Басом, промытым розовой свекольной самогонкой, раскатисто попросил:

— Сестра-ра, р-разреши пр-робомбить вагон!

— Я тебя пробомблю флажком по голове. Иди к свиньям собачьим!

— Сестр-р-ренка!.. — рявкнул он так, что все вокруг притихло.

— Хай тоби черт! Бомби та не гавкай!

Инвалид длинными руками дотянулся до железных поручней, по-обезьяньи вскинул куцее тело на ступеньку.

Из окна вагона вырывался его густой бас:

— Дор-р-рогие бр-ратья и сестр-ры, пер-ред вами изур-р-родованный гер-рой Севастополя!..

Девушки, ходившие гурьбой по перрону, были одеты в латаные-перелатаные куртки немецкого покроя. Они приблизились к Михайлу:

— Матросик, может, продаси бушлат або шинельку, га? Може, чобитки лишние?.. Бачишь, як обносились!

— Бачу, дивчатка. Только я ж не барахольщик. Везу кое-что отцу-матери в подарок, а лишнего нет.

— Та пошукайте, дядечка, пошукайте!

Вот ты уже и «дядечка»! Неужели так постарел? Может, оброс?

Успокойся, «дядечка» — не обидное слово. В нем вылилась уважительная ласка. Да ты и сам это почувствовал. Потому так горячо стало под веками. Хочется помочь девчатам, а чем? Вот разве отдать синюю фланелевку, что на тебе?

Не раздумывая, выдернул полы из-под пояса, снял ее через голову.

— Держите!

Та, что назвала «дядечкой», приняла бережно. Рядом стоящая полезла за пазуху за деньгами. Михайло выставил перед собой ладонь:

— Не треба!

К нему подбежал парнишка. Худой, замурзанный, росту маленького — совсем шкетенок. Попросил хлеба и взамен спел песню — горькую песенку военных лет. Не с детских губ ей срываться!

С неба звездочка упала,
На снегу растаяла.
Я б ни с кем не ночевала,
Да война заставила...

Михайло побежал в вагон, открыл чемодан. Вернувшись, протянул онемевшему от такой удачи парнишке банку американской консервированной колбасы.

— Помяни союзничков!

Но разве подачками накормишь голодную землю? Разве оденешь ее своими фланелевками, голую и убогую? Разве согреешь ее своим дыханием, разоренную, всеми сквозняками продутую?!

Вот она бежит за окнами. Ее пашут плугами в коровьей упряжке, на ней ставят хатки-землянки из речного самана. И все бабы, бабы... Они носят шпалы, укладывают рельсы, забивают костыли увесистыми молотами на длинных ручках. Побольше бы сюда мужских, истосковавшихся по дому рук. Но их пока держат в отдалении: по чужим морям, по чужим государствам. Редко кто возвращается насовсем. Все больше в отпуска, на кратковременную побывку едут.

Не одними слезами встречает Украина. Нет, она неодолима, наша земля. Она и это горе переборет. Расцветет пуще прежнего. Недаром же ее называют «квитуча». Что проку в слезах? Ими не поможешь. А вот песня — она сильнее. Поэтому так часто звучат в вагоне песни. От самого Ленинграда слышит их Михайло. И, конечно, везде свои. Сейчас поезд бежит по Украине, и песни здесь украинские.

Пожилые тетки пообедали картошкой, густо сдобренной солью, отряхнули подолы, славно так, по-домашнему, вытерли рты ладонями, не-

легко вздохнули, мелко перекрестились. Они сидели молча. Казалось, их гнетет что-то тяжелое, чего не избыть вовек.

И вдруг — песня. Завели легкую-легкую:

Лугом іду, коня веду,
Розвивайся, луже!..

Запевает одна. Затем с выдохом «Эх!» подхватывают все:

Сватай мене, козаченько,
Люблю тебе дуже...

Михайло тоже подмогнул. Сунул оба мизинца в рот, стеганул по вагону озорным подсвистом. Здорово получилось.

— Ой да матрос!

— Моряки народ отчаянный. На все мастера!

Это сказано так, между делом. А песня — она шла своим чередом, вела свою ниточку до необходимой развязки.

2

Поезд уперся в развалины вокзала. Напротив вагона ворота в сад. Бери пожитки и выходи. Под серыми мелколистыми акациями, под метелками ярко-зеленой туи старые скамейки. Можно присесть, подумать, куда идти дальше. Поезд на Измаил будет только завтра вечером. На какой станции сходить? Михайло знает только район — Бородинский да МТС — Жовтневая. Как их найти? Может, податься на рынок, поискать попутную машину?

Центральный одесский рынок называется Привозом. Всем рынкам рынок. Слава о нем переросла границы. Говорят, ничего такого нет в мире, чего бы нельзя было достать на Привозе.

Привоз — горячее человеческое море, столкновение страстей, судеб. Здесь можно услышать разноязычную речь, необыкновенные ругательства. Самыми оскорбительными считаются такие:

— Чтоб тебе жить на одну зарплату!

— Чтоб на твою квартиру хозяин нашелся!

Привоз пестрит всяким людом. Посмотри, сколько здесь молдаван! В шляпах, в меховых куртках, в штанах из белого домотканого полотна. У каждого пестрый мешок за плечом. Что там, в этих торбах? Непременно брынза и мамалыга!

Плетеные корзины вложены одна в другую. Пустые. А часа два назад ломились от груш и яблок. От корзин исходит сладковато-теплый фруктовый дух. Над ними вьются стаи мелких винных мушек. Корзины ждут обратного транспорта.

Михайло, тебе с ними, видно, по пути.

«Форд» бежевого цвета трусил на ухабах, яростно стучал деревянным кузовом. Заводские трубы, радиомачты, серебристые резервуары крекинг-завода скрылись за белой тучей пыли.

Удобно ехать на такой машине. У бортов сиденья. Выше бортов подняты решетки. Можно опереться спиной. Хорошо! Чемодан зажат между ног, скрипка, как дитя, на коленях.

Навстречу бежит дорога, мелькают по сторонам столбы, кусты. Горячий ветер кидает в лицо мошкару, срывает с головы бескозырку. Михайло завязал ленточки на шее. Теперь не сорвет. Ноздри жадно ловят степные запахи. Родные, давние-давние запахи. В горячем ветре все смешалось: и сладость чабреца и горечь полыни. А вот тминно пахнуло маслинкой — бегут в стороне ее серебристо-белые кусты. Долетел теплый дух коровьего пота, смешанный с запахом свежего молока: впереди по пригорку расстелилось стадо. А вон пахота. Ноздри ловят преловатый дух земли. Над темным полем дрожит текучее марево.

Михайло сидит у кабины, по правому борту. Напротив не то девушка, не то молодица. Все лицо закрыто белым платком. Оставлена только щелка для глаз. Глаза жадные; точки зрачков впиваются в лицо Михайла. Ему даже не по себе. Он и туда и сюда повернется, а они сверлят, и ничем от них не заслониться. Кто такая? Михайло смотрит на ее загорелые руки с тонкими длинными пальцами. Красивые! Серое платье туго обтягивает талию, плотно облегает небольшие груди. Изпод платья видны смуглые ноги. На ногах синие резиновые тапочки.

Рядом с этой глазастой сидит ее подруга. Про эту сразу скажешь: девушка. Она так же закутана платком. Все время переводит взгляд с Михайла на подругу и в обратном порядке. Проголодавшись, она достала пирожок со сливами, предложила подруге. Но та оттолкнула руку. Видно, стеснялась моряка. Девушка оттянула платок за подбородок, простодушно зачавкала большим ртом. И Михайла угощали, но он отказался, робко поглядывая на ту, что сидела напротив. Если бы она начала есть, он бы тоже не отказался. А так не хватило духу. Сковало его всего, стало как-то неловко, несвободно.

Потянуло речной сыростью, обдало спасительным холодком. Ух, как здорово!

— Слава богу. А то думала, сказюсь от спеки! — Это говорит толстая тетка, что сидит, точно клуша, на плетеных корзинах, распушив юбки. Кончиком платка она утирает пот на верхней губе.

Переехали Днестр — бывшую государственную границу. Местность холмистая. Взберешься на бугор — ветер дыхнет, как из печки, горячий; спустишься в балку — точно в прохладную воду окунешься.

Фары высветили белые бока хат. Проворно загавкали собаки. Вкусно запахло бараниной, зажаренной с помидорами и луком.

Машина въехала во двор. Повечеряем!

3

Бессарабское вино обманчиво. Оно кисленькое. Хмеля в нем почти не чувствуешь.

Хозяин приглашает:

— Куша́йте, тува́риш!

— А зачем закусывать? Вода водой.

Но обманчиво вино бессарабское.

Михайло, шофер и торговый агент, ехавший с ним в кабине, — всему делу голова — сидели у порога хаты за низким круглым столиком, под кроной густой шелковицы. Стол освещала подвешенная к ветке небольшая лампа с жестяным абажуром. Остальные пассажиры вечеряли в кузове машины.

Михайло хотел было расплатиться. Но агент положил белую руку на его широкий воротник, сказал:

— Брось, братишка. Я угощаю!

Плату за проезд он тоже не взял с Михайла.

— Что ты, сам на катерах четыре года чапал!

Брешет агент. Ничего в нем нет матросского. Может, во флотском военторге работал? Ну, тогда, конечно, мореман!

Из-за черного сада краешком глаза выглянула луна. Она осмотрела все вокруг: хаты, сараи, дворы —и смелее поднялась в мутноватое небо. Выкатилась и загордилась собой: вот какая я круглая!

Хозяин кивнул на луну:

— Бессарабское солнце. — И дунул в стекло лампы сверху. Лампа потухла, густо заволоклась белым керосиновым чадом.

Подошла подруга незнакомки, нескладная дивчина, горячо шепнула на ухо:

— Ане плохо.

Всего два слова: «Ане плохо», а мир от этого стал еще прекрасней. Сразу все прояснилось! Ее зовут Аней. Недаром она смотрела на тебя всю дорогу. Ей «плохо» — это нужно понимать: «хорошо». И село хорошее, и ночь, и небо, и так заманчиво пахнет привялый укроп на грядках! Ей «плохо» — это значит, что она хочет видеть тебя, зовет тебя. Беги к ней! И ни о чем не надо спрашивать. Такое чувство, будто вы давно знали друг друга, давно ждали этой встречи. Она стоит за машиной, чуть опустив голову. Платок сдвинула на самые плечи. Гладко причесанные волосы поблескивают в свете луны. Коса уложена калачиком.

Михайло подошел молча. Сдерживая дыхание, взял за податливые плечи, притянул к себе. Она приникла к нему, сложив руки на груди, задрожала, точно ей вдруг стало холодно. Он прижался губами к ее чуть приоткрытому рту. Губы у нее были сухие и требовательные.

Доказано, что луна вызывает приливы. И сейчас во всем виновата

только она. Не будь луны, Михайло не разглядел бы большие глаза Ани, которые улыбчиво блестели от счастья; не разглядел бы, до чего красив ее прямой тонкий нос, смуглое лицо, мягок подбородок. Только губы жестковаты. Но это губы ее, Ани, и поэтому они не могут быть некрасивыми. Ее дыхание напоминает запах горьковато-теплого молочая.

Михайло, откуда в тебе такая решительность? Неужели поверил, что Аня твоя судьба? А если опять обман? Тебе не везет в таких делах. Дора бросила тебя, нашла настоящего мужчину; конечно, он смелый, сильный, красивый, как Порфишко, комендор с «Парижской коммуны». Света тоже отвернулась от тебя. Она вышла замуж за лейтенанта, что лежал в ее госпитале. Стала невесткой адмирала! Помнишь, ты позвонил на южный берег, когда пришел из Таллина? Девчонка, дежурившая на госпитальном коммутаторе, ответила:

— Светы нет. Она с мужем в Ленинграде.

— С каким мужем?!

— Со своим собственным!.. Хи-хи... — Пропищала мышкой и повесила трубку.

Не было у тебя никакой Доры, никакой Светы. Всегда была только Аня, милая, доверчивая. Она знает все твои помыслы, все твои желания. И думает, как ты, и о том же. С ней тебе легко. Ты проживешь с ней всю жизнь, начиная с этой ночи и до скончания века!

Они прошли мимо длинного сарая, перегородившего двор. За сараем ток. Ворох свежей соломы. И двор, и машина, и люди, пристроившиеся в ней на ночь, остались за белой стеной сарая. На току только они двое и светлая, как ячменная солома, луна. Это от нее, окаянной, бывают все приливы!..

Михайло долго не мог успокоиться. Он целовал Аню в брови, в грудь, целовал ее ладони, пахнущие соломенной пыльцой. Аня улыбалась и о чем-то думала.

— А ты мальчишка совсем... Доверчивый, ласковый...

— Зачем так говоришь!..

— Чудно! Прошел войну. Стал героем — вон колодочки от наград... А мужчиной стать не успел. Как же ты уберегся?

Почувствовала, что Михайло смутился, обвила его руками, засмеялась.

— Чудак, это же хорошо! Ты сам не знаешь, как это хорошо!

Михайло приуныл. Ему показалось, что она потешается над ним. Сказал решительно:

— Никуда я тебя не отпущу. И здесь не оставлю. Поедешь со мной в Кронштадт!

— А этот обруч как разрубишь?

Аня подняла правую руку, показала золотое кольцо на безымянном пальце. Оно светилось недобрым светом.

Как же Михайло не заметил его раньше? Она ж весь день держала руки на виду.

Ее муж преподает в той же школе, что и она. Живут в Сарате — бывшей немецкой колонии.

Аня сказала, что Михайлу надо сойти в Сарате у вокзала и ехать дальше поездом до Березино. Всего несколько остановок. Сперва пойдет Арцызский район, а там и Бородинский.

— Аня, я приеду к тебе, дня через два приеду. Мне только повидаться с отцом и матерью — и сразу же к тебе.

Она радовалась его словам, понимая всю их неправду. Прижимаясь к Михайлу, повторяла шепотом:

— Га́рно, любый, гарно. Буду ждать!

ГЛАВА 14

1

Перед заходом солнца поезд остановился на станции Березино. Михайло вылез из товарного вагона, приспособленного для перевозки пассажиров, постоял на перроне, возле кирпичного здания станции, выкрашенного в голубой цвет, полюбовался двумя тополями у входа. Стволы у них такие толстые, что рук не хватит обнять их. Кожа, как у берез, белая. Кроны высоко вскинуты вверх. Листья величиной с ладонь. Верхняя их сторона темно-зеленая, низ — белесый и словно пушком покрыт. Листья шумят на ветру, будто дождь идет.

Михайло обошел станцию вокруг, посмотрел, нет ли подвод из района или машин из МТС. Дело к вечеру. Сказали: были да уехали. Пошел в «Заготзерно». Но и там не повезло. Придется переждать ночь на станции.

Поставил чемодан у холодной кафельной печки, положил на него скрипку и опять вышел под тополя.

На перроне заметил одинокого сутулого старика. Он стоял спиной к нему. На старике был серый прорезиненный плащ не нашего покроя, темная, засаленная на полях шляпа с выгоревшей ленточкой на тулье. Из-под шляпы видны коротко стриженные седые волосы. Ноги обуты в хромовые, потрескавшиеся от времени сапоги. Михайло увидел высокие каблуки, и радостное предчувствие толкнуло в грудь. Точно такие подборы били когда-то о пол хаты, и знакомый, родной голос подпевал:

Запутався в гарбузинні,
Наробив я шкоди.

Как шумно, до железного грохота в ушах, гремят крупные тополевые листья.

Они долго стояли обнявшись, словно боялись опять потерять друг друга. Михайло чувствовал запах едкого самосада и прикосновение колючих усов. И ничего больше Михайлу не надо! Опять, как в детстве, можно дать отцу свою руку. Большой и сильный, он доведет до самого дома, не потеряет в пути.

Мягче пуха кажется постель, приготовленная материнской рукою. Неважно, что под боком не перина, а дерюжный матрац, набитый сеном. Неважно, что под ухом не пуховая подушка, а волосяная, трофейная, с комками; от нее наутро виски ломит.

Мать по голове погладила, как ребенка.

— Спи, сынку.

А сама, видно, и не прилегла за всю ночь. Когда Михайло открыл глаза, она сидела у его ног. Отец стоял у окна, безуспешно ловил крупную зеленоватую муху. Муха стучала о стекло, басовито гудела.

Михайло в одних трусах подошел к чемодану, достал темно-синий офицерский китель, протянул отцу:

— Бери, командир подарил.

Матвей Семенович обрадованно протянул:

— О-о-о, хо-хо!..

Надел китель, застегнул на все пуговицы, застегнул стоячий воротник на оба крючка, сунул в зубы трубку.

— Чем не капитан!

Он притопнул каблуками по дощатому крашеному полу, хлопнул жену по плечу.

— Тю, оглашенный! Обрадовался, як мала дитина!

Михайло поставил на ладонь черные туфли с полувысоким каблуком, улыбаясь, торжественно преподнес их матери. Она приложила обе руки к правой щеке, покачала головой.

— Ой, да яки ж гарни! На них только молиться!

Туфли пришлись впору. Михайло помнил размер материнской ноги — тридцать седьмой. Туфли шил переменник Лукин. Конечно, далеко не модельные. А носить можно. По нынешним временам даже роскошь. Соседки будут ахать и всплескивать руками.

Но не от подарка так тепло в груди Анны Карповны. Сын, сын перед ней. Прошел через такое пекло, а, смотри, остался невредимым. И руки целехоньки, и ноги в справности. И обликом такой же славный. Только раньше был смуглее. Солнышка больше видел. Руки стали тяжелые. В плечах широкий. Лицо чистое. Но что-то в нем чужое. Мо-

жет, так кажется? Шутка ли, столько лет не виделись!.. И шрамы у сына. Вон два на лбу, покрупнее — на груди. А еще один на затылке, у левого уха...

У батька такой же шрам, и на том же месте. Его ранило у Могилева еще в прежнюю войну. В телефонистах служил. На поправку привезли в Мариуполь. Погодя отпустили домой вчистую. Квелый, шестьдесят верст отмахал по мартовской грязи, да еще в валенках. Думала, богу душу отдаст. Нет, отходила, отпоила. Смотри, еще и сынков с ним выкохала...

Яростное солнце бьет через окно в спину Михайла. Он разминает обнаженные плечи, нежится в благодатном потоке света.

Ой, как же радостно матери любоваться на свое дитя!.. Только одно плохо: сердцем неспокойный. Все хмурится, покусывает губы. Вот и сейчас — смеется, смотрит матери в лицо, а думки бог знает где.

Не успело подняться солнце, как все село заговорило: «До Матвея Семеновича сын приехал. Матрос. Плавал на краю света. Пригожий такой. Медалей — целый ряд. Дождалась Карповна своего счастья».

А к обеду пожаловали гости.

Первой появилась Дуся-замполит. Она влетела во двор на сером трофейном скакуне. Прежде чем спрыгнуть с коня, дернула его за повод, хлестнула лозинкой по шее. Конь вздрогнул, взвился на дыбы.

Анна Карповна смотрела в окно, близоруко щурясь.

— От скаженна баба, что вытворяет!

— То не баба, а черт в штанах! — в тон ей откликнулся Матвей Семенович.

Дуся-замполит привязала коня к стволу акации, вошла в дом.

— Привет Военно-Морскому Флоту! Ура! — Она лихо хлопнула Михайла по ладони, не дав ему опомниться, притянула к себе, звучно чмокнула в губы, оттолкнула. — Привет советским старикам!

Матвей Семенович подал стул.

— Сидай, Дуся, та не дуже кричи, нам уши не позакладало.

— А я думала, пооглохли от радости.

Анна Карповна охотно откликнулась на шутку:

— От такой радости чего не случится!

На Дусе защитная гимнастерка, галифе, по-кавалерийски подшитые черным хромом. На ногах блестящие сапожки. На голове защитная пилотка со звездой. Плотное, короткое тело Дуси перехвачено в талии широким ремнем. Справа — наган в кобуре.

Откуда такая? Веет от нее давней порой гражданской войны. Оказывается, она партизанка, в черниговских лесах воевала. Гляди, орден Красной Звезды, медаль. Вот так птичка!

Михайло спросил:

— Вы вроде политрука в МТС?

— А то как же! Только я агитирую больше принуждением. — Она

похлопала по кобуре. — Я им, гадам, боярским прихвостням, живо мозги вставлю! «Тува́риш, тува́риш», на колени падают, ручки целуют. Я им покажу ручку! Твоего старика всего облизали...

— Народ забитый, их тут палками учили, заставляли руки целовать, вот и целуют. Надо разъяснять народу, а ты трясешь наганом. Хиба так можно?

— Разговорился, старик. Обожди, вот сын уедет, я за тебя возьмусь! — пригрозила Дуся не то шутя, не то серьезно.

Пришел бухгалтер МТС, рослый, плотный мужчина. Он приветливо улыбался, поблескивая тусклыми металлическими зубами. Руку пожимал мягко, по-женски. Пришел Георгий с женой. Георгий — молдаванин, шофер. Ездит на «боварде», трофейной машине, которую Анна Карповна называет «нимкеня». Жена его — смуглая, темноволосая, густобровая молдаванка — боязливо жалась в углу, не проронила ни одного слова. Зато сын Нельчик, крупноглазый мальчишка, смело подходил к каждому, здоровался за руку, спрашивал: «Как живем?»

За стол сели в светлице. Анна Карповна оживилась. То улыбалась, то вдруг вытирала слезы серым передником, шумно сморкаясь в тот же передник. Прижав руки к груди, рассказывала:

— Сны все-таки сбываются. Вчера видела, будто прилетел белый голубок. Ему хочется в хату, а як попасть, не знает. Ткнется в окно, ткнется в дверь — всюду закрыто. Из сил выбился. Смотреть на него больно. А я подняться не могу, открыть нет мочи. Только и сумела, что крикнуть: «Матвей, открой ему хоть форточку!» Тут и проснулась. Думаю, к чему бы это? Неужели до мене голубь летит?.. А перед тем, як получить твое письмо, снилось, что воробей клюнул меня в палец — больно клюнул, и такая густая кровь пошла, что не дай бог! Кровь — всегда к известию.

Михайло смотрел на мать и не узнавал ее. Она располнела, стала трудно дышать. Постарела. Верит снам, приметам. Этого не бывало. Неужели за пять лет можно так измениться? А батько? Глянь, совсем лысый. Остатки волос — снежной белизны. И ростом, кажется, стал ниже и в плечах у́же.

А может, это ты вырос, поднялся над батькой?

Всего пять лет прошло... Но каких! За это время погибали и вновь воскресали целые народы, целые миры!.. Помнишь, жена командующего флотом за одну ночь, что продержалась на мине, стала старухой. А тут целых пять лет, и тоже все на мине!

После четвертого стакана Матвей Семенович затянул свою любимую:

Посіяла огірочки
Близько над водою.
Сама буду поливати
Дрібною сльозою.

Последние две строки поются два раза. За вторым заходом Матвей Семенович взял дискантом. Казалось, у него на старости лет прорезался женский голос. Он закрыл глаза, напрягся до того, что на темной шее выступили жилы в палец толщиной.

Дернула нечистая бухгалтера задать загадку:

— Скажи, Миша, кому живется краще всех на свете?

Михайло развел руками: мол, не знаю.

— Так слухай: коту, попу и замполиту. Мышей не ловят, а сметану едят.

Дуся-замполит вскочила как ужаленная.

— Ах ты, фашистская шкура! Бежал с немцами от самой Полтавы? В Бессарабии тебя перехватили? Так или нет? Отвечай, недобиток!

— Побежишь, коли гонят...

— Я тебя, гада, сейчас прикончу! — Она выхватила семизарядный наган, взвела курок.

Михайло успел отбить руку. Пуля врезалась в потолок. Белая пыль притрусила темно-лиловое вино в граненых стаканах.

Все помертвели. Тишину разрезал острый шепот Михайла:

— Спрячь пистолет, мразь поганая!

Дуся повиновалась.

— Вон отсюда!

Дуся-замполит попятилась к выходу.

Лицо Михайла посерело. На скулах подрагивали мускулы, на лбу выступили капельки пота.

Мать испуганно смотрела на сына. Совсем чужой человек. Ее сын был тихий, покладистый, ласковый. А от этого веет железным холодом.

2

— Отец, как же ты терпишь такую?

— А шо я зроблю? Прислали: вот тебе замполит. Меня не спросили. Работников же не хватает. Все коммунисты в армии.

— Поезжай в райком, докажи им... Поедем вместе!

— Николи мне разъезжать. У меня вон трактора в борозде стоят. Запчастей нет, хоть алла кричи!

— Это поважнее твоих тракторов. Она же Советскую власть в расход пускает! Люди ждали: придут с востока братья, освободят. Молили бога, чтобы поторопил то время. Дождались! При боярах их били палками, теперь наганом.

— Черт ее знает. Она же заслуженный партизан. Член партии.

— Назад оглядываешься? Вперед гляди. Может, фашистов била здорово. Но сейчас перед ней не фашисты — советские люди. А она в каждом видит врага и гада. У нее мозги сбиты на сторону... Хорошо, я сам поеду!

— Охолонь трошки. Завтра буду на бюро райкома. Поговорю.

Михайло уже трезво подумал о Дусе-замполите. «Вот судьба у человека! Воевала, отличилась. Уцелела, а все-таки калека. Это издержки войны. Дуся — Века наоборот. Та надломилась, во всем разуверилась, пустила себе пулю в лоб. Эта, напротив, уверовала в свою силу и при нехватке ума пытается в других пустить пулю».

Совсем тихо он сказал:

— Не тяни, отец. Не держи ее здесь. Всем же ясно: она не на месте. Правду говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жди грома. Подумай, кому это на руку!

Матвей Семенович обрадовался, оживился.

— Хо-хо! Говоришь, совсем как Торбина: «Кому это на руку?» Горячий он человек, справедливый. Он бы Дусю-замполита и к границе района не подпустил...

Михайло тоже обрадовался.

— Никак Торбину встречал?

— А то як же? Бачив, бачив. В сорок четвертом, когда область освободили, бывал в Белых Водах. Сдал Торбина. Обрюзгший стал какой-то. Отечный. Сердце у него отказывается тянуть. Предлагали на покой. Не хочет. Говорит, на другой же день помру. Только заботами и держусь. Мотается по району день и ночь. Дела теперь, сам знаешь, какие. Инвентаря нет, трактора — хоть в утиль. Поля сурепкой забило... Вальку видел... Орден Красной Звезды у Вальки.

— Живой?!

— Живой.

Никогда не забыть Михайлу ту зиму, рассказ возчиков. Привык думать: метель, Валька сидит в степи, прислонясь спиной к телеграфному столбу. И вот теперь, через много лет, вдруг поднялся и зашагал дальше.

«Вашец живой!»

— Приятеля твоего, Яшки Пополита, нет на свете. Убит на Кавказе, под Пятигорском.

— Як же так? Яшка писал из Орджоникидзе. Из артиллерийского училища писал...

— Нема... Видел его батька, говорит, погиб сыночек.

Матвей Семенович сидит на койке. Он наклоняется, потирает рукой блестящие голенища сапог. Михайло ходит по комнате, стуча каблуками флотских ботинок. Его брюки, широченные внизу, развеваются. В луче солнца, что падает через окно, видать, как брюки вздымают пыльцу с пола. Она взлетает и снова лениво опускается на крашеный пол. Михайло то сует руки в глубокие карманы брюк, то потирает ими грудь. Ему хочется, чтобы отец говорил не умолкая. И все о Белых Водах.

Отец будто уловил желание сына.

— Адольф твой, Буш, гадюкой оказался!

— Як? — Михайло остановился перед отцом.

— А так. Гад, и все! Немцам служил. Заправилой был. На тачанке ездил по району. Людей изничтожал...

«Не может быть! Адольф Германович?.. Его руки держали хрупкое тело скрипки. Разве могли они поднять автомат? Против своих же учеников?.. Нет, ты, батько, что-то путаешь!»

— А помощником у него был твой приятель, футболист. Нескладный такой... Як же его? Ага, Платон... Платон Витряк!

Михайло опустился на стул.

— Ну-ну, добивай!

— Чего тут добивать? Правду говорю. — Матвей Семенович даже удивился. — Чи ты дите, Михайло? Все на свете бувае. Таку войну пройшов, попробовал и холодного и горячего, а все удивляешься... Люди, они и есть люди. Бувають хороши, бувають погани. Одного медом поманили, другому наганом пригрозили. Ты живи проще, принимай все як есть.

Михайло знавал всякое. Но то было где-то в других местах, не в Белых Водах. Белые Воды — святыня. Там началась юность. Там любовь Михайла. Там все самое дорогое, самое светлое. Даже название — Белые Воды — звучит как чистый криничный родничок.

«Як же так? Як же так?.. Дора вышла замуж... Яшка убит... Буш пошел к фашистам, Витряк — тоже... Як же так?»

Матвей Семенович совсем тихо сказал:

— Дору бачив.

— Где?

— Ехал по ворошиловградской дороге. Вижу, какая-то жинка руку подняла, просит подвезти. Шофер притормаживать стал. Поравнялись. Гляжу: она! Говорю шоферу: «Погоняй!» Удивляется: в кузове же сколько хочешь места! «Гони», — говорю. Проскочили. Только пылью ее накрыло. Думаю: хватит, повозились с ней. Пусть ее другие возят. У нас тоже гордость!..

Михайло задохнулся.

— Зачем так? Зачем?..

— А что ж она?..

— Ты ничего о ней не знаешь! Может, все мы ногтя ее не стоим! Откуда тебе известно, как она жила, чем жила, что думала?

— Ничего не думала. Вышла замуж, и точка!

— Что заставило?

— Боялась в девках остаться.

— А-а-а! — Михайло махнул рукой, грохнул дверью, подался на улицу.

Узкая проселочная дорога ведет на гору. По сторонам цветет осот, пахнет разогретым медом. Розовые цветы облеплены пчелами. Удиви-

тельное растение осот. Ствол невзрачный, сухой, в колючках. А цветет крупным медоносным цветом.

Может, и в человеке так. Цветет он розовым цветом, одуряет голову медовым запахом, а потрогай его голыми руками — сухой и колючий, точно придорожный осот.

Не думай так, Михайло. Потеряешь веру в людей — жизнь станет каторгой.

Курил, поглядывал в открытое окно, за которым ласково верещали ночные сверчки. Брался за скрипку, тихо пощипывал жильные струны.

Веки смежились сами собой. Тело качнулось, все поплыло куда-то. Глазам стало больно. Похоже, в них ворвалось солнце. Но нет, это не солнце. Впереди — громадный крейсер, занявший собой весь залив. Он-то и вспыхнул белым огнем...

«Неужели снова Таллинский переход? Зачем?.. Нет, нет, это уже было, прошло, это неправда, неправда!..»

Михайло гулко кашляет, стуча кулаком в грудь, сплевывает на палубу сгустки крови...

Корабль идет самым полным. Врезался в крейсер. Вошел в него мягко, точно нож в масло... Михайло оглянулся. На корме тонущего судна девушка с синими, словно иней, волосами.

«Марта... Там же Марта! Комиссар, помоги! Останови!..»

Гусельников подошел вплотную, щелкнул пистолетом.

— Трус, предатель!.. Там Дора! Видишь ее седую голову? Видишь старушечье лицо? Твое дело!

Михайло пытается возразить: «Неправда, это ее немцы так!» Но ничего сказать не может. Ни руки поднять, ни губами шевельнуть.

Гусельников медленно целится в Михайла. Клок его черных волос плещет на ветру, переливается радужно, точно мазутное пятно на воде. Пистолет в его руках не крохотный ТТ, а длинноствольный, крупнокалиберный, точно носовое орудие. Холодный зрачок ствола уставился в живот Михайла. Беззвучно бухнул выстрел. Что-то теплое медленно вошло в тело. Михайло перевалился через леера. А до воды — ох как далеко! Летел долго, начал задыхаться...

— Что с тобою, ридный, что с тобою?

— Война, мамо! — Михайло дышал прерывисто.

— Та вона ж кончилась!

— Если бы...

В сознание Михайла вошло: он виноват во всем, что случилось с Дорой.

«Ой, дурак, дурак! Обиделся, распустил нюни! Замужем? Ну и что же! Сначала узнай, почему. Надо поехать, вырвать ее из постылых рук! Она ждет, она по-прежнему любит, не может не любить!..»

3

Шутка ли сказать, более семи лет грохал Михайло по железным палубам! Когда-то густой светло-русый чуб его заметно поредел. Кто знает, от чего он посекся? Одни утверждают: от воды соленой; другие говорят: оттого, что годами жил среди металла; третьи доказывают: вытер волосы жестким сукном бескозырки. Может, и так. Но Михайлу кажется, что все это ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Да об этом ли сейчас? Что было, то сплыло. Пройдет время, все быльем порастет.

На дворе тысяча девятьсот сорок шестой год — второй год нового мира. Опять салажонки топают мимо бронзового Макарова от школы оружия до минных классов. Опять поют старые песни. Вон какой-то стриженый юнец точно так, как Михайло в мае тридцать девятого, запевает:

Розпрягайте, хлопці, коней
Та лягайте спочивать.

Колышущийся строй юнцов в соломенно-белых робах подхватывает так сильно, что старик «Добрыня» вздрагивает всем корпусом.

А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.

Как ты далек, милый тысяча девятьсот тридцать девятый! Тогда мир казался Михайлу розовым, потому что он смотрел на него через Расино стеклышко. Взрывами мин разнесло то стеклышко в прах. Мир стал ближе, зримей, реальней. Он весь перед глазами — закопченный нещадными дымами, в ссадинах и незатянувшихся ранах.

Идет восьмой год Михайловой службы. А многие служили и поболе. Те, кто готовился уйти домой в сорок первом, рубают по десятому. Некоторые уже успели демобилизоваться. Переменник Лукин сучит дратву в сапожной мастерской. Сашка Андрианов в Ленинграде на Московском вокзале пивом торгует. Наконец-то нашел свое место! Лицо у Андрианова довольное, розовое. Подойди к нему, он закинет острый нос кверху:

— Го-го-го! Каким ветром, старшина? Пожалуйста, пивка! Да ты не косись, тебе налью по совести!.. Сколько получаю? Оклад семьсот, да на пене тысячи полторы-две выгоняю. А ты как думал! У меня жена, дочь!.. Да, да, разыскал... Живем у отца, на Васильевском... Заходи!

Степан Лебедь остается на сверхсрочную. Подал рапорт. «Годика три, говорит, послужу». Осторожный мужик, хитрый бес. Ехать ему

домой не расчет. Село спалено, колхоз разграблен. Авось, за три-то года все поднимется. А нет, можно еще службу продлить.

Сверчков и Кульков — два Семена — поступили решительнее: взяли сразу по десять лет. Служба так служба!

Перка говорит по-другому:

— Во как надоело! Возьмите ваши ленты, дайте мои документы!

Он во сне и наяву видит Московский автозавод. В прошлом году, будучи в отпуске, заходил в отдел кадров. Сказали: хоть сейчас снимай форму — и к станку. Но флотское начальство отпускать Перкусова не желает. Нужный человек. Руки у него необычные. Перед ними все замки немецких торпед открываются.

А Михайло уходит. Ему надо к сентябрю в институт. Поэтому и демобилизовался. Уходит... Неужели на этом кончается его минное поле? Неужели открывается перед ним чистая дорога, без мин, без завалов?.. И бывает ли так?..

Нелегкая, оказывается, штука — расставание. Раньше думалось: подойдет время, сразу все бросишь, в одних трусах поплывешь через залив. А, выходит, нет. Пожал доктору Филимонову руку, посмотрел на его седую голову — и Кронштадт показался роднее родного.

В библиотеке Дома флота встретил Амелина. Уже капитан. Растет человек.

— Ну вот, это дело, даже не заходишь. С глаз долой — из сердца вон! Нешто мы тебе чужие? Ты ведь, это дело, у нас вырос... Ребята завели специальный альбом, вырезают твои стихи из газет и расклеивают. Взглянул бы, это дело, на свое собрание сочинений. Не чурайся. Может, что не так было — не держи обиды. Всякое бывает. Нешто мы не люди...

Киса́ туго набита, затянута шнуром. Шкипер выдал все, что положено: и одел, и обул, и на дорогу дал. С командиром выпили по «лампадочке». Ребятам пожал руку.

— Не поминайте лихом!

Вышел на палубу, положил ладонь на теплый поручень, поблагодарил «Добрыню Никитича» за ласку, за хлеб и соль, за броню, что укрывала от непогоды.

Когда сошел на пирс, сигнальщик с мостика написал флажком:

— Счастливого плавания!

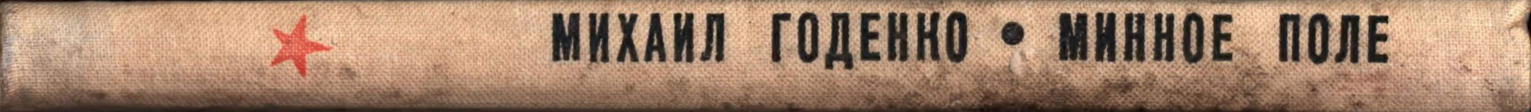
Даже задохнулся, будто чем ударили под ложечку. Наклонил голову, покачал ею, потер рукой горло, загмыкал, прогоняя густо подступившую горькоту.

1960—1962 гг.

Цена 61 коп.



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


МИХАИЛ ГОДЕНКО • МИННОЕ ПОЛЕ